



ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

Хронометр







*Файл подготовил
Душин Константин*

dukobo@mail.ru

Владислав Крапивин

ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

Роман в трёх книгах



Рисунки Евгения Медведева

Москва
Издательский Дом Мещерякова
2016

Книга первая



ХРОНОМЕТР
(Остров Святой Елены)



УДК 821.161.1-053.2
ББК 84(2Рос=Рус)6
К77

Крапивин В. П.

К77 Острова и капитаны: роман в трёх книгах. Книга первая. Хронометр (Остров Святой Елены) / Владислав Крапивин ; рис. Евгения Медведева. — Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2016. — 336 с. : ил. — (БИСС).

ISBN 978-5-91045-795-3

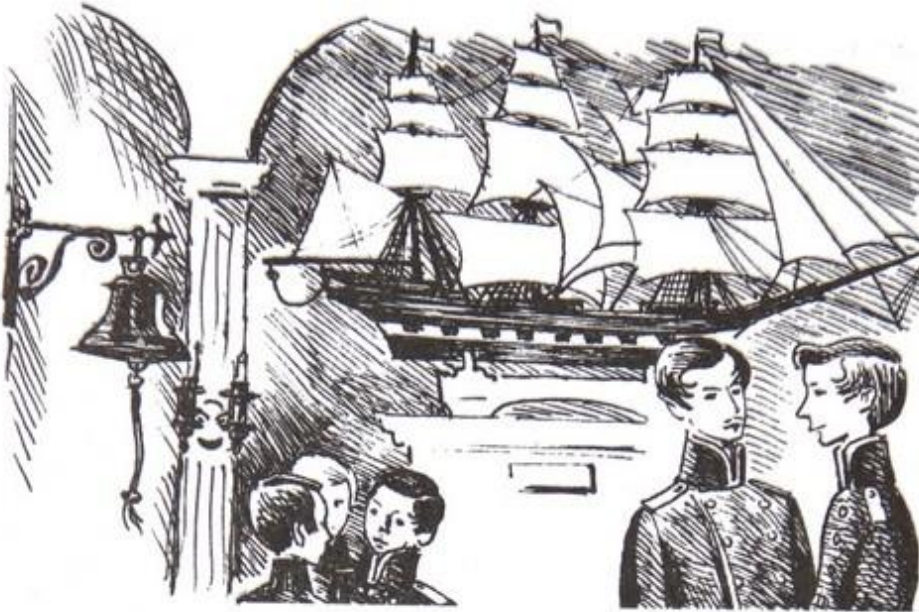
«Хронометр (Остров Святой Елены)» — первая часть трилогии «Острова и капитаны», в которой рассказывается как о жизни ребят сороковых годов, так и о важных исторических событиях.

Вместе с мальчиком Толиком читатель узнает о первом русском кругосветном плавании на кораблях «Нева» и «Надежда», об обороне Севастополя и его смелых защитниках во времена Крымской войны. Об этом Толику рассказывает его новый друг — писатель Курганов. Взрослея, Толик впервые переживает радости дружбы, горечь потерь, сталкивается с трусостью и растит в себе храбрость. Параллельно «Нева» и «Надежда» преодолевают шторм в Скагерраке, пересекают экватор, приплывают к берегам острова Св. Елены и, не избежав потерь, возвращаются на родину.

УДК 821.161.1-053.2
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-91045-795-3
Мы любим бумажные книги

© Крапивин В. П., текст, 1986
© Медведев Е., иллюстрации, 2016
© ЗАО «Издательский Дом Мещерякова», 2016



ПРОЛОГ МЫШОНОК

Корабельный колокол в громадном обеденном зале, где стояла небывалых размеров модель учебного фрегата, двойным ударом, слышным на всех трёх этажах, отметил начало первой перемены. Распахивались двери. Солидные гардемарины выпускники выходили не спеша. Строго поглядывали на кадет, которые по малолетству не обрели ещё сдержанности и неслись кудато с криками и хохотом...

Контрадмирал неторопливо шагал среди привычного шума и суеты. Впрочем, вблизи от него суета сменялась почтительной тишиной. Гардемарины щёлкали каблуками и вытягивались, роняя с гвардейским изяществом в поклоне головы. Вставали в струнку и младшие кадеты. Неукоснительно соблюдалась высочайшая инструкция, которую государь Николай Павлович изволил начертать в марте прошлого года после посещения

Морского кадетского корпуса: «...непрерывно их (то есть воспитанников) выправить и дать им бодрую осанку и молодецкий взгляд».

Осанка была бодрая. Взгляды и вправду могли показаться молодецкими. Но не было в этих взглядах любезной императору бездумной стеклянности и единой только готовности к молниеносному повиновению. Были весёлые искры, иногда озорство мелькало. Живыми, хорошими глазами смотрели мальчики на Ивана Фёдоровича, который до недавнего времени был помощником директора корпуса, а месяц назад заступил на главную должность.

Крузенштерн знал почти каждого. Как зовут, какие успехи в учении, издалека ли приехал в корпус и кто родители. Только у самых маленьких, появившихся недавно, путал ещё имена.

Мальши отдельной стайкой шумели и резвились в середине широкого коридора. Это были воспитанники резервной роты, образованной в прошлом году ещё прежним директором, Рожновым. Мальчики десятидвенадцати лет. Те, что веселы и бойки в своём кругу, но плачут по ночам, вспоминая о родном доме.

Крузенштерн обошёл их сторонкой, чтобы не встревожить начальственным появлением.

Он был в десятке шагов от малолеток, и тогда неясное беспокойство остановило его. Что? И память подсказала: несколько секунд назад привычно цепкий взгляд подсознательно отметил чуть в стороне от шумных кадетиков щуплую, поникшую фигурку.

Крузенштерн вернулся (мальчишки притихли и выжидательно встали прямо), отыскал глазами того, стоявшего отдельно, встретился с ним взглядом. Сказал мягко:

— Подойдите ко мне, голубчик.

Мальчик сделал несколько поуставному твёрдых шагов, встал навтыжку. Ростом чуть выше адмиральского пояса. Курносый, с лопухастыми ушами, с рыжеватой короткой стрижкой и бледными редкими веснушками. С тонкой шеей, для

которой велик высокий круглый воротник однобортного узкого мундирчика (их недавно ввели вместо двубортных — неуклюжих и старомодных). Поднял, как положено, острый подбородок, но в лицо директору не посмотрел. Серыми глазами, испуганными и горькими, упёрся в пуговицу на груди адмирала. Представился по форме, но без положенной бойкости:

— Резервной роты вверенного вам корпуса кадет Алабышев, ваше превосходительство. — И опустил голову.

Крузенштерн двумя пальцами приподнял его подбородок.

— А как зовут кадета Алабышева?

— Егор... ваше превосходительство. — И глаза намокли.

— Ну а что же случилось с Егором? Пойдёмка побеседуем... Он ладонью прихватил Егора Алабышева за спину, ощутив под сукном острые мальчишечьи лопатки. Отвёл к нише узкого глубокого окна. В стёклах отражались жёлтые масляные лампы. За отражениями мутно серело позднее ноябрьское утро. Нева ещё не встала, но о близкой зиме напоминал снег, густо летевший вдоль набережной. Сквозь косые линии снега проступали мачты и такелаж учебного брига «Князь Пожарский», что стоял против корпуса.

Резервной роты кадет Алабышев за окно не смотрел. И на адмирала не смотрел. Голова опять висела ниже плеч.

— Наверно, неуспехи в учении? — спросил Крузенштерн. — Сие поправимо, не надо только отчаиваться. Моряку должно иметь старание и твёрдость.

Егор всхлипнул и еле заметно качнул головой.

— Тогда знаю, — сказал Иван Фёдорович ласковее прежнего.

— Из дому долго не было писем, да? Но и в этом нет великой беды. Так бывает у каждого, а потом письма приходят целой пачкою. Вы уж мне поверьте... Или не в письмах дело? В чём же?

Егор всхлипнул опять, крупная дрожь потрянула его.

— Командир роты... господин капитанлейтенант Фогт... приказал...

— Что же приказал господин капитанлейтенант?

— После классов... явиться в экзекуторскую.

- Что? — нервно сказал Крузенштерн. И подумал, представивши хлыщеватого, с жёлтым костистым лицом и залысынами Фогта: «Ах ты, ссукин сын! Я же предупреждал...»
- Но кадета Алабышева спросил с ноткой строгости:
- В чём же вы сумели так провиниться?
- В том случае... когда в кивер дежурному офицеру... мышонка. Крузенштерн, сдержав улыбку, сказал с удивлением:
- Постойте. Я знаю об этой прискорбной шалости, но виновники сами признались и раскаялись. При чём же здесь вы?
- Я тоже был там... немного после... И меня заметили.
- И решили, что виноваты в сём недостойном поступке вы? Егор опять вздрогнул плечами и кивнул.
- Но за что же вас хотят наказать сейчас, когда виновные известны?
- За ослушание... — прошептал Егор.
- Не понимаю.
- Когда они ещё не признались, господин Фогт... приказывал, чтобы я их назвал, если сам не виноват... Он говорил: «Раз вы были там же, должны их знать...»
- А вы знали?
- Егор ещё ниже нагнул голову.
- Крузенштерн понимал отчаянное положение маленького кадета. Новички с первых дней постигали законы корпусного товарищества. Выдать виновника начальству считалось предательством, жизнь ябедника превращалась в каторгу. К тому прибавлялись и угрызения собственной совести: «Я — нарушитель чести...»
- Господин Фогт говорит... раз я не назвал виновных, значит, не выполнил приказа... и нынче меня накажет...
- «Нашёл чем пугать ребёнка, хлыщ», — подумал Крузенштерн. Он по себе помнил то жуткое чувство, смесь тоскливого стыда и ужаса, когда звучит такой приговор. И тягостную безнадёжность, обморочное замирание перед низкой,

плотно сколоченной дверью, за которой это должно случиться. Почемуто такие двери выглядели одинаково и здесь, и в бытность корпуса в Кронштадте, когда самого Крузенштерна только зачислили в кадеты...

Слава Богу, он своим приказом накрепко закрыл эту дверь, отменивши в корпусе подобные наказания. Сделал это, несмотря на недовольство в Морском министерстве и на скептическое замечание государя.

Но мальчикто о приказе не знает и сейчас в отчаянье.

- Егор... — негромко сказал Крузенштерн. Тот быстро поднял остренькое лицо. В глазах — и боязнь, и надежда. Бедняга... — Я поговорю с вашим командиром. Уверен, что, проявивши вначале строгость, он будет теперь снисходителен... Но скажите мне: а что вы всётаки делали в дежурной комнате?

Голова кадета Алабышева опять упала. И даже при неярком свете лампы стало видно, как наливаются краской его оттопыренные уши.

- Ну же, Егор, — добродушно поторопил Иван Фёдорович. — Давай без утайки. Ежели ты в чёмто и виноват, то на сей раз это останется между нами.
- У мышонка лапки были связаны... Жалко стало, я хотел отпустить... Чтобы никто не знал...

Колокол гулко просигналил о конце перемены.

- Ступай в класс, Егор. Я поговорю с командиром роты.

«Надо и в самом деле поговорить решительно, — думал он, поднимаясь на третий этаж, в рабочий свой кабинет. — Наказать кадета самовольно никакой офицер теперь, конечно, не смеет, но держать воспитанников в ежедневном страхе такие фогты ещё не отучились... Где Рожнов откопал эту сухую бестолочь? Разве ~~командир~~ нужен малолеткам, кои лишь недавно взяты из дому и с трудом живут без родительской ласки?.. Нужны такие, как Сергей Александрович Шихматов, капитан второго ранга гвардейского экипажа, поэт, учёный, действительный член Российской Академии, а главное —

добрейший человек, отлично знающий детскую душу. Он и был до недавнего времени командиром резервной роты, мальчишки почитали его за отца родного. Но месяц назад по важной причине личного свойства ушёл князь Сергей Александрович в отставку и со слезами распрощался со своими питомцами. Нового командира для малышей сразу не нашлось. Крузенштерн обратился тогда за советом к прежнему директору, Рожнову, и тот предложил: „Можно поставить пока Фогта. Аккуратист... А далее уж сами посмотрите...“ Ох, смотреть надо было сразу, да в первые недели заведования корпусом столько навалилось на адмирала хлопот...»

В кабинете уютно несло теплом от синебелых изразцов голландской печи. Шторы были задёрнуты. Крузенштерн не любил пасмурного осеннего света, хотя врачи говорили, что именно такой свет более всего полезен для больных глаз. Нет, пусть уж лучше свечи.

Свечи в канделябре с обручемабажуром из матового стекла горели мягко, но ярко. Отблески лежали на модели «Надежды», на медных кольцах глобуса в углу кабинета.

Матрос Григорий Конобеев выгребал золу из протопленного с вечера мраморного камина с толстощёкими амурами наверху (тепла хватало и от печи, но Иван Фёдорович, работая по вечерам, любил, чтобы в камине был огонь). Конечно, приборку следовало кончить до прихода адмирала. Однако Крузенштерн не сделал упрёка. Григорий был не просто служитель, а старый товарищ по давнему плаванью вокруг света. Сумрачно добродушный, преданный «нашему капитану» ворчун, ныне причисленный к корпусу.

— Здравствуй, Матвеич.

Григорий неторопливо выпрямился.

- Доброго здоровья, Иван Фёдорович... Вот опять бумаги пораньше с утра дежурный офицер принёс... Говорит, что от господина капитанлейтенанта Коцебу... Надо же, какой известный теперь Отто Евстафьевич сделались. А на «Надежде»то совсем мальчонка был вроде наших нынешних...

- Такой и был, Матвеич. Тоже кадет, только сухопутный. Отец упросил взять в плавание, — поддакнул Крузенштерн старому матросу, хотя беседовать не хотелось.
- Сухопутный, а каким лихим капитаном стал. Вот оно как поворачивается...

Бумаги оказались корректурой новой книги Коцебу — «Путешествие вокруг света, совершённое по повелению государя императора Александра Первого на военном шлюпе „Предприятие“ в 1823, 24, 25 и 26 годах».

К этой книге Крузенштерн прямого отношения не имел, послесловия, как к первому плаванью Коцебу, не писал, но к подготовке сей экспедиции приложил немало сил. Потому и прислал благодарный Отто своему старому командиру пробные оттиски отчёта о путешествии.

Крузенштерн притянул к себе полосы серой бумаги, радуясь крупным буквам и отчётливой печати.

...Коцебу рассказывал о путешествии сжато, не в пример первой своей книге о плавании на «Рюрике», в которой хватало живых описаний и красот. К тому же многое Иван Фёдорович знал уже из рассказов Отто, из рапорта его Морскому штабу. Поэтому не стал он читать подряд, а отыскал (с некоторым стеснением в душе и даже робостью) страницу, где были слова:

«После весьма быстрого одиннадцатидневного плавания от мыса Доброй Надежды мы 29 марта пришли к острову Св. Елены...»

Об острове Отто писал пространно. Более всего — о поездке в те места, где жил в ссылке знаменитый недруг России Наполеон и где была потом его могила.

А о другой могиле, русской, не было ни слова...

Трудно поверить, что моряки не побывали на кладбище, где двадцать лет назад похоронен был их земляк и товарищ. Видимо, Коцебу решил, что рассказ об этом не нужен читателям. Или, всего скорее, не захотел беречь память ему, Крузенштерну...

Но разве от этого уйдёшь? Разве забудешь?

Крузенштерн читал:

«Путешественник, приближаясь к острову Св. Елены, видит со всех сторон одни чёрные, высокие, остроконечные скалы, рождающие в душе его самое мрачное и унылое понятие о сём острове, но, находясь на возвышении, видит, что природа сокрыла в безобразной и страшной оболочке очаровательные прелести...»

...Моряки «Надежды» в мае 1806 года увидели этот остров таким же. Сначала — грозное и печальное впечатление, а позже — удивление перед тихой красотой и чувство долгожданного отдыха. Первые три дня, пока не случилось беды, всем казалось, что попали в самый счастливый и уютный уголок Земли. Одно огорчало капитана: в гавани острова не оказалось «Невы», с которой расстались в тумане вблизи меридиана мыса Доброй Надежды.

Тогда ещё не знали, что Лисянский, вопреки уговору, принял решение не заходить к острову Святой Елены, а идти прямо в Европу. Подбивало желание совершить небывало длинное и скорое плавание от Китая до Англии без захода в промежуточные порты. Что же, Юрий Фёдорович с блеском исполнил сей подвиг, изумивший всех, кто понимал в морском искусстве. И «Нева» пришла в Кронштадт на две недели ранее «Надежды»...

Кто-то пустил потом слухи, что случай этот испортил дружбу двух капитанов. Неправда это!

Да, жизнь както развела Крузенштерна и Лисянского, реже стали встречи, короче письма. Но не было между ними вражды и зависти. И ссоры не было ни разу... В тот день, при первой встрече в Кронштадте, когда остались в каюте одни и Лисянский откупоривал бутылку привезённой из Кантона мадеры, Крузенштерн только и сказал:

— Мальчишка ты всётаки, Юрий...

Тот и в самом деле похож был на мальчишку. Курчавый, румяный. Пушистые бакенбарды казались приклеенными к детскому пухлогубому лицу. И глазами стрельнул по мальчишечьи. Проговорил и виновато, и дурашливо, как в бытность ещё малым кадетиком:

- Сердишься? Прости, я больше не буду...
- Нет, ну в самом деле, о чём ты думал? А если бы напоролись поодиночке на французских каперов? Война же.
- Ну и напоролись бы. Пушки зачем?
- Но это же тебе не с колюжами на Ситке воевать! Что наши пушки против большого фрегата? У меня их всего двенадцать, несколько оставил на Камчатке по просьбе Кошелева...

Лисянский ответил весело, пряча виноватость:

- Брось! Ты в стольких баталиях порохом прокопчён. Неужели сдался бы какомуто каперу?!
- Не сдался бы, но и гибнуть в конце пути радость невелика. Да и с тобой могло быть то же. Тем более понесло тебя Английским каналом, чуть не в зубы неприятелю.

Юрий тряхнул кудрями. Крузенштерн сказал с досадой:

- Лихой ты капитан, Юра, но твоей лихости ещё бы здорового ума поболее...

Лисянский вздохнул. Ответил уже без улыбки:

- Люди домой рвались. Вот и решил я — прямо в Европу. Тебе остров Святой Елены интересен, а мне что? Я его в своё время вдоль и поперёк исходил. Чего я там не видел?

«Могилы Головачёва ты там не видел», — сумрачно подумал Крузенштерн. Но о том не сказал.

А хотелось сказать. Потому что сверлила мысль: приди «Нева» на Святую Елену, и, может быть, не случилось бы несчастья. Конечно, прямой связи здесь не было. Мог и тогда лейтенант Головачёв совершить свой непоправимый поступок. Но, возможно, что-то и помешало бы. Всякое, даже малое, изменение в обстановке иногда поворачивает события по другому. Кто знает, может быть, присутствие «Невы» у острова построило бы в другом порядке цепь тогдашних дел, встреч, разговоров. И могло случиться, что Головачёв не оказался бы в то утро один в каюте...

...Крузенштерн отодвинул бумаги, прикрыл глаза. Нет, Лисянский не мог предвидеть несчастья, ни в чём он не виноват. Если уж искать виноватых, то смотреть надо в самое начало. Не

окажись в экспедиции Резанова, не случилось бы многих бед. Но сейчас что ему делить с Резановым и кто их рассудит? Ранняя несчастная смерть Николая Петровича в Сибири, а перед тем достойная чувствительных романов любовь его к калифорнийской красавице окружили имя Резанова ореолом...

В нынешние дни о Резанове один Василий Михайлович Головнин решился отозваться неллицеприятно. Вот как написал: «Он был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имевший голову более созидать воздушные замки, чем обдумывать и исполнять основательные предназначения... Мы увидим, что он наделал Компании множество вреда...»

Если бы одной Компании!

Действительно, создавать фантазии Николай Петрович умел. Иногда — самые нелепые. Это надо же придумать: «На „Надежде“ бунт против государя императора!»

Впрочем, следует оставаться справедливым: был Резанов по своему честен и достаточно смел. Временами... Но порою удивлял всех пустыми страхами и комедиантством.

Однако хватит о нём. Головнин сказал — и того достаточно. Головнин вообще самый прямой в суждениях и смелый среди знаменитых нынче русских капитанов (недаром были разговоры о связях его с теми, кто вышел на Сенатскую площадь). Смелее всех, с документами на руках, доказал, как бесчинствуют на Кадьяке и других островах приказчики Российско Американской компании. Специально для того ходил на Кадьяк на шлюпе «Камчатка». Проверил досконально и подтвердил сведения Лисянского о жестокостях и алчности компанейских купцов и начальников. Но тому же Лисянскому всыпал в журнале «Сын отечества», а потом и в книге своей за неверно составленную карту Чиниатского залива. Изза неточности едва не сел шлюп «Камчатка» у Кадьяка на рифы, что могло кончиться полной гибелью. И напрасно писал любезный Юрий Фёдорович гневную ответную статью. Уж коли виноват, нечего спорить. За храбрость, за мореходное умение и открытия тебе

честь, но легкомыслие и ошибки в морском деле могут принести беды немалые.

Мысли замкнули круг и от Лисянского снова пришли к острову Святой Елены. Крузенштерн потрянул головой и взялся за отгиски с начала. Надо было всё же прочитать их по порядку.

Колокол между тем уже не раз отмечал перемены...

В четыре часа пополудни Иван Фёдорович из квартиры, что находилась в первом этаже корпуса, снова прошёл в кабинет. Мысли были теперь не те, что с утра. Множество планов требовало от нового директора и множества забот. Нужны новые науки и новые профессора. Нужны классы, где лучшие морские офицеры могли бы продолжать обучение... Летняя практика на учебном корабле должна проводиться для гардемаринов ежегодно... Для матросских детей необходима школа. И пора взяться за постройку дома для семейных матросов, что служат при корпусе. А то живут в подвалах с жёнами и детьми, и даже с внуками, как Матвеич...

Григорий, словно откликнувшись на мысли, опять появился в кабинете. Шаркая ногами, направился к окну, раздёрнул шторы. Сказал очень хмуро:

— Свечито уж можно погасить.

— Погаси, — согласился Иван Фёдорович. За окном пробилось в облачную щель неожиданное солнце.

Григорий сердито дунул вверх абажура. Стало темнее, но солнечные полосы резко и весело загорелись на стёклах книжных шкафов. Григорий открыл дверцы, начал протирать корешки. Прибираться в книгах разрешалось ему одному.

— Ты что не в духе? — усмехнулся ему в спину Крузенштерн.

— Жена небось опять пилила? Или внук не слушает?

— Чего ему не слушать? Я с детишками всегда слова найду, без всякого озверения. Не то что некоторые...

— Да что случилосьто, Матвеич?

— А то, что, конечно, воля ваша, только не дело это, ваше превосходительство...

«Ваше превосходительство» вместо привычного «Иван Фёдорович» пуще многих слов сказало, как рассержен старый матрос.

- Да объясни ты толком! Какое «не дело»?
- А такое... Сами говорили, что не будет больше этого. А теперь мальчонку исхлестали, будто загульного матроса.
- Какого... мальчонку? — От догадки нервным ознобом свело на щеках кожу.
- Будто не знаете... самого малого из них, Егорку Алабышева. Которого Мышонком кличут... И хотя было бы за что, а то ведь...

«Господи, — подумал Крузенштерн, — это же я виноват! — Он всей душой ощутил отчаянье и боль этого Егорки. Его ужас и слёзы. Особенно после того, как Мышонок поверил в спасение! — Это я виноват! Не сказал Фогту вовремя!.. Но как я мог подумать, что этот мерзавец осмелится?..»

Григорий, встревожившись долгим молчанием адмирала, оглянулся. Увидел его лицо.

- Да неужто не знали?.. Иван Фёдорович, простите дурака, Христа ради...

Крузенштерн через силу сказал:

- Матвеич... Пригласи дежурного офицера, голубчик. Григорий торопливо зашаркал к двери. Крузенштерн сидел, стискивая горячими пальцами щёки.

Бравый мичман возник на пороге.

- Ваше превосходительство! Дежурный офицер вверенного вам корпуса мичман Васнецов по вашему...

Крузенштерн движением ладони остановил его. Помолчал несколько секунд, стараясь унять гнев. И всё же не сдержался:

- ~~когда~~ ~~Васнецов~~ резервной роты Фогта ко мне... Удивление мелькнуло на лице мичмана и, кажется, удовольствие: видимо, сей офицер не жаловал Фогта. Он щёлкнул каблуками. Григорий, оказавшись в дверях, посторонился.
- Матвеич, — мягко сказал Крузенштерн, — ты пока ступай. Я тут разберусь... Дверь не закрывай. — Ему не хотелось откликаться на стук.

Фогт шагнул в кабинет.

— Честь имею явиться по приказу вашего превосходительства. Вверенного вам корпуса резервной роты командир капитан лейтенант Фогт.

Согнувшись над столом и глядя исподлобья, Крузенштерн глухо сказал:

— Как смели вы, сударь, нарушить моё распоряжение...

От этого презрительноштатского, хлёсткого, как пощёчина, «сударь» Фогт дёрнул щекой и веком. И, помолчав на секунду более, чем дозволено приличием и дисциплиною, произнёс:

— Покорнейше прошу ваше превосходительство указать, какое распоряжение я нарушил.

— Следует ли думать, что вам не известен мой приказ воздерживаться от наказаний, подобных тому, какое вы применили к кадету Алабышеву? А если уж возникает прискорбная необходимость, то делать сие только с моего личного разрешения...

— Я считал, ваше превосходительство, что приказ касается запутанных и сложных случаев. Сей же случай был так прост, что я полагал ненужным беспокоить ваше превосходительство. Вина кадета Алабышева была очевидна.

«И вины то никакой не было, — подумал Крузенштерн. — Да и в этом ли дело?» Но говорить с подлецом о человеческих чувствах, о сострадании — всё равно что рассуждать с нукагивским королём Тапегой про Бугерово сочинение о навигации. Бить надо было тем, что ему, Фогту, доступно: параграфами.

— Как вы сказали? — переспросил Крузенштерн. — Вы *полагали*?

Холодное, невидимое собеседнику бешенство вдруг поднялось в нём — со звоном в ушах, с ненавистью, но и с ясностью в мыслях. То, что испытывал он порою, когда сталкивался с тупостью, самодовольством и жестокостью. То, что испытал впервые, неожиданно, в тот давний день на шканцах, у Нукагивы. Тогда в словах Резанова прозвучала

нагласнисходительная интонация, которая только что еле заметно скользнула у Фогта.

Впрочем, сейчас Крузенштерн удержался от вспышки.

— Вы ... ~~подождало~~ повторил он. — А ведомо ли вам, что полагать и принимать свои решения офицеру Российской империи можно тогда, когда он в самостоятельном плавании, в бою или иных обстоятельствах, где требуется его личная ответственность? Находясь же в ежедневной службе под началом старших командиров, он первой своей обязанностью имеет выполнение инструкций и приказов, ему отданных.

Фогт опять дёрнул щекой и сказал, не теряя почтительного достоинства:

— Я учту замечания вашего превосходительства.

Крузенштерн откинулся на стуле. Сжал и расслабил лежавшие на столе кулаки.

— Замечания? Учитывать их вам уже нет надобности, вы более не наставник в корпусе. Но это ещё не наказание, а лишь необходимая мера оградить воспитанников от вашего пагубного влияния. Поступок же ваш столь чудовищен, что я не решаюсь дать ему полную оценку и в рапорте Морскому штабу попрошу сделать это высших начальников... Пока же отправляйтесь под домашний арест и ждите решения. Если вам сочтут возможным сохранить офицерское звание, штаб, наверное, подыщет для вас место на корабле.

— Слушаюсь, — отрешённо отозвался Фогт. И добавил неожиданно: — Я и сам имел намерение проситься в эскадру.

— Отменно! — вырвалось у адмирала. — По крайней мере, ваша любовь к употреблению линьков и розог будет там не столь опасна. Взрослые матросы переносят зверства легче детей.

Фогт заговорил опять. То ли было ему уже всё равно, то ли он не боялся быть дерзким, имея сильных заступников.

— Смею уверить ваше превосходительство, что в отношении матросов я всегда строго придерживался правил, установленных для русских военных кораблей.

Крузенштерн посмотрел ему в лицо. Они понимали друг друга. Ох как ненавидели и понимали!

— Я вижу ваш намёк, господин капитанлейтенант, — проговорил Крузенштерн, слегка расслабляясь. — Вам угодно сказать, что «Надежда», которой я в своё время командовал, была скорее купеческим, нежели военным кораблём. Но замечу, что на любом судне главная задача командира — не строгость ради строгости, а всемерное попечение об экипаже. Это правило дало мне возможность вернуться из плавания, не потеряв ни одного человека.

Опять дрогнула щека у Фогта, и он переглотнул. Словно загнал в себя чуть не вырвавшиеся слова.

— Говорите, если чтото хотели, — усмехнулся Крузенштерн.

— Лишняя ваша мелкая дерзость не усугубит главной вины, не бойтесь.

— Я не хотел сказать ничего дерзкого. Замечу только, что Андрей Трофимович Головачёв хорошо знаком с нашей семьёю. И он помнит судьбу несчастного своего брата...

«От этого и правда никуда не уйдёшь», — подумал Крузенштерн. Помолчав, он медленно встал.

— Ну что же, — сказал он, глядя Фогту поверх головы. — Желая задеть меня, вы добились своего и тронули больное мес то... Однако, говоря о благополучном возвращении, я имел в виду матросов. Лейтенант же Головачёв — блестящий моряк и офицер — стал жертвой тяжких обстоятельств, душевного недуга и собственных острых понятий о чести... — «О которых ты, сукин сын, понятия не имеешь», — добавил он мысленно. И продол жал: — Совесть наша друг перед другом чиста. А если есть чьято вина, то теперь нас рассудит только Всевышний... Ступайте...

Когда Фогт вышел, Крузенштерн постоял у окна, машинально ощупывая глазами такелаж и рангоут брига. Отметил досадный перекося форбрамрея и провисание гротстенъштага. Ждал, что воспоминания об острове Святой Елены опять неумолимо и тоскливо лягут на душу. Но нет, не случилось. Потому что другая тяжесть — стыд и вина перед маленьким Егором

Алабышевым — была сильнее других чувств. Иван Фёдорович тяжело прошёл к порогу.

Григорий маячил неподалёку от двери.

— Матвейч, иди сюда... Что мальчик? Они его... сильно?

— Может, и не так уж сильно по первости. Да обидно же... Съёжился в спальне, всё ещё плачет.

— Приведи... если он может.

Следовало бы пойти самому, но не смог себя заставить: как будут смотреть кадеты на директора, который обещал защиту и предал!

Он сел в кресло — не к столу, а у камина.

Минут через пять вошёл Григорий, ведя осторожно за плечи Егора. Тот глядел в пол.

— Подойди ко мне, — тихо сказал Крузенштерн.

Алабышев подошёл, сбивчиво ступая по ковру. Встал в двух шагах от кресла. На опущенном лице разглядел Крузенштерн разводы от слёз, на ресницах — капли. Он привстал, взял мальчика за локоть, притянул ближе. Локоть затвердел; твёрдость эта от злого недоверия и обиды.

И тогда Иван Фёдорович сказал то, что ни в коем случае не должен говорить командир подчинённому, и уж тем более адмирал крохотному кадету:

— Егорушка, ты прости меня. Я же не знал...

Егор взметнул ресницы — так, что слетели с них брызги.

— Я помыслить не мог, — вполголоса говорил Крузенштерн, — что он посмеет так... без моего ведома... Думал — пугает...

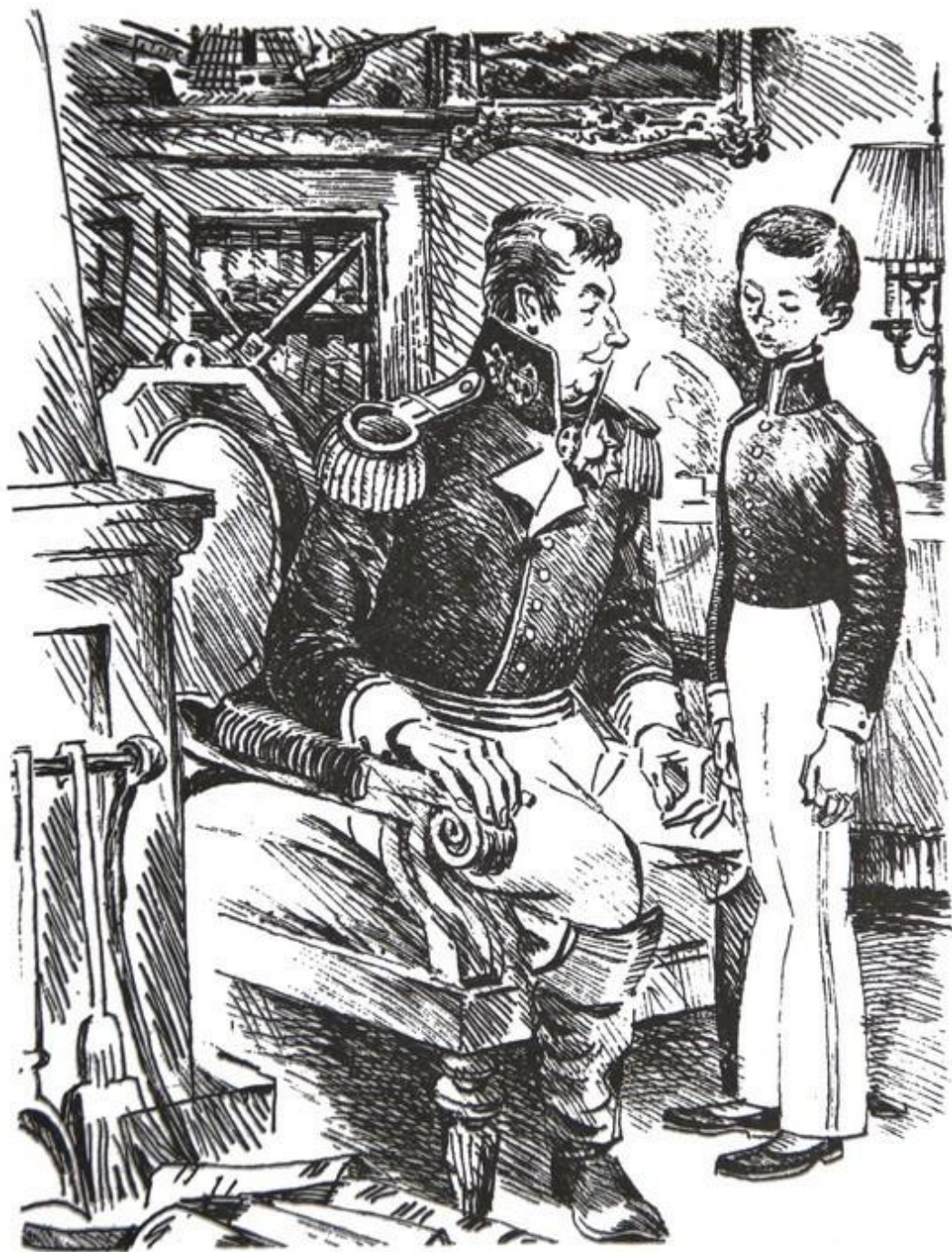
Егор шёпотом спросил:

— Значит, вы не разрешали?

— Да что ты! Как же я мог?

Егор всхлипнул, но уже както размягчённо. Сам придвинулся ещё на полшага. Лицо его было на одном уровне с адмиральским эполетом. Крузенштерн взял в ладони его маленькие холодные пальцы.

— Я ведь знаю, как это горько... Наверно, сперва хотелось уйти куда глаза глядят, корпус бросить навеки... Так ведь?



- Егор кивнул. Но вдруг сказал без жалобы, тихо, но жёстко:
- Но теперь не хочу. Я стану офицером.
- Крузенштерн печально улыбнулся:
- И думаешь: только получу офицерский чин — и тут же вызову этого Фогта на дуэль...
- Егор опять вскинул ресницы, но сразу набычился:
- Да. Вызову.
 - Ну, что же, вызови, коли будет охота... Но кажется мне, ты к тому времени поймёшь: не стоит он того... — Крузенштерн опять говорил то, чего говорить не следовало по законам дисциплины. Зато ладонь Егорушки теплела. — К тому же сей Фогт и без этого наказан уже порядочно. И к роте более не вернётся.
- Егор шмыгнул носом. Так же, как после долгих слёз, успокаиваясь, шмыгают все дети. «Слава Богу», — подумал Крузенштерн и сказал:
- На дуэлях люди головою рискуют, а это ни к чему. Если уж отдавать жизнь, так за большое дело, за отечество. За людей, которых защищаешь. Обещай это. Хорошо?
- Егор посопел опять и ответил шёпотом:
- Хорошо...
 - Молодец... Тебе худо пришлось нынче, но уж коли так случилось, запомни это не ради одной обиды. Станешь капитаном, будешь командовать многими людьми. Капитан в море — он один царь и Бог над всеми, кто на корабле. Не чини тогда людям жестокостей, помни, как горька несправедливость и боль... И на меня не сердись, ладно?
- Егор смотрел теперь прямо:
- Я не сержусь, ваше превосходительство. Честное слово.
 - Не надо «превосходительства». Мы ведь не по службе тут беседуем. Иван Фёдорович я... Сколько тебе летто, Егор?
 - Десять с половиною, ва... Иван Фёдорович.
 - Годы быстро бегут... Ох как быстро, Егор. Будет когда нибудь у тебя свой корабль, пойдёшь вокруг света. И забудешь, как звали тебя Мышонком... — И встревожился адмирал: — А почему так зовут? Уж не обижают ли товарищи?

«Если и обижают, не скажет», — подумал он.

Но Егор Алабышев улыбнулся похорошему. И сказал смущённо, однако без досады:

- Это не для обиды так прозвали. Когда все балуются или гуляют, я с книжкой люблю сидеть. Ребята говорят: «Шуршишь, как мышонок в углу...» А потом просят рассказать, что читаю...
- Про что же читаешь? — улыбнулся и Крузенштерн.
- Про плаванья... Вашу книгу тоже читал, «Путешествие вокруг света»...
- Да? А ещё про что?
- Ещё Василия Михалыча Головнина «В плену у японцев»... И Юрия Фёдоровича Лисянского, который плавал вместе с вами...
- Лисянский плавал более один, чем со мною, у него особые заслуги... Значит, мечтаешь о море?
- Так точно, в... Иван Фёдорович. Я очень плавать хочу... Мы этим летом у нас в деревне корабль из плота сделали на пруду. И парус был... Я чуть не потонул один раз...
- А вот тонутьто не смей, — засмеялся Крузенштерн, вспомнив детские игры в имении под Ревелем. — Тебе плавать и плавать, целую жизнь. Может быть, героем станешь, как многие наши офицеры в недавнем бою под Наварином... Слышал ли?
- Конечно! Михаил Петрович Лазарев на «Азове» разом с пятью кораблями дрался и все потопил!.. А перед тем он два раза ходил вокруг света и с капитаном Беллинсгаузеном новые земли открыл в Южном море... Говорят, про их плавание тоже есть книга. Я слышал, но не читал...
- Нет ещё, не напечатали пока. Но немало есть других сочинений о разных открытиях, что сделали русские капитаны... Я скажу новому командиру роты, что завтра ты свободен от классов. Пойдёшь в библиотеку, возьмёшь какие хочешь книги и читай на здоровье.
- Младших туда в будние дни не пускают, только по воскресеньям.

— Я распоряжусь... А ты за это дай мне одно обещанье. Дашь? Не бойся, оно лёгкое...

Глаза Егора совсем уже высохли. Он глянул с хитринкой:

- А про что обещанье, Иван Фёдорович?
- Как станешь знаменитым мореходцем, откроешь новые острова да напишешь про них свою книгу, не забудь прислать в подарок мне, старику... Коли буду жив... Обещаешь?

Офицер Российского флота Егор Алабышев не написал своей книги. У него была иная судьба. Но Крузенштерна он помнил всю жизнь. До последнего дня, до последней вспышки...



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
МЕДНЫЙ СТУК ЧАСОВ

Новогодние сюрпризы

Месяц звонкий и рогатый
С неба звёзды сгрёб лопатой.
Новый год, Новый год,
Нынче всё наоборот!

Эти стихи 29 декабря сорок седьмого года сочинил ученик четвёртого класса «Б» новотуринской начальной школы номер десять Толик Нечаев. Они сами придумались, когда Толик волок с базара ёлку.

С ёлкой Толику несказанно повезло. Хотя и не сразу.

Часа два Толик топтался на городском рынке, в огороженном квадрате, который назывался «Ёлочный базар». Ёлок хватало, но тоска брала, когда он смотрел на однобокие уродины с редкими ветками. Правда, можно было купить два таких «инвалида» и связать вместе, но душа Толика восставала против подделки. Ёлка должна быть без всяких обманов и хитрости, одна и настоящая! Какая ёлка — такой и праздник получится.

Среди покупателей возник было неуверенный слух, что, может быть, ещё привезут ёлки, прямо из лесничества. Но продавщица — тётка в могучем тулупе — развеяла надежду:

— Ишшо чё! Вечер на дворе. Берите эти, завтра и таких не будет.

Толик понимал, что это, скорее всего, правда. Вот балдато! Надо было раньше покупать. Всё тянул, хотел, чтобы свежая была... А может, завтра всётаки привезут?

Толик продрог, в варежках коченели кончики пальцев. Так ничего и не выбрав, побрёл Толик с рынка. И уже за воротами увидел красавицу ель.

Она была тёмная, голубоватая, с чешуйчатыми шишками в тени разлапистых веток. Её наверняка только что привезли из леса: в хвое светился снежок. Поблёскивали сосульки. От оранжевого, очень яркого заката в сосульках дрожали огоньки. Караулил ёлку низенький краснолицый мужичок в рыжем полушубке. Он притопывал и нерешительно поглядывал на редких прохожих: то ли когото ждал, то ли побаивался. Может, милиции?

Толик задрал голову и спросил жалобно и восхищённо:

— Продаётся?

Мужичок глянул сумрачно и рубанул:

— Тридцать рублей.

Катись, мол, не для тебя товар.

Толика и правда отшатнуло. С точки зрения здравомыслящего человека цена была непомерная.

За эти деньги можно не меньше десяти раз сходить в кино. Можно купить похожий на фотоаппарат фильмоскоп и к нему

ещё (если добавить сорок копеек) цветную ленту. Например, «Халифааиста» или «Оборону Севастополя». А лучше всего — автомат! Ствол и диск у него деревянные, зато приклад от настоящего ППШ. Видно, после войны автоматы в больших количествах стали уже не нужны и оставшиеся на заводах заготовки пустили на игрушки. Такой почти настоящий ППШ с трещоткой стоил как раз тридцатку. Толик не раз думал об этом, когда пересчитывал свои сбережения. Но он не поддался никаким соблазнам. Главное — ёлка и все волшебные новогодние радости...

Делать сбережения было нелегко. На пирожках в школьном буфете и на кино много не сэкономишь. У мамы тоже лишний рубль не выпросишь. Не потому, что маме жалко, а потому, что зарплата у машинисток — «кот наплакал»... А ещё эта реформа две недели назад! Конечно, здорово, что отменили хлебные карточки, теперь можно есть досыта. И новые деньги — красивые такие, просто удовольствие их разглядывать. Да только меняютто их на старые один рубль за десять. Толик чуть не заревел, когда узнал про такое. С осени копил, старался, а теперь что?.. Но скоро стало известно, что мелочь обменивать не надо: медяки и «серебрушки» останутся прежними. И Толик обрадованно потряс жестяной копилкой.

В общем, так или иначе, а расплатиться с мужичком в рыжем полушубке Толик мог. Но всётаки он жалобно сказал:

— А может, двадцать пять, а?

Мужичок глянул с интересом. Но ответил непреклонно:

— Я её по заказу с участка тащил, одному артисту драматическому в театре. А он говорит теперь: не надо. А я зря надрывался, да? Тридцать.

Толик сдёрнул варежки, подышал на пальцы, расстегнул пальтишко. В пришитом к подкладке кармане лежали его капиталы...

Мужичок пересчитал новые рубли и трёшки и стремительно подобрел:

— Вот и ладненько!.. А как потащишьто?

— Я близко живу, — торопливо соврал Толик. Он испугался, что мужичок передумает.

— Ну, держи... За середину берись, чтоб ловчее нести... Мужичок навалил ель на Толика, и тот оказался в хвойной чаще. Праздничный запах снежного новогоднего леса вскружил ему голову. Но тяжесть оказалась вовсе не праздничной. Толик пискнул и поволок покупку по Рыночному переулку. Со стороны казалось, наверно, что упавшая набок большущая ёлка сама семенит кудато на слабых ножках в подшитых валенках.

Так он добрался до улицы Коммунаров — центральной «магистральной» Новотуринска. Уложил ёлку на обочину, выбрался изпод веток и понял, что силы свои немислимо переоценил.

Изредка проезжали автобусы. Но разве залезешь туда с такой громадиной? Даже в открытый, переделанный из полуторки автобус Толика с этим деревом не пустят...

Но правду говорят, что под Новый год случаются чудеса. Неторопливая лошадка протащила мимо Толика розвальни. В них сидел на соломе старый небритый дядька (последний свет заката искрился на его седой щетине). Толика словно толкнуло:

— Дяденька, подвезите меня с ёлкой! А то я помру, не дотащу!
— Он сказал это и весело, и жалостно. Сам удивился своей смелости и не ждал, что «дяденька» отзовется.

— Тпру... — сказал дядька. Оглянулся: — А тебе куда?

— На Запольную! — заволновался Толик. — Это по улице Красина, а потом за Земляной мост...

— Это же в Заовражке! А я в Рыбкооп, на базу.

— Ну, хоть до моста! А там уж я дотащу!

— Вали свою древесину. Вот сюда, ближе втаскивай... Садись... Ноо, голубушка, чтоб тебя черти съели!..

Сразу стало всё прекрасно. Даже пальцы в варежках перестали мёрзнуть. Замечательная заиндевелая лошадка повезла ёлку и Толика мимо замечательных, уже освещённых витрин с нарисованными снежинками и цифрами «1948», мимо кинотеатра «Победа» с афишей нового замечательного фильма

«Первая перчатка», замечательную песенку из которого пели все мальчишки: «При каждой неудаче давать умеете сдачи, иначе вам удачи не видать!» (Толик, правда, не всегда умел давать сдачи, но песенка ему нравилась.)

Замечательный небритый возчик спросил про ёлку:

- Куды же ты её такую волокешь? В школу, что ль?
- Нее! Домой, — гордо сказал Толик.
- Домоой? Дак не влезет же.
- У нас потолок высокий. Нам осенью новую комнату дали, большую... Там раньше эвакуированные жили, целых шесть человек!
- А вас, выходит, меньше? — поинтересовался словоохотливый возчик. И благодарный Толик объяснил:
- Мама да я... Ещё сестра, но она сейчас в Среднекамске, в институте учится. На инженерахимика.
 - Сестра — это хорошо, — вздохнул дядька и закашлялся. — У моих сынков тоже сестра была... Вот ведь дело какое вышло: два сына ушли на войну и дочка. Парни то оба вернулись, а сестрёнку ихнюю убило. В сорок пятом уже, в Германии. Фельдшер она была...

Толик вежливо молчал. Что тут скажешь?

- А ты, выходит, за мужика в доме? Отецто небось тоже погиб?
 - Под Севастополем...
 - Помнишь батюто?
- Маленько, — признался Толик. В армию отца призвали ещё до войны, в тридцать девятом, когда Толику не было двух лет. С тех пор отец появлялся дома дватри раза на очень короткие деньки. И Толику запомнились лишь новые коричневые ремни, запах табака и одеколona и звёздочка политрука на суконном рукаве гимнастёрки...

Дальше ехали молча. Мимо четырёхэтажного горсовета, мимо решётки городского сада, мимо старой церкви, где была контора Заготзерно. Потом свернули на улицу Красина... Грустная минутка ушла, и опять вернулось новогоднее настроение.

Закат светился над заснеженными крышами. Жестяные дымники печных труб чернели, будто кружевные теремки. Поверх заката ехал в ту же сторону, что и Толик, месяц с лихо задранным подбородком. Замечательный новогодний месяц.

«Скырлыскырлы, скырлыскырлы», — поскрипывали полозья. Как липовая нога в сказке про медведя. Но сейчас была другая сказка — добрая. И под равномерный скрип в голове у Толика замаршировали весёлые слова:

Месяц звонкий и рогатый...

Месяц звонкий и рогатый...

Рогатый — понятно почему. А звонкий... Потому что он серебристый и полупрозрачный, как из льдинки. Щёлкни ногтем — и зазвенит...

Скоро пришлось попрощаться с добрым дядькой и тащить ёлку по Земляному мосту. Толик волок её, ухватив под мышку комель; ёлке это было не на пользу, верхушка тащилась по снегу, но что поделаешь? С крутых склонов съезжали в лог на санках и лыжах орущие от восторга мальчишки. Закат быстро догорал над невысокими домами и деревьями Заовражка. Месяц стал ярче. Но звёзд попрежнему не было. Может, месяц решил подурачиться и соскоблил их с неба острым подбородком? Как лопатой!

Месяц звонкий и рогатый
С неба звёзды сгрёб лопатой!
Новый год, Новый год,
Нынче всё наоборот!

Толик прошептал это, сопя от усталости и весёлой натуги. Почему «всё наоборот», он и сам не знал. Так получилось.

А может, и правда наоборот? Не так, как обычно.

Ведь дядька не хлестнул кобылу и не проехал мимо, а взял да и подвёз Толика.

И по календарю сегодня понедельник, а у ребят — выходной. В школе решили позаниматься в воскресенье, чтобы потом сразу — каникулы. Но и в воскресенье не учились. Вера Николаевна раздала табели и всех отпустила после первого урока. Ура!

По арифметике у Толика выходил явный трояк, но Вера Николаевна поставила четвёрку. Сказала: «Ладно уж, гуляй, добрый молодец, без печали». Вот какой весёлый «наоборот»!

Только скорей бы добраться до дома...

Толик втащил ёлку во двор, когда совсем стемнело. Окна их с мамой комнаты на втором этаже светились. Значит, мама уже пришла с работы. Так рано! Тоже хороший «наоборот»!

Но мама встретила Толика неласково:

— Я уже искать собралась! Где тебя носило?

— Ёлку тащил! Пойдём, покажу! Ну, пойдём, увидишь какая!

Мама покачала головой, накинула платок и ватник...

Вместе с мамой вышел Султан. Он радостно уставился на ёлку и заколотил Толика хвостом по валенкам.

— Ой, — сказала мама. — Толька, ты спятил... А как мы эту громадину в сарай затолкаем?

— Вот я и сам думаю...

— Если здесь оставить, могут стащить.

— Ага... Мама! А давай прямо сейчас её украсим! А? Ну, ведь уже почти праздник! Даже в школе сегодня утренник был, и на площади ёлка!

— Не выдумывай...

— Ну почему «не выдумывай»?

— До послезавтра она осыпаться начнёт.

— Да что ты! Она же только из лесу!.. Согласна? Ура!

Он облапил маму и чуть не уронил в сугроб...

— Дурень сумасшедший, — сказала мама.

Старая подставка из брусков крестнакрест оказалась мала. Пришлось ставить ёлку в кадучку, укреплять в ней ствол поленьями. Верхушка царапала потолок. Чтобы прицепить к

ней серебряную самодельную звезду, Толик поставил на стол тумбочку, на тумбочку табурет. Султан неодобрительно смотрел на эти упражнения, фыркал и поматывал остроухой головой. Он только что обнюхал ёлку и уколол нос.

Игрушек для такой великанши оказалось маловато.

— Ничего, — сказала мама. — Ещё ваты накидаем, будто снежок... Да и незачем такую красавицу чересчур игрушками увешивать, она и так хороша.

Но всё же мама хитро посмотрела на Толика и достала из сундука несколько разноцветных шаров с картинками. Вот это сюрприз! Толик заорал «ура» и радостно упал с верхотуры на Султана, который обиженно, пощеничьи, твякнул и ушёл к двери.

Пришла соседка Эльза Георгиевна. Изумилась:

- Куда же вам такая громадная, двоимто?
- Почему двоим? Варя приедет, к ней ребята придут, бывшие одноклассники, — весело возразила мама. — И ещё гости всякие... Наверно, и вы не откажетесь нас посетить?
- Ох, не знаю. Ко мне должна прийти сестра Вадима Валентиновича с мужем, это традиция... Вадим Валентинович так любил Новый год и ёлку, просто как ребёнок. Сам игрушки делал, особенно солдатиков... — Эльза Георгиевна вдруг поджала губу, кивнула и вышла. Она была ничего, не вредная соседка, но старомодная и со странностями. Одинокая и бездетная...
- А Дмитрий Иванович придёт? — спросил Толик.
- Нне знаю. Едва ли. Он встречает Новый год со своими сотрудниками, в Рыбкоопе. У него там друзья.
- А ты? — ревниво сказал Толик.
- Что я?
- Разве не «друзья»?

Мама и Дмитрий Иванович познакомились в сорок шестом году, они вместе работали в комиссии на избирательном участке. Потом Дмитрий Иванович к ним часто заходил в гости. Про войну Толику рассказывал, научил вертушки с флюгерами

делать, чтобы на крыше прибавать. Осенью помог им с мамой переехать в новую комнату. В кино маму приглашал, в цирк. А недавно они опять дежурили в одном агитпункте, потому что были выборы в местные Советы, и Дмитрий Иванович всегда маму провожал...

В общем, не было здесь для Толика никакой тайны.

Он снова забрался на стол, на тумбочку, на табурет и сказал:

— Поженились бы вы, да и дело с концом.

— Анатолий!

— Ну чего «Анатолий»? Я же понимаю...

— Ты вот спустись, я покажу, где у тебя понимание. Толик хихикнул на безопасной высоте и сказал деловито:

— Я серьёзно говорю. Не маленький.

Мама села на кровать, помолчала.

— Раз не маленький, должен понимать, как всё это сложно...

— Чего сложногого... — буркнул Толик. Но уже не для мамы, а себе под нос.

Когда кончили украшать ёлку, был уже девятый час. Толик подул на исколотые хвоей руки и украдкой глянул на маму. Сказал осторожно и явно подхалимским голосом:

— Маа...

— Не выдумывай!

— Ну, мам...

— Я так и знала! Сперва одно, потом другое...

— Только попробуем. Самую чуточку...

— Ты жулик, — сказала мама.

Толик радостно затанцевал:

— Всего на полминутки!

— Мелкий авантюрист и вымогатель...

Мама достала пачку свечек и связку подсвечников-зажимов.

— На самые маленькие полминутки, — повторил Толик.

— В густоту не ставь, пожар устроим.

Толик укрепил свечи на хвойных лапах подальше от бумажных игрушек. А одну — у самой верхушки, чтобы звезда сверкала.

— Мама, давай зажигать! Я здесь, а ты внизу!

— Подожди... — както странно сказала мама. — Спустись.

Толик встревожился и послушно прыгнул на пол.

Мама задумчиво пригладила ему коротенькую причёску «полубокс».

— Если уж зажигать, значит — праздник.

Умойся и причешись.
Толик заволновался, послушно и старательно вымыл на кухне, под звякающим умывальником, руки, лицо и шею. в Ледяной водой, взятой сеньях из кадки! Мама включила электрочайник. Потом дала мама Толику белую рубашку и чёрный праздничный костюм, который знакомая портниха тётя Римма сшила из маминой вельветовой юбки. Такие костюмы из вельвета были у многих мальчишек, но Толику они не нравились: куртки висели, как мешки, а застёгнутые под коленками штаны раздувались, будто аэростаты. Любой пацан делался похожим на куль с куриными ножками. А костюм для Толика получился ладный, без лишней полноты и складок. Наверно, потому, что материи в юбке было в обрез. Даже на рукава не хватило, вместо куртки вышел жилетик. Ну и ладно, так даже лучше, белую рубашку заметнее.

А военные пуговицы горят, как золотые!

В глубине души Толик считал, что в этом наряде он похож на Пятнадцатилетнего капитана или Роберта Гранта.

Изпод кровати Толик вытащил свои лёгонькие летние сандалии. Свежий воротник ласкал шею. Лицо празднично горело от недавнего умывания. Перед зеркалом Толик продрал гребешком куцую чёлку. Привычно вздохнул по поводу немужественного курносого отражения, но сейчас и настроения не испортило. оно

Мама за шевелящейся занавеской тоже надевала чтото праздничное. Толик замечал, что в последнее время мама стала

его стесняться: всегда одевается за шторкой или в темноте. Толик деликатно отвернулся от занавески. А когда глянул снова, мама уже стояла на свету в зелёном своём платье со стеклянными «искорками» на груди. Молодая, почти как Варя...

Мама оглядела Толика и сказала:

— Теперь — зажигаем.

Толик схватил коробок и опять полез к потолку...

Потом они с мамой отошли в дальний угол. Ёлка с потрескивающими огоньками была как целая лесная страна. В её чаще мерцали неизвестные сказки. Может быть, затерянные и забытые города, живущие неведомой жизнью.

Как неоткрытые острова в океане.

И над ними сверкала сделанная Толиком звезда.

Жаль, что у сказок такое короткое время.

Мама вздохнула и сказала, что свечки надо поберечь. Но волшебство не исчезло совсем. Запах ёлки теперь смешивался с запахом погасших свечек. А ведь именно при погасших свечах в замках и подземельях происходили удивительные истории...

Мама принесла булькающий чайник, поставила на стол блюдце с карамелью «кофейная подушечка», тарелку с печеньем.

— Приедет Варя, придут её друзья, Новый год будет шумный. А сейчас давай сделаем тихий праздничный вечерок.

И они стали пить чай у ёлки. Ёлка занимала чуть ли не полкомнаты, она была здесь хозяйка, а Толик и мама — у неё в гостях. Ради таких чудесных минут и старался Толик: деньги сэкономил, игрушки клеил, ёлку тащил. Теперь всё было замечательно... Только... чтото грустные глаза у мамы. И улыбается она слишком уж задумчиво. Вообще ничего особенного, в такие вечера грусть иногда подбирается сама собой. Но всё полезно в меру. И чтобы сделать маму повеселее, Толик сказал:

— Раз уж получается сегодня праздник, тогда знаешь что? Я тебе подарю подарок, который к Новому году сделал. Ты не бойся, это не весь подарок, потом ещё будет.

И он вытащил из тайника, со шкафа, склеенное «Лукоморье».

Это была словно маленькая театральная сцена. Размером с тетрадку. На ней — дуб с золотой цепочкой, чёрный лохматый кот ростом с полспички, Баба Яга в ступе из напёрстка, а в ветвях — русалка с хвостом из фольги. Изпод белых гребешков на волнах торчали шлемы и копыя Черноморова войска (правда, не тридцать три, а поменьше). Подвешенный на нитке к облаку бородатый колдун тащил богатыря с длинным мечом из иголки.

Небо над Лукоморьем было из тонкой зелёной бумаги. Прорезанный в ней месяц Толик заклеил яркожёлтой бумажкой — совсем прозрачной. Посмотришь на просвет — небо таинственно светится, месяц горит, силуэты на сцене будто оживают...

Мама и в самом деле повеселела. Хвалила Толика и долго разглядывала сказочный театр. Потом сказала:

— Я тебе тоже сделаю подарок. Тоже предварительный...

И дала мама Толику синюю книжку с быстрым кораблём на твёрдой корочке. «Русские кругосветные мореплаватели».

— Ух ты... — сказал Толик. Съехал со стула на пол, под ёлку, и там открыл первую страницу. — Mam, вот спасибо... — Он торопливо пролистал предисловие (известно, что предисловия читать необязательно). — «Крузенштерн и Лисянский, первая экспедиция на Восток»... Мама, они кто? Капитаны?

— Читай, читай, сам узнаешь, — сказала мама. — Кто у нас морякпутешественник? Ты или я?

И Толик читал под ёлкой, пока мама не погнала его в постель. Потом ещё читал — под одеялом, с фонариком (вернее, с батарейкой, к которой были примотаны самодельный жестяной рефлектор и лампочка). Мама наконец сказала сквозь сон:

— Толька, совесть у тебя есть? Я тебя завтра не подниму.

— Ну и что? Каникулы же.

— Мало ли что каникулы! С утра пойдёшь на рынок...

Курганов

Уходя на работу, мама растолкала Толика.

— На столе деньги и список: что надо купить.

Толик не стал нежиться в постели. В каникулы для этого почемуто нет настроения. Он выпустил гулять Султана, разогрел на завтрак жареную картошку, полюбовался ёлкой и отправился за покупками. Ключ оставил в коридоре под половиком. Султану, который шастал по двору, сказал:

— Далеко не бегай. Может быть, Варя появится, а дома никого...

На рынке он купил круг замороженного молока, в овощном подвальчике — квашеную капусту и свёклу для винегрета, в продуктовом магазине на углу — поллитра подсолнечного масла и душистую буханку хлеба, который теперь без карточек и почти без очереди. А на свои собственные три рубля (которые остались от ёлки) ещё один шарик: яркоалый, с картинкой

«КонёкГорбунок».

Вари дома не оказалось. Да и смешно было надеяться, что её отпустят из института в учебный день. Зато раньше срока пришла на обед мама. Сказала, что в редакции капризничает машинка и материалы в новогодний номер придётся печатать дома.

Она застучала на своём ужасно старом, но ещё крепком «Ундервуде». Толик опять уселся читать про Крузенштерна и Лисянского. Рядом приткнулся нагулявшийся и пообедавший Султан. Он тихо сопел и в полудрёме постукивал хвостом о половицы.

Толик читал быстро. Он вообще был «книгоглотатель», а если про море и про путешествия — он мчался по страницам, как лихой кавалерист. Но мчался — это не значит, что был невнимательным. Он не пропускал даже тех страниц, которые написаны скучновато, словно в учебнике.

Читать — это вообще самое лучшее занятие. А если вот так, под ёлкой, и когда мама уютно стучит на машинке, и когда за

стеной Эльза Георгиевна чтото красиво, ненавязчиво наигрывает на пианино, и когда не колет мысль об уроках — тогда вообще счастье.

И плывут, плывут корабли «Надежда» и «Нева» к Нукагиве и Камчатке, к Русской Америке и Японии, к Китаю и острову Святой Елены...

В Кронштадт «Нева» и «Надежда» вернулись, когда за окнами стемнело, мама перестала печатать, а Султан опять отпросился на улицу. Толик потянулся так, что заскрипели позвонки.

— Вот книжечка! Мама, ты молодчина, что догадалась купить такую.

Мама, укладывая в портфель бумаги, объяснила:

— Здесь интересное совпадение. Недавно я печатала старые документы одному человеку, по заказу. Как раз насчёт этих морских путешественников. Печатаю и думаю: «Вот бы книжку про них достать! А то ума не приложу, что ненаглядному сыну подарить на Новый год». Потом иду мимо «Когиза», и нате — стоят на витрине «Русские мореплаватели». Как в сказке.

— Новогодние чудеса... А что за документы ты печатала?

— Да брошюра старая, инструкции всякие.

— А что за человек? Профессор?

— Господи, откуда у нас в Новотуринске профессора? Так... человек. Заходит иногда в редакцию, заметки пишет... Эту брошюру он в библиотеке отыскал, в архивном фонде, и попросил меня коечто перепечатать. Видимо, интересуется географией... Ой, Толик, сделай сегодня ещё одно доброе дело!

— Опять в магазин, — сказал Толик. — Или свёклу чистить?

— Ничего не чистить. Отвези этому человеку готовую работу. Она дома у меня, а он заходил сегодня в редакцию, спрашивал. Неудобно так... Отвезёшь? Он на Ямской живёт.

— Уу...

— Ну что «уу»? Мне на работу надо, и там я застряну, если машинку починили. А тебе прокатиться — одно удовольствие.



Мама угадала. Толик протянул «уу» для порядка. Читать он устал, сидеть дома одному — радости мало, а прокатиться по вечерним предновогодним улицам в самом деле неплохо.

Мама дала ему плоскую папку.

— Покажи, что за брошюра, — попросил Толик. — Интересно всётаки, морская ведь.

В папке лежала серая тонкая книжица с узором из листьев и маленьких глобусов. Длинное название было оттиснуто старинными буквами:

СОБРАНИЕ ИНСТРУКЦІЙ,
данныхъ въ разное время
командирамъ
РУССКИХЪ СУДОВЪ
при отправленіи въ дальніе плаванія

И ниже:

Санктпетербургъ
1853

Толик полистал. Мелькнуло знакомое имя Крузенштерна. Но мама торопила:

— Вот адрес. Вход отдельный, со двора, собаки там нет. Человека этого зовут Арсений Викторович. Он такой, немного хмурый и нелюдимый, но ты не бойся.

— А чего боятьсято? Отдам папку, вот и всё.

— Ну... не совсем всё. Скажи, что я просила, что, если он может... пусть сразу расплатится за работу. Нам бы деньги к празднику очень пригодились.

Толик поморщился.

— На киното небось запросишь, — напомнила мама.

Мама ушла. Толик оделся, выволок изза вешалки лыжи, снял с гвоздя самодельную сбрую. На крыльце свистнул Султана. Тот вылетел из темноты.

—Хватит без толку носиться, запрягайся.

Султан не спорил.

Они выбрались со двора на укатанную дорогу.

— Ну, вперёд! — велел Толик. — Давай!.. Вперёд, Султан! Кошка! Где у нас кошка?

Султан радостно взвизгнул и рванул Толика.

Это была игра. Ещё давно, когда пёс был почти щенком, юный хозяин так приучал его мчаться и тащить лыжника. Приходилось выслеживать впереди кошку, чтобы Султан охотнее набирал скорость. А теперь никакой кошки не было, Султан это прекрасно понимал. Да и на кой шут она сдалась? Если догонишь, что дальше? Не душишь же её, в самом деле. Да и по морде можно заработать когтистой лапой (случалось такое в прежние времена). А бежать и без всякой причины весело. Везти лёгонького хозяина — это не работа, а шуточки.

Толику тоже было весело. Лыжи слушались отлично, тугие запяточные ремни плотно держали их на валенках. Папка — за пазухой, ремень от упряжки — в левой руке, а правая откинута, как у канатоходца, — чтобы сохранять равновесие...

А по сторонам бегут назад жёлтые уютные окошки. И старый знакомый — новогодний месяц — летит за Толиком.

Пересекли большую улицу Луначарского — с двухэтажными домами, фонарями, магазинами и машинами. И опять вокруг сугробы, палисадники да месяц над заборами... И вот уже Ямская. Раньше редко приходилось бывать здесь: в этих краях — ни друзей, ни знакомых. Вроде бы не так уж далеко от Заполярной, а всё здесь непривычное. Кирпичная часовенка на углу, сад за глухим забором, чужая трёхэтажная школа... Даже месяц стал какойто не такой и притворялся, что незнаком с Толиком.

Ну, ничего, они с Султаном нигде не пропадут.

— А ну, Султан, где здесь кошка?!

Дом номер четырнадцать оказался большой, двухэтажный, с узорчатыми наличниками на высоких окнах второго этажа. А низ — кирпичный. Наверно, раньше жил в доме купец или фабрикант. Калитка открылась мягко, без капризов. Во дворе, у первого крыльца, Толик воткнул в сугроб лыжи.

— Султан, сидеть. Зря не гавкай, лыжи никому не давай.

Султан недовольно двинул ушами: и так знаю. Толик постучал в обитую войлоком дверь. Постучал уверенно: на фанерном почтовом ящике белела при свете месяца надпись:

КУРГАНОВ А. В.

Хозяин отпер дверь, не спрашивая, кто и зачем. Встал на пороге, касаясь головой верхнего карниза. В сенях, за спиной у него, горела яркая лампочка.

— Что угодно? — глуховато спросил Курганов.

— От Людмилы Трофимовны... — Толик протянул папку.

— О! — Голос Курганова стал яснее и добрее. — Это удивительно и прекрасно. — Он взял папку. — Заходите, прошу вас.

Толик подумал, что заходить вроде бы ни к чему. Но вспомнил про деньги.

Они прошли через длинные морозные сени. Толик видел Курганова со спины. Тот был очень высокий, сутулый. В накинутом ватнике, в старых галифе, в громадных растоптанных валенках на тонких ногах. По дороге он зацепил коромысло на стене, оно с грохотом сорвалось с гвоздя. Толик бросился поднимать, но Курганов, не взглянув, сказал:

— Плюньте.

Они оказались в большой комнате — тоже с яркой голой лампочкой. И первое, что увидел Толик, — это громадная синяя карта. Со всеми частями света. Она занимала полстены. Под ней угадывалась высокая, видимо, заколоченная дверь.

— Проходите, — говорил Курганов, — раздевайтесь, вот вешалка... Ах, как прекрасно, что Людмила Трофимовна прислала... Но зачем такое беспокойство? Я бы сам завтра... Вы её сын?

— Сын, — кивнул Толик. Ему впервые говорили «вы», но он не удивлялся. Он знал, что люди, воспитанные по старинному, всегда очень вежливы. Даже с детьми. Видимо, и Курганов такой. Может, и в самом деле учёный географ? Специально поселился вдали от столицы, чтобы работать в тишине...

Правда, обстановка в комнате была явно не профессорская. Стол, покрытый газетами, разномастные стулья. Железная кровать. Книг много, но полки самодельные, некрашенные. Лишь камин богатый: большой, узорчатый — кружевное чугунное литьё. Толик видел такой всего один раз — у мамы на работе, в кабинете редактора. Потому что редакция находилась в старинном доме бывшей заводской конторы буржуя Крутиса.

Здесь камин, конечно, тоже остался от прежних хозяев. Наверно, раньше в этой комнате был чейто домашний кабинет, а потом его отгородили и сделали отдельный вход с улицы...

Толик, озираясь, машинально отстегнул пуговицы. Курганов забрал у него куцее, похожее на курточку пальто и шапку.

— Проходите, погрейтесь с дороги. Я сейчас чайку...

— Да нет, спасибо...

— Это вам спасибо, так вовремя привезли. Да проходите же!

Толик начал стаскивать валенки.

— Зачем? Не надо! — всполошился Курганов.

— Я шкуру затопчу.

На полу раскинулась бурая медвежья шкура с кривыми когтями на растопыренных лапах.

— Ну и топчите, я сам её топчу! Это вовсе не предмет роскоши, а так... случайный подарок одного приятеля.

Но Толик уже стянул валенки.

— Тогда я их к печке... — решил Курганов.

Толик подумал, что Арсений Викторович вовсе не хмурый и не молчаливый. Скорей наоборот. Суетится чего-то с мальчишкой, как с важным человеком... «А может, просто стесняется? — мелькнула у Толика догадка. — Может, не знает, как разговаривать с детьми? Может, своих никогда не было...»

Курганов, без сомнения, жил один. Единственная кровать — старая и узкая, вроде солдатской койки. Посуда стоит на тех же полках, что и книги. Вешалка почти пустая, а шкафа для одежды вообще нет. Холостяк. Вроде Дмитрия Ивановича, у которого Толик был несколько раз.

Идти в чулках по упругому медвежьему меху было очень приятно. Толик прошёл не торопясь. Присел на скрипнувший стул. Курганов поставил на подоконник плитку, на плитку чайник. Толик думал: не пора ли сказать о деньгах?

Курганов, хотя и был разговорчив, добродушным не казался. Стоило ему замолчать, и лицо делалось невесёлым. Это было некрасивое лицо с повисшим над толстыми губами носом. Один угол рта опускался ниже другого. Голубые глазки сидели близко от переносицы и смотрели изпод щетинистых бровей с насторожённой виноватостью. Сквозь жидкие бесцветные волосы просвечивала лысина. И всё же Курганов был не таким старым, как сперва Толику показалось. Сутулился, но двигался быстро. Он снял ватник, остался в обвисшем чёрном свитере и сделался ещё более тощим и высоким. Длинные руки с большими ладонями торчали из рукавов...

Толик встретился глазами с Кургановым и смутился, что так разглядывает его. Стал смотреть на карту. Она была гораздо больше школьной. Все материки покрывал одинаковый серый цвет, а по морям и океанам растекалась голубая краска разных оттенков — от белесоватой до густовасильковой.

«Наверно, морская карта», — подумал Толик. Хотел уже спросить о ней Курганова, но заметил картинку — рисунок в деревянной рамке под стеклом. Он висел на карте, левее западных берегов Африки. Толик различил на картинке переплетение корабельных снастей и осторожно подошёл.

Рисунок был сделан карандашом на желтоватой ворсистой бумаге. На палубе, у фальшборта, в окружении хохочущих матросов сидел на бочке бородатый дядька в короне и с вилами. Он тоже хохотал или что-то весело кричал. В левой руке его была объёмистая кружка. Поодаль стояла группа офицеров в треуголках. Сквозь частые ванты и бакштаги невдалеке был виден ещё один корабль. Он шёл под полными парусами, с небольшим креном.

Курганов остановился сзади. Толик оглянулся:

— Это встреча с Нептуном, да? Переход через экватор?

— Совершенно правильно. Русские корабли «Надежда» и «Нева» двадцать шестого ноября тысяча восемьсот третьего года.

— На которых Крузенштерн и Лисянский?

— Да, да... Значит, слышал о них?

— Ага! Я про них только сегодня читал.

— Прекрасно! А что именно? Чья книга?

— Моя. Мама подарила.

— Прекрасно, — опять сказал Курганов серьёзно. — Но я, собственно, имел в виду, кто автор...

— Ой, — смутился Толик. — Это — кто написал? Я не помню.

— Ну, ничего, — смутился и Курганов.

— Кажется... Новиков.

— Любопытно... А может быть, Нозиков?

— Может быть, — виновато сказал Толик.

— Ну что же. Нозиков так Нозиков, — с непонятной ноткой проговорил Курганов. — Для начала можно и его.

— Вы его тоже читали, да?

— Дда... По правде говоря, он не пишет ничего нового. У меня ещё в детстве была книга об арктических и кругосветных мореплавателях России, в том числе и о Крузенштерне. Некой писательницы Лялиной, весьма популярной в те года. Так вот, у Нозикова коегде прямо слово в слово списано...

Толик с первого класса знал, что списывать нехорошо. И ему стало неловко за Нозикова. И обидно за книжку — мамин подарок. Толик сказал насупленно:

— Может, он просто похоже написал. Потому что про одно и то же.

— Да? Ну, может быть, — излишне покладисто проговорил Курганов. — Беда не в этом... И Лялина, и Нозиков описывают экспедицию очень гладко. И не касаются подробностей.

Толик нерешительно возразил:

— Почему? Там есть подробности.

— В событиях коечто есть. А про людей мало... Например, что мы знаем про этого матроса? — Курганов ногтем ткнул в Нептуна. — Ни Лялина, ни Нозиков о нём даже не вспоминают.

А любопытный был человек! Весёлый, остроумный. Грамотный. А это редкость среди тогдашних матросов... Правда, и грехи у него были, мог загулять на берегу... В общем, характер... Кстати, мой однофамилец. Я в детстве вообразил даже, что это мой предок...

Толик живо вскинул на Курганова глаза:

- А может, правда?
- Едва ли... Но с него начался мой интерес к этому плаванью.
- А где вы про него прочитали? Про Курганова.
- У самого Крузенштерна, в его книге про путешествие. Очень старая книга, напечатана сто сорок лет назад. Три тома... Я выменял их у своего товарища на пять романов Майн Рида... Вот тогда и прочитал про матроса Курганова... Кстати, непонятно, как его звали. В списке экипажа у Курганова имя Иван и звание квартирмейстер, то есть унтерофицер...
- Вроде нынешнего старшины?
- Вроде... А в книге Крузенштерн пишет «матрос Павел Курганов»... Думаю, он ошибся. Список — вещь точная, документ...
- Я сразу понял, что вы про них всё изучаете. Ещё когда мама сказала про инструкции... Вы учёный, да?

Курганов засмеялся. Он странно смеялся. Вперемешку с мелким кашлем. Лицо измялось, рот искривился: один угол поднялся в широкой улыбке, а второй оказался опущенным. Толику это показалось неприятным — будто Курганов насмехается над собой и над ним. Но тут же он понял, в чём дело: правый угол рта у Курганова соединялся с коротеньким коричневым шрамом, косо идущим вниз. Толик моментально вспомнил одну книжку, её пересказывала ему мама — «Человек, который смеётся». Там бродячие циркачи украли мальчишку, сделали ему операцию на лице, и он всю жизнь ходил с уродливой улыбкой. А здесь — наоборот: изза шрама казалось, что правый край у рта уныло опущен.

А смеялся Курганов подобию, без насмешки. Голубые глазки его стали весёлыми и симпатичными.

- Тебя как зовутто? — Незаметно для себя и для Толика он перешёл на «ты».
 - Толик... А почему вы смеётесь?
 - Извини... Просто меня первый раз в жизни приняли за учёного. За кого меня только не принимали! За кладбищенского сторожа, за ревизора, за клоуна... Даже за шпиона. А за учёного
 - ты первый... Нет, брат, до учёного мне как до Луны. У меня и образованиято — одна гимназия, да и то ускоренный выпуск. На войну торопился...
 - На войну? — переспросил Толик, пытаясь сообразить: какие же это были годы?
 - Да. Пошёл вольноопределяющимся, потом в прапорщики произвели...
 - Как... в прапорщики? — сказал Толик изумлённо и опасно. Потому что у красных никаких прапорщиков не было.
- Курганов опять улыбнулся:
- Это не Гражданская война, а с Германией, в четырнад цатом году... Мальчишки мы тогда были. Полегло нашего брата прапорщиков, бывших гимназеров и студентов... На подвиги рвались очертя голову... А меня в пятнадцатом году так трахнуло, что очнулся только через месяц в лазарете. И сказали, что воевать больше не гоюсь... Ну, вот и чайник закипел. Садись к столу, погреемся. Ты вон в какую даль топал по морозу.

Чай пили с колотым сахаром и твёрдыми до деревянности пряниками. Толик — из стакана с подстаканником, Курганов — из фаянсовой кружки с отбитой ручкой. Было тихо, даже слишком тихо, и в этой тишине слышался отчётливый медный стук часового механизма. Толик поискал часы глазами и не увидел. Потом опять глянул на Курганова, встретился с ним взглядом и смутился. Молчать было неловко. Толик спросил, презираясь сквозь смущенье, как через колючки:

- Арсений Викторович, а почему вы тогда решили, что он ваш дедушка... ну или прадедушка... Этот матрос. Только изза фамилии?

— Конечно! — Курганов, видимо, обрадовался разговору. — И потому ещё, что мне очень этого хотелось... Но оказалось, что никаких моряков у нас в роду не было. Или сухопутные военные, или инженеры, математики... Кстати, если уж искать предков, то разумнее было бы считать таковым другого Курганова. Знаменитого профессора Морского шляхетного корпуса, у которого учился Крузенштерн... Но и это, конечно, пустое. Мой отец сказал однажды: «Не выдумывай. Мало ли Кургановых на Руси...» Сам он был инженером на литейном заводе, а из меня почемуто решил сделать адвоката, отдал в гимназию, а не в реальное училище... Увы, не вышел из меня адвокат.

«А кто вышел?» — чуть не спросил Толик, но не решился.

Однако Курганов понял.

— После ранения поступил в университет, бросил... Время было такое, не до учёбы. В девятнадцатом взяли в Красную Армию, но воевать не послали,дохлый я был. Направили в военную типографию... А потом так и стал работать в типографиях. Можно сказать, специалистом сделался, хотя и без диплома.

— Значит, сейчас вы тоже в типографии работаете? — обрадовался Толик. — В газете, где мама?

— Сейчас вот как раз нет... Конторский служащий я, в райпотребсоюзе... Вообщето мне приходилось не только типографскими делами заниматься. Всякими. И бывать пришлось в разных местах...

«А на фронте?» — чуть не спросил Толик. Он имел в виду последнюю войну, с фашистами. В его понимании все настоящие мужчины должны были участвовать в этой войне.

И опять Курганов понял его без вопроса.

— Перед войной я в Ленинграде жил. Когда финская началась, меня опять призвали. Вернулся уже с лейтенантскими кубиками. А больше воевать не пришлось...

— Признали негодным? — понимающе сказал Толик.

Курганов чуть усмехнулся:

— Признали... Послали работать на Север.

— С экспедицией, да?

- Можно сказать, что с экспедицией... А Ивана Курганова я всё таки считаю немного родственником. Потому что как увидел в старой книге эту фамилию, так и увлёкся. Правда, про него самого я узнал немного, но плаванием этим всю жизнь интересуюсь. Пытаюсь кое в чём разобраться. Так, для себя...
- А разве там есть чтото неизученное? Ведь они не так уж давно плавали. Ну, не в древности же...
- Как тебе сказать... Особых тайн нет, и написано про это путешествие много. Но неясностей хватает... В характерах неясностей, в человеческих отношениях. Разные там были люди и разные события. Вот про это бы написать...
Толик поставил стакан. От неожиданной догадки он забыл про смущение. Спросил звонко:
 - Значит, вы книгу пишете, да?Курганов хлебнул, закашлялся, тоже поставил кружку. Коротко засмеялся, оборвал смех и сказал:
 - Ну, что скрывать, раз ты догадался...

Шторм в Скагерраке

Толик смотрел на Курганова, приоткрыв рот. Первый раз в жизни он видел писателя. Ну, пускай не знаменитого, но всё равно писателя. Человека, который сам пишет книгу. Потом он тряхнул головой, рот захлопнул и уткнулся в стакан. Глянул исподлюбья и сказал с почтением и сочувствием:

- Это, наверно, ужасно трудно.
- Ужасно трудно, — очень серьёзно, даже печально согласился Курганов. — Сколько раз уже хотел всё изодрать в клочки.
- Зачем? Не надо! — испугался Толик.
- Порой кажется, что всё так отвратительно написано. Беспомощно... И посоветоваться не с кем. За три года ты первый человек, с кем я про Крузенштерна заговорил. Я и разболтался то потому, что... как бы сказать... почувал общий интерес.

- Я люблю про море и про путешествия, — тихо сказал Толик.
- Вот и я люблю. И про путешествия, и про моряков... Удивительные они люди. Сам я тоже в детстве о морской службе мечтал, да не вышло.
- Толик подумал.
- Арсений Викторович, знаете что? Если человек про моряков книжку пишет, он ведь и сам тоже как моряк.
- Голубые глазки Курганова снова добродушно засветились.
- Да? Может быть... Но это, наверно, если хорошо пишет.
- А вы... много уже написали?
- Ну... повесть эта довольно большая получается. Но я её уже почти кончаю. Сейчас коечто переделываю, дополняю... Я ведь, Толик, давно с ней вожусь. И когда на Дальнем Востоке был, и там, под Выборгом. И в... на Севере когда работал... Тебе налить ещё?
- Ага... то есть пожалуйста.
- Только вот пряники очень уж каменные.
- Ничего, я такие даже больше люблю. У меня зубы крепкие.
- А я свои почти все угробил за последние годы... — усмехнулся Курганов. И вдруг сказал другим голосом: — Толик...
- Толик вопросительно вскинул глаза.
- Курганов смотрел изза кружки нерешительно и виновато.
- А если я попрошу тебя об одной услуге... А?
- Ладно... — неуверенно отозвался Толик. — О какой?
- Может быть, послушаешь у меня несколько страниц? Раз уж так получилось... Раз уж мы встретились так удачно. А?
- Конечно! — обрадовался Толик. По правде говоря, он этого немного ждал. Вернее, не ждал, а думал: «Вот хорошо бы...»
- Будет ещё одно новогоднее чудо! Он сидит у старинного камина (пускай и не горящего), а писатель читает ему свою книгу. Да ещё о Крузенштерне! Час назад про такое Толик и мечтать не мог. Нет, в самом деле, последнее время полно сюрпризов...

Курганов сбивчиво объяснил:

— Ты не удивляйся, что я тебе... Я никому в жизни ещё не читал, а ты... Тебя будто сама судьба послала... — Он нервно усмехнулся.

Толик хотел пошутить, что послала не судьба, а мама, но постеснялся и сказал:

— Ладно. Только...

— Что? Дома ждут? — огорчённо спросил Курганов.

— Нет, мама ещё, наверно, на работе. Султан ждёт на дворе, я на нём приехал.

— Ездовой пёс?! — обрадовался Курганов. — Давай его сюда.

...Султан был воспитанной собакой. Войдя в комнату, он шевельнул хвостом, будто сказал «здрате». Курганов сел перед ним на корточки.

— Ух, какие мы красавцы... Прекрасное сочетание, помесь овчарки и лайки. И ещё коечего понемножку, для гарнира. Медали за чистоту кровей нам не дадут, ну и не надо, зато мы сильные и умные... — Он бесстрашно взял голову Султана в большие свои ладони, потрепал по ушам, погладил загривок. А Султан... Толика даже ревность кольнула: стоит, бродяга, и хвостом машет, будто перед ним старый друг.

Курганов оглянулся на Толика.

— Мне с собаками много пришлось дела иметь, не удивляйся.

Они своего сразу чувт... Откуда у тебя такой хороший?

— Сам нашёлся, два года назад. Он совсем щенок был, худой, и лапа в крови. На нашу улицу прибежал, а я его домой привёл. Мама сперва говорит: «Вот ещё! Самим нечего есть, вот выставлю обоих из дома...» Потом лапу ему забинтовала...

— Умница, — опять сказал Курганов Султану, ещё раз погладил его и распрямился — голова под потолок. Робко спросил: — Ну, что, Толик, начнём?

Толик заволновался и кивнул. Сел у холодного и чистого внутри камина. Султан прилёг рядом. Курганов достал с полки жёлтую картонную папку.

— А камин у вас действует? — спросил Толик.

- Что?.. Да, конечно. Но тепла от него маловато, я печку топлю. Но можно и камин, возни только много... Разжечь?
- Да нет, я же так просто спросил...
- Оглядываясь на Толика, Курганов сел к столу, раскинул папку. Странно замер над бумагами. Стало опять очень тихо, и снова Толик слышал медный стук часов. Зашарил глазами по комнате. Но в это время Курганов шумно вздохнул и сказал:
- Я сперва самое начало прочту, ладно?
- Толик опять кивнул. Курганов надел очки, нагнулся над листом и глуховато заговорил:
- «Корабельный колокол в громадном обеденном зале, где стоял учебный фрегат, двойным ударом, слышным на трёх этажах, отметил начало первой перемены...»
- Пока Курганов читал, Толик пошевелился всего два раза. Первый — когда осторожно пересел поудобнее: устроился на стуле верхом, щекой лёг на спинку. Второй — когда ногой толкнул Султана: тот, забыв о приличии, стал шумно чесаться. Чтобы не сопеть, дышал Толик, приоткрыв рот. От этого обсыхали губы, он водил по ним языком...
- Ну вот... — сказал Курганов и положил на папку вылезшие из обшлагов ладони. — Ну... как? Не понравилось, да?
- Толик опять облизал губы.
- Понравилось. Только...
- Что? Ты не стесняйся, критикуй! — вскинулся Курганов.
- Да нет, всё хорошо. Только жалко этого... Алабышева.
- Да? — обрадовался Курганов.
- Да, — вздохнул Толик.
- Но это же хорошо, что тебе его жаль! Значит... я както сумел это... передать. Показать...
- Сумели, конечно! А Фогту потом что было? Его правда выгнали из корпуса?
- Разумеется! Но не в нём дело. Он тут не главный герой, про него больше и не упоминается... А какие ещё замечания?
- Никаких! Только... там немного одно место непонятно. Что случилось с лейтенантом Головановым?

— С Головачёвым... Это, брат ты мой, самая печальная история. Я про него много пишу. Я ведь тебе только пролог прочитал, а дальше будет про само путешествие.

— Это хорошо. А то я всё думал: когда про «Надежду» и «Неву» начнётся?

— Будет, будет и про это. Прямо со следующего листа... Можно, я тебе ещё пару страниц прочитаю? Это про шторм, в который корабли попали в самом начале плавания.

— Ага! — Толик опять положил подбородок на спинку стула.

Шторм — это приключение, это интереснее всего.

«Мрак был не чёрный, а мутнозелёный — так, по крайней мере, казалось капитану. Он ревел, этот мрак, выл, свистел картечью морских и дождевых брызг и громоздился всюду исполинскими глыбами воды. Штормовые стаксели почти не давали кораблю скорости. Неуклюже, то носом, то бортом, валился он со склона волны, и казалось, что не будет конца этому падению. Достигнув подножия водяной горы, машина скрипучего парусника силою инерции всё ещё стремилась в глубину, черпала воду фальшбортом, набирала её щелями разошедшейся обшивки, утыкалась бушпритом в накатившийся гребень. В это время упругая сила моря выталкивала корабельный корпус из водяной толщи, новая волна задираала „Надежде“ нос, а очередной нажим бешеного нордвеста уваливал корабль под ветер и кренил до такой степени, что левый конец гротаря вспарывал воду.

Свист воздуха в такелаже — тоскливый и более высокий, чем голос самого шторма, — надрывал душу.

Крузенштерн и второй лейтенант „Надежды“, двадцатитрёхлетний Пётр Головачёв, стояли у наветренного ограждения юта... Хотя едва ли можно сказать „стояли“ о людях, которые мечутся вместе с растерзанным парусником среди стремительно вырастающих водяных холмов, скользят сапогами по мокрой палубе и то цепляются за планшир, то с маху ударяются спиной об упругий штормовой леер. И слепнут от хлётких ключев пены.

Впрочем, какая разница, слепнут или нет. Всё равно мрак...

Нет, какие-то остатки света всё же были заметны в кипящей смеси воды и ветра. То ли пробивался в случайный разрыв облаков луч звезды, то ли сами по себе пенные гребни давали сумрачное свечение. Ревущая темнота была испятнана, исчерчена смутными узорами этой пены.

„Надежда“ опять стремительно пошла вниз, а впереди и справа Крузенштерн угадал громадную волну с двумя пятнами пены у гребня. Они мерцали, как белёдые глаза.

„А и правда — чудовище“, — мелькнула мысль. Раньше Крузенштерн усмехался, когда встречал у романистов сравнения волн с живыми страшилищами. Он бывал во многих штормах и знал, что волны — это волны и ничто другое. Сейчас же сравнение пришло само собой. И Крузенштерн понял, что это — страх.

„Надежда“ снова легла на борт, и пошли секунды ожидания: встанет ли? Со стонами начала „Надежда“ выпрямляться.

„Господи, никогда не было такого...“

Не помнил он подобного шторма, хотя обошёл на разных кораблях полсвета. Ни у берегов Вест-Индии, ни в Бенгальском заливе, где крейсировал с англичанами на их фрегате, ни в китайских водах, известных своими тайфунами, не приводилось встречаться со столь неудержимой силой стихии...

Палуба опять покатила в глубину, шквал ударил в правый борт, оторвал от планшира Головачёва, толкнул к бизань-мачте. Но через несколько секунд лейтенант снова оказался рядом.

„А ведь ему не в пример страшнее, чем мне, — подумал Крузенштерн. — Мальчишка... Хотя какой же мальчишка? Успел уже поплавать, побывать в кампаниях... Да и сам ты в двадцать три года считал ли себя мальчишкой? В скольких сражениях со шведами обстрелян был, в Англию попал на учёбу в числе лучших офицеров... Да, но сейчас иногда вдруг чувствуешь себя ребёнком. При расставании в Кронштадте сдавило горло слезами, как в детские годы, когда увозили из Ревеля в корпус...“

Сорвало кожаный капюшон, Крузенштерн опять натянул его.

„...А Головачёв? Что я про него знаю? Единственный, с кем не был знаком до плавания. Посоветовали, сказали: искусный и храбрый офицер... А и в самом деле, держится молодцом...“

— Пётр Трофимыч, как на руле?! — крикнул Крузенштерн и подавился дождём.

У штурвала были различимы фигуры в штормовых накидках.

— На руле! Дёржитесь там?! — перекричал шторм лейтенант.

— Так точ... вашблародь! Держ... — долетело до него.

— Кто рулевые?! — отворачиваясь от ветра, крикнул Крузенштерн.

— Иван Курганов и... Григорьев... вашсокблародь...

— Круче к ветру держите, ребята! Всё время круче к ветру!

— Так точ... Держим, ваш... родь...

— Крепко привязаны?!

— Так точ...

Опять чудовищный этот крен со стоном рангоута и мучительным скрипом обшивки. Встанем ли? „Ну, вставай, „Надежда“, вставай, голубушка... Да выпрямляйся же, чёрт тебя разнеси!“

Это надо же, как взбесились волны! И не гденибудь в открытом океане, а в проливе, в Скагерраке, хоженном туда сюда не единожды... В томто и беда, что в проливе. Кто знает, где теперь берег? Стоит задеть камни — и пиши пропало. До чего же обидно — в самом начале плавания...

— Круче к ветру!

Да что могут сделать рулевые, когда хода у корабля нет, а вся ярость шторма лишь на то и нацелена, чтобы поставить „Надежду“ бортом к ветру, к волне...

Какаято фигура, цепляясь за леера, взобралась на ют.

— Кто?! — гаркнул Крузенштерн.

— Это граф Толстой! — отозвался Головачёв.

Подпоручик гвардии Фёдор Толстой оказался рядом.

- Что вам здесь надо?! — Крузенштерну было не до любезностей.
- Наблюдаю разгул стихий, — отплёвываясь, изъяснился подпоручик. — Любопытствую и удивляюсь себе, ибо ощутил в душе чувство, доселе неведомое. А именно — боязнь гибели. До сей поры был уверен, что в части страха обделён природою...
„Правда ли боится? — подумал Крузенштерн. — Или валяет дурака, а настоящей опасности не понимает?“
- Идите философствовать в каюту, граф! Здесь не место!
- Отчего же, капитан?!
- Оттого, что смочет в... — Крузенштерн не сдержал досады и назвал место, куда смочет бестолкового сухопутного подпоручика. Тот захохотал, кашляя от дождя и ветра. Неожиданно засмеялся и Головачёв. И тут опять бортом поехали в тартарары, а сверху рухнул многопудовый пенный гребень.
Когда „Надежда“ очередной раз выпрямилась и вскарабкалась на волну, Толстой выкрикнул:
- Кому суждено погибнуть от пули, тот не потонет!
- А вы знаете точно, что вам уготована такая судьба? — сквозь штормовой рёв спросил Головачёв.
- На войне ли, от противника ли у барьера, но знаю точно — от пули помру! На крайний случай — сам из пистолета в лоб! Не в постели же кончать дни свои офицеру гвардии!
- Завидна столь твёрдая определённость! — цепляясь за планшир, насмешливо крикнул Головачёв.
- Кто же мешает и вам...
- На руле! Два шлага влево, чтобы ход взять! А как волна встанет, снова круто к ветру! — скомандовал Крузенштерн. — Так!.. Всё, братцы, на ветер! Прямо руль!
- Разве же эта посудина слушает ещё руля? — искренне удивился Толстой.
- Сие не посудина, а корабль Российского флота! — неожиданно взъярился Головачёв. — И правда, шли бы в каюту, граф! А то и пуля не понадобится!

— А в каюте что? Та же вода! Хлещет во все щели!

„Коли выберемся благополучно и дойдём до Англии, сколько дней лишних потратим на новую конопатку“, — подумал Крузенштерн. И впервые выругал в душе милого Юрочку Лисянского за то, что не сумел он за границей купить корабли поновее.

Кстати, где он сейчас, Лисянский? „Нева“ исчезла за дождём и волнами при первых же шквалах, и теперь лишь гадать можно о её судьбе... Ну, да если мы пока держимся, Бог даст, и она выстоит. Не случилось бы только самого худого: вдруг вырастет над волною силуэт корабля, кинется навстречу...

Экие мысли в голову лезут! Лисянский не новичок, не повернёт судно по ветру. А всётаки...

— На руле! Смотреть вперёд сколько можно!..

— Есть, ваш... родь! Сколько можно, смотрим!..

Это Курганов. Отличный матрос, хотя, по мнению некоторых, языкаст не в меру. Вот и сейчас проскочила насмешка: посмотрим, мол, приказ выполняем, да только чего тут рассмотретьшьто?

Ну и ладно. Ежели есть в человеке ещё сила для насмешек, значит, держится человек...

Толстой крикнул опять:

— Здесь хотя бы на воле, а в каюте совсем тошно! Страхи спутников моих и стенания, кои слышатся там, усугубляют душевное расстройство!..

— Помоему, для борьбы с душевным расстройством вы излишне долго беседовали с бутылкою, — догадался Крузенштерн. — Только, ради Бога, без обид, граф! Драться с вами на дуэли я всё равно не имею возможности!

...Сумрак стал жиже, появились первые признаки пасмурного рассвета. На ют поднялись Ратманов и Ромберг.

— Иван Фёдорович, обшивка местами расходится, в трюме может случиться течь, — сказал Ратманов.

— Всё может быть, если скоро ветер не ослабнет.

— Идите отдохните, Иван Фёдорович. И вы, Пётр Трофимович. Мы заступаем.

Крузенштерн спустился в каюту. Под бимсом — выгнутой потолочной балкой — мотался масляный фонарь. Воды было по щиколотку, она ходила от стенки к стенке. Фонарь раскидывал по ней жёлтые зигзаги. Плавала разбухшая книга.

Постель промокла. Крузенштерн повалился на койку, не снимая плаща. Качка сразу сделалась мягче, взяла его в большие тёмные ладони, вой ветра и плеск за бортами приутихли... И казалось, прошла минута, но, когда вестовой растолкал капитана, за стёклами свистело уже серое утро.

— Ваше высокоблагородие, их благородие Макар Иваныч просят вас наверх.

Качало так же. Свет давал теперь возможность видеть взбесившееся море. Дождя почти не стало, и, когда корабль подымало на гребень, был виден взлохмаченный горизонт.

— Иван Фёдорович! — крикнул Ратманов. — Не убрать ли стакселя? Они не столько дают нам движение вперёд, сколько способствуют дрейфу! Слева вотвот покажется берег.

— Подождём ещё, Макар Иванович! Без стакселей мы совсем будем неуправляемы!

Но в четыре часа пополудни, когда слева открылся берег Ютландии, Крузенштерн приказал убрать штормовые стакселя и намертво закрепить руль. Шторм перестал двигать корабль к опасной суше, но зато „Надежда“ совсем потеряла способность к манёвру. К счастью, буря стала стихать.

К ночи ветер стал ровнее. Но дул он попрежнему между вестом и вестнордвестом и не давал выйти из Скагеррака, хотя снова поставили стакселя, а также бизань и формарсель.

Лишь через сутки неустанной лавировки моряки увидели Дернеус — южный мыс Норвегии. К вечеру ветер стал тише, и тогда через северную половину потемневшего неба перекинулась дуга полярного сияния. Под нею, словно опоры великанского моста, поднялись облачные тёмные столбы.

Корабль всё ещё кидало на неуспокоенной после шторма зыби. Матросы заворожённо и со страхом смотрели на светлую арку небесного моста. Вздыхали:

— Не к добру...

Не терявший весёлости Иван Курганов пробовал пошутить:

— Этим мостиком, братцы, прямёхонько в царствие небесное...

Шутку на сей раз приняли без одобрения.

Офицеры и учёные тоже считали, что необычное явление может быть предвестником нового шторма. Но, к счастью, дурные предположения не оправдались. Двадцатого сентября дул сильный, но попутный ветер, затем, когда вышли на Доггер банку, наступил короткий штиль. Матросы приводили корабль в порядок. Несколько человек, зная рыбную славу здешнего места, закинули сеть, но без успеха. Крузенштерн с учёными испытывал новый прибор — Гельсову машину — для определения разницы температуры воды на поверхности и в глубине.

Пассажиры приходили в себя. Появился наконец за обеденным столом бледный и молчаливый Резанов. Он смотрел с укором, словно в недавнем шторме виноват был капитан

„Надежды“.

Несколько раз Крузенштерн с тревогой и досадой навещал в гардемаринской каюте кадета морского корпуса Бистрема, своего племянника. Измученный непрерывной морской болезнью, племянник не помышлял уже ни о плавании, ни о флотской службе вообще. К счастью, повстречался английский фрегат „Виргиния“. Командиром его оказался капитан Бересдорф, знакомый Крузенштерну по службе в английском флоте. Он взялся доставить кадета Бистрема в Лондон, чтобы тот мог вернуться в Россию. Отправились в Лондон на

„Виргинии“ также астроном Горнер, чтобы купить недостающие инструменты, и его превосходительство камергер Резанов с майором Фридрицием — для обозрения английской столицы. Вернуться на борт „Надежды“ обещали в Фальмуте, где корабль должен был чиниться после шторма.

27 сентября „Надежда“ благополучно пришла в Фальмут, где и встретилась с „Невою“.

Погода сделалась хорошая, но люди ещё жили воспоминаниями шторма. Коекто из пассажиров говорил между собою:

— Если такое было у берегов Европы, что нас ждёт в океане?

Фальмут был последним портом перед выходом в открытый океан. Все писали письма, чтобы с попутными кораблями отправить домой. Учёные делали записи в журналах наблюдений.

Писал свой „Журнал путешествия россиян вокруг света“ и главный комиссионер РоссийскоАмериканской компании, верный помощник Резанова купец Фёдор Шемелин.

Шемелина определили на жительство в констапельскую — глубокую кормовую каюту, где хранилось артиллерийское имущество. Свет сюда не проникал, днём и ночью приходилось жечь свечу в фонаре, да и та горела слабо в спёртом воздухе.

При жёлтом дрожании огня Шемелин описывал шторм. Сообщал будущим читателям, что люди, оказавшись в той буре, вели себя поразному: одни проявили неустрашимость, другие — малодушие. „Последних боязнь, — писал Фёдор Иванович, — простиралась до того, что с каждым наклоном судна набок представлялось им, что они погружаются уже на дно морское. Каждый удар волны об корабль считали они последним разрушением оного и прощались со светом. Те, которые являли себя храбрее на берегу, показали себя на море всех трусливее и малодушнее“.

О ком именно идёт речь, в „Журнале“, напечатанном в 1816 году, не сказано. И мы не станем строить догадок, дело прошлое. Но стоит запомнить мысль Шемелина, что настоящая смелость проявляется именно в суровые часы, а пустая важность и надутая храбрость при виде опасности слетают с человека шелухою.

Впрочем, ни один офицер, ни один матрос робости во время шторма не проявили, каждый службу свою нёс честно и умело...»

Курганов закрыл папку и опять глянул на Толика: вопросительно и виновато.

- Здорово, — сказал Толик. — Даже страшно, когда про крен: встанет ли?.. Вот интересно: знаешь, что ничего с ними не случится, а всё равно страшно. Будто сам на палубе... — Толик пошевелил плечами. — Будто даже брызги за шиворот...
- Да? — Курганов стремительно встал, шагнул к Толику, взял его большими ладонями за плечи (Султан стрелками поставил уши и напряжился). — Ох, спасибо тебе... Прямо бальзам на мою грешную душу.

Толик глянул в высоту — в счастливое (и даже немного красивое) лицо Курганова.

- Арсений Викторович, а какая это будет книга? Детская или взрослая?
- Что?.. — Курганов опустил руки. — Я както не задумывался. Хочется, чтобы всем интересно было.
- Так, наверно, и будет, — успокоил Толик.

Опять наступило молчание. И, услышав снова медный стук шестерёнок, Толик спохватился:

— Ой, а который час?

Курганов поднял на животе обвисший свитер, вытянул из кармашка у пояса большие часы на цепочке.

- Почти девять...
- Мама, наверно, скоро придёт домой...
- Бессовестный я человек, задержал тебя.
- Да всё в порядке, мы за пять минут домчимся!.. Ой... — Толик засопел и неловко затоптался. — Арсений Викторович, мама просила... если вы, конечно, можете... Может, у вас есть сегодня деньги за перепечатку?

Курганов хлопнул себя по лысому лбу.

- Ну, растяпа я! Ну, субъект! Сейчас, сейчас. Конечно... Из кармана галифе он извлёк потрёпанный бумажник.
- Вот, пожалуйста... Ах ты, неприятность какая, десяти рублей не хватает. Как неудобно...

Он сделался виноватый, ну прямо как первоклассник перед завучем. Толик решительно сказал:

- Арсений Викторович, если у вас последние, то не надо.
- Ну что ты, что ты! Я завтра утром получу! И сразу эти десять рублей занесу. Я знаю, где вы живёте, однажды заходил. Ты извинись за меня перед Людмилой Трофимовной...
- Да пустяки, — сказал Толик.
- Нетнет, я завтра же... А эти деньги спрячь, не вытряхни по дороге.
- Не вытряхну. — Толик расстегнул курточку. Это была тесная, ещё со второго класса, курточка с потайным карманом — его пришила мама для денег и хлебных карточек, когда Толику приходилось стоять в очередях.

У горящего камина

Толик проснулся так поздно, что на замороженных окнах уже сияли солнечные искры. Потрескивала печка. Стучала машинка: значит, мама в редакцию не пошла, работает дома.

Не оглядываясь, мама сказала:

- Не вздумай читать в постели. Брысь одеваться.
- Есть, товарищ капитан! — Толик кувыркнулся изпод одеяла на половик и сел потурецки, любуясь ёлкой...

В эту минуту краснощёкая тётка в полушубке принесла телеграмму. И хорошее утро испортилось. Варя сообщала, что приедет лишь первого числа, потому что перед самым Новым годом у неё зачёт. И, конечно, что она «поздравляет и целует».

- Целует она, — сумрачно сказал Толик. — Лучше бы зачёты сдавала пораньше...

У мамы тоже упало настроение. Она добавила, что дело, скорее всего, не в зачёте. Просто распрекрасной Варваре хочется встретить Новый год в компании однокурсников.

- Конечно, — поддержал Толик. — Там у неё кавалеры со всех сторон. Выбирай какого хочешь жениха.
- Анатолий...
- А чего? Вот подожди, сама увидишь...

Мама взяла себя в руки и сообщила Толику, что он говорит глупости. У Вари действительно важный зачёт, это надо понимать. Завтра она приедет, и всё будет хорошо и весело. А сегодня, что поделаешь, посидят в новогоднюю ночь вдвоём. Немножко поскучать — это тоже полезно.

Толик осторожно спросил:

- А может быть, Дмитрий Иванович всётаки придёт?
- Что ему у нас делать? Я же говорила: он встречает Новый год со знакомыми на работе. У них большая компания. Толику стало обидно за маму.
- Между прочим, мог бы и тебя пригласить.
- Между прочим, он приглашал...
- Ну и... что? — упавшим голосом спросил Толик. Мама хлопнула его по носу свёрнутой телеграммой.
- Дурень. Куда же я из дома? Тем более мы думали, что Варя приедет.
- Но теперьто знаешь, что не приедет, — пробормотал Толик. Он ужасно не хотел, чтобы мама уходила, но совесть требовала поступать так, чтобы маме было лучше.
- А тебято я куда дену?
- Я что, грудной? Посижу у ёлки, книжку читаю. По радио концерт будет интересный... К Эльзе Георгиевне схожу...
- Очень ты там нужен...
- А потом спать лягу, — сдерживая скорбь, сказал Толик.
- Нет уж, мне там всё равно праздника не будет, я изведусь: как ты один? Небось ещё ёлку запалишь...

Толик прикинул: достаточно ли он поугovarивал маму? Совесть подсказывала, что надо бы продолжить разговор, а здравый смысл предупреждал: так можно и палку перегнуть — мама, чего доброго, возьмёт да и поддастся уговорам.

Она посмотрела на Толика и засмеялась:

- Твои терзания у тебя на физиономии напечатаны крупными буквами. Не бойся, никуда я не пойду...

Толик засопел от стыда и облегчения и хотел пробурчать что-нибудь возмущённооправдательное. И в этот момент, к счастью, пришёл Курганов.

Мама встретила его в коридоре и привела в комнату. Сейчас Курганов показался Толику ещё более высоким и худым, чем вчера. Он был в старом, очень длинном демисезонном пальто, изпод которого торчали растоптанные валенки. меховая шапка тоже была старая, потёртая до лысой кожи. Шею обматывал в несколько витков красный порванный шарф.

Покашливая, Арсений Викторович объяснил, что вот такая вчера получилась досада и он очень просит извинить, что не смог расплатиться сразу. А сейчас вот, пожалуйста...

Мама сказала, что не стоило волноваться изза пустяка. Но всё равно она рада, что Арсений Викторович зашёл. Пусть он раздевается, сейчас они будут пить чай... Ох, только, пожалуйста, никаких отговорок. Раз уж пришли, будьте добры подчиняться хозяйке. Пусть Толик отнесёт на вешалку пальто Арсения Викторовича...

Когда Толик вернулся в комнату, Арсений Викторович сидел у стола и трепал по ушам Султана. Мама весело звякала чашками и блюдами.

Курганов неловко повозился на стуле, поводил голубыми своими глазками по ёлке — от пола до макушки — и сказал стеснительно:

- Да, ёлка у вас... Хоть во дворец такую...
 - Толик постарался. Как он, бедный, её только дотащил...
 - Очень просто дотащил, — бодро сказал Толик.
- Курганов на секунду прикрыл глаза, улыбнулся уголком рта.
- Запах. Детство вспоминается. Всегда, если ёлкой пахнет, детство вспоминается.
 - Это, наверно, хорошо... — заметила мама.
 - Это хорошо, — серьёзно отозвался Курганов. — Без этого нельзя. — Он опять нагнулся и стал гладить Султана.
 - А у вас будет ёлка? — спросил Толик. Мама взглянула на него укоризненно. Однако Курганов не удивился вопросу.
 - Где уж мне с ёлкой возиться. У меня и украшений нет... Правда, две веточки поставил в графин, для запаха. Чтобы повеселее было, когда Новый год наступит... Да ещё камин,

пожалуй, затоплю для настроения. Толик вчера видел, какой у меня камин. Памятник эпохи...

— Как в сказке, — сказал Толик.

— Вы что же, в одиночестве Новый год встречаете? — с вежливым сочувствием спросила мама.

— А мне не привыкать... Думал было съездить к дочери в Ленинград, да отпуск не дают. Она ко мне тоже не может, обстоятельства всякие...

— Я и не знала, что у вас дочь...

— Да. Взрослая... Жена умерла в эвакуации, а дочь вернулась в Ленинград, замужем теперь.

«А вы почему не в Ленинграде живёте?» — чуть не соскочило с языка у Толика, но мама вовремя посмотрела на него. Да он и сам сообразил: мало ли какие бывают причины, нечего соваться. Но уже вырвались слова: «А вы...» И, чтобы както закончить фразу, Толик бухнул:

— А вы... приходите к нам Новый год встречать.

Толик тут же испуганно взглянул на маму. Она, кажется, растерялась, но почти сразу сказала:

— А в самом деле... Арсений Викторович, это мысль! Мы с Толиком вдвоём остались, тоже скучать собираемся. Дочь не приехала, застряла в институте... Посидим, свечки зажжём на ёлке, будет очень уютно...

Курганов помолчал и ответил, не поднимая головы:

— Спасибо вам громадное... Только, знаете, я уж лучше дома. Неподходящий я для праздничных компаний человек, привык всё больше сам с собой.

— Ну как же так! — Мама, кажется, искренне огорчилась. — В праздник можно посидеть и... как говорится, в кругу.

— Можно, конечно... — Курганов опять повозился на скрипнувшем стуле, осторожно придвинул к себе блюдце с чашкой. — Можно... Да только кругу от такого гостя, как я, всегда одно уныние. Знаете, Людмила Трофимовна, за всю жизнь не научился поддерживать застольные беседы. Очень бывает неудобно... — Он полушутливо развёл большими

ладонями, зацепил на краю стола сахарницу, сконфузился и заболтал в чае ложечкой.

— Жаль, — вздохнула мама. — Жаль, что вы не поддаётесь уговорам.

Толик чувствовал себя виноватым за весь этот нескладный разговор. Чтобы загладить перед мамой оплошность, он сказал:

— Я маму уговаривал идти встречать Новый год со знакомыми, а она боится меня оставить. Будто мне три года.

— Да не боюсь я, — серьёзно возразила мама. — Просто нехорошо это: собственного сына бросать в праздник...

Курганов задержал у губ чашку, глянул на маму, на Толика. Прихлебнул. Потом торопливо допил чай и заговорил, неловко усмехаясь:

— Вы уж не обижайтесь, Людмила Трофимовна, человек я для застольных бесед в самом деле неприспособленный. А вот с Толиком вчера разговорились. Общая тема нашлась...

— Мы о Крузенштерне... — ввернул Толик.

— Да, это у меня давнее... Я вот подумал... Чтобы никто не скучал в праздник... Вы только не сочтите моё предложение за странность. Если, конечно, Толик согласится... Вы бы пошли в гости, а Толик ко мне. Чтобы вы не волновались, а Толик один не грустил. Мы бы с ним продолжили вчерашнюю беседу...

— Ой... ура, — шёпотом сказал Толик.

Удивительно, что мама согласилась. Причём гораздо скорее, чем ожидал Толик. Много времени спустя, когда Толик вспоминал эти дни, он сообразил, что маме очень надо было в ту ночь оказаться там, в гостях. Где Дмитрий Иванович. Что-то складывалось (или, наоборот, не складывалось) у неё в отношениях с этим человеком. Но в то утро Толик подумал об этом лишь мельком и без тревоги. Для беспокойства не было причин: Дмитрий Иванович такой хороший человек...

И Арсений Викторович хороший: как он всё придумал!

Конечно, мама сначала сказала, что это неудобно. Чего ради Арсений Викторович должен брать на себя такие заботы?

А он, смущённо кашляя, возразил, что забот никаких. И что он зовёт Толика «главным образом из чисто корыстных соображений». Толик такой внимательный слушатель, а ему, Арсению Викторовичу, очень хочется почитать коечто из своей рукописи. Так что это, наоборот, Людмила Трофимовна и Толик сделают ему одолжение... И пусть Людмила Трофимовна не волнуется, у него прекрасная кровать, Толику на ней будет удобно. А сам Арсений Викторович уляжется на стульях, ему не привыкать.

— Ну уж это ни в коем случае, — сказала мама. — На стульях прекрасно устроится Толик.

Толик и подумать не мог, что подкатят эти слезы...

Сначала всё было замечательно.

Комната Курганова оказалась прибрана, в ней пахло ёлкой. Ветки в графине были не просто ветки, а густые лапы, и на них даже блестели три зеркальных шарика. У камина лежали берёзовые дрова. Арсений Викторович обрадовался Толику, помог раздеться, удивился и смутился, что мама дала ему с собой большой кулёк замороженных пельменей, и пошёл ставить для них на плитке воду (когда-то закипит!).

Султан похозяйски растянулся на шкуре.

Толик сел у стола с еловыми ветками.

Наступила какаято непонятная минута. Опять стучали невидимые часы. У Курганова «не контакила» плитка, и он смущённо чертыхался вполголоса. Свежие хвойные лапы пахли очень сильно, и Толик вспомнил свою ёлку. И подумалось: «А почему всё так?» Он здесь, в чужом, почти незнакомом доме, а ёлка, с которой он столько мучился и радовался, стоит, никому не нужная, в пустой тёмной комнате... А мама... она гдето с другими людьми... Нелепость какаято! Почему они с мамой в этот праздник не дома?

Конечно, сам хотел. Обрадовался, когда Арсений Викторович предложил. Ждал с нетерпением вечера. Весело попрощался с мамой, бодро примчался на лыжах сюда... И вот...

Хорошо, что хоть Султашка рядом.

Толик присел возле Султана на корточки, начал гладить его, крупным глотком загнал внутрь слёзы.

— Всё! — сказал Курганов. — Включилась, окаянная... Толик...

Ответить бы чтонибудь, но в горле будто пробка деревянная.

Курганов подошёл, постоял над Толиком. Опустился рядом.

- Взгрустнулось, что ли? — тихо спросил он. — Это бывает, не стесняйся... Я помню, было мне тоже лет одиннадцать, и на рождественские каникулы приехал я на дачу к товарищу. Под Лугу... Все ёлку наряжают, радуются, а мне вдруг дом вспомнился... Убежал я на кухню, спрятался в углу... А ты не грусти, Толик, ночью проскочит незаметно. Завтра прибежишь домой, всё будет в порядке... А?

Стыд — хороший тормоз для слёз. У Толика затеплели уши, а пробка в горле почти растворилась. Он опять глотнул.

Курганов положил ему руку на плечо.

- Это ведь само по себе праздник, что дом твой рядом и что завтра ты в нём обязательно окажешься. И ёлка там, и родные люди... Мне приходилось Новый год встречать, когда до дома тыщи вёрст и неизвестно, когда попадёшь в него. И люди кругом... такие, что лучше бы никого. Вот это тоска... Крузенштерн тогда только и спасал.

Толик посопел и спросил сипловато:

- Вы сегодня про него почитаете?
- Договорились же! Про него и про других... А сперва кое о чём расскажу, чтобы тебе всё понятно было...
- А камин разожжём?
- В первую очередь!

Камин разгорелся быстро. Дрова застреляли, пламя рванулось к дымоходу, высветило чугунное нутро.

— Ну вот, а теперь сядем, — сказал Курганов.

Толик поставил стул боком к огню, сел верхом, как в прошлый раз. Султан примостился у ног.

— А я так, на дровишках. Мне это привычнее... — Арсений Викторович устроился на поленьях напротив Толика, по мальчишечьи обнял колени. Помолчал. Свет падал на его лицо сбоку, яркие зайчики дрожали на залысинах. Глаза в тени глубоких впадин казались теперь большими и почти чёрными.

Толик с вежливым нетерпением качнул ногой. Курганов потёр большим пальцем рубчик на уголке рта и попросил:

— Если я очень разговариваю, ты меня останавливай. А то я могу на эту тему до бесконечности... Значит, о Российско-Американской компании ты уже читал?

— Ага... В той книжке. Но там немного.

— Много и не надо, главное, чтобы ясно было, с чего началось... Основал эту компанию Григорий Иванович Шелехов с товарищами, давно ещё, в восемьдесят первом году позапрошлого века. Человек он был энергичный, умный. И мореплаватель, и торговец, и промысловик. Добывали русские люди пушнину на побережье Аляски, на Алеутских островах, а главным образом на большом острове Кадьяке. Там и главное поселение было. Возили добычу через океан, в Петропавловск на Камчатке, а оттуда в Китай, на продажу.

Трудное это было дело, опытных моряков не хватало, суда тамошней постройки были неважные, гибло их немало... Да и вообще промышленным людям жилось там не сладко. Все товары и продукты, всякую мелочь приходилось через всю глухую Сибирь везти на лошадях до Охотска, а оттуда уж морем на Камчатку и в Американские поселения.

Толик кивнул. Всё это он уже знал.

— А Крузенштерн решил доказать, что на кораблях прямо из России, через океаны, легче, да?

— Именно... Он ведь был к тому времени опытный мореплаватель, хотя исполнилось ему едва тридцать лет. Успел он отличиться во многих сражениях, потом служил у англичан: был, понашему выражаясь, на длительной практике за границей... Там тоже пришлось повоевать, с французами. Побывал он в Америке, в Африке, в Индии, а потом добрался до

Китая. Всё ему было интересно: как люди живут в дальних странах, какие у других народов корабли и моряки, как торговля идёт. И всё время он думал: почему же русские суда в большие плавания не ходят? Разве наши матросы и капитаны хуже других? И почему в России должны люди втридорога платить за товары, которые привозят иностранцы? Разве не можем сами мы вести морскую торговлю?

...И вот, когда Крузенштерн возвращался из Китая в Европу на корабле «Бомбей Каствль» (а было это в тысяча семьсот девяносто девятом году), составил он свой проект кругосветного плавания. Первая часть была о торговле. О том, что российские корабли могут везти нужные товары на русские промыслы в Тихом океане, забирать там пушнину, выгодно продавать её в китайском городе Кантоне, а там нагружаться товарами, которые нужны в России и Европе. Такие же товары можно было закупать по пути через Индийский океан: в Батавии, в Калькутте...

Но это ещё не весь проект. Мне кажется, Крузенштерн считал торговые дела не самыми главными. Просто этой важной причиной он старался убедить начальство в пользе кругосветного плавания. О таком плавании Крузенштерн мечтал с детства. Он ведь был, как говорится, моряк до мозга костей. Человек, самой природой предназначенный для путешествий, для открытий, для изучения всяких морских тайн, а их тогда было видимо невидимо ещё... Можно сказать, вся наша Земля тайнами дышала...

И вот писал Крузенштерн, что русский флот должен стать таким же славным и знаменитым в искусстве дальних плаваний, как самый лучший тогда — английский. И что не должны российские моряки уступать иноземцам в географических открытиях...

Ну, как ты помнишь, сперва этот проект не одобрили. Или простонапросто затеряли среди канцелярских бумаг.

Крузенштерн разозлился на царских бюрократов и ушёл в долгий отпуск, уехал в свою деревню под Таллин (тогда он назывался Ревель). Подумывал уже совсем уйти из флота...

- Как это? А говорите — «моряк до мозга костей».
- Да, он и был таким. Я ведь сказал уже, сколько он морей и стран повидал к тридцати годам... Но тут он решил: раз дальше не получается, нечего зря морской мундир носить. После всего, что было, не плавать же в Маркизовой луже (так Финский залив прозвали). Вот и подумал: займусь хозяйством или буду учителем географии в той школе, где когда-то сам учился...

Надо сказать, что ребяташек Иван Фёдорович любил и, видимо, к учительскому делу чувствовал какую-то тягу. Недаром стал потом заведовать Морским корпусом...

Но это потом, спустя много лет. А пока жил он в глуши, и вдруг примчался к нему фельдъегерь: «Вас вызывает адмирал Мордвинов, новый морской министр...»

Прибыл Крузенштерн к министру и слышит: «Господин капитанлейтенант, ваш проект наконец рассмотрен и принят. Готовьтесь стать во главе экспедиции».

- Вот обрадовались! — воскликнул Толик.
- А вот и нисколько... — вздохнул Курганов.
- Почему?
- Потому что всё хорошо в своё время... У Нозикова про это, кажется, не написано... Крузенштерн тогда только женился, жена ребёнка ждала... Легко ли уезжать в такую пору?
- Но всё равно... Он же моряк, — тихо сказал Толик.
- Да. Но ты пойми его... Ты вот на одну ночь из дома ушёл, да и то загрустил. А ему то на три года... А ведь тогда плавания были не те, что сейчас. В наше время где бы ни был корабль, он по радио может связаться с родным портом. А тогда что... Письма шли иногда по полгода, со случайными кораблями или по суше через половину земного шара. Плывёшь и думаешь: «А как дома? Нет ли беды какой? Живы ли?..» Знаешь, Толик, не бывает хуже пытки, когда ты далеко от родных, а писем нет и нет.

Толику почему-то стало неловко, и он проговорил поскорее:

- Но ведь Крузенштерн согласился.
- Да, потому что Мордвинов сказал: иначе не будет плавания совсем. Разве мог Крузенштерн это допустить? Ну и... правильно

ты говоришь, он был моряк. Как представились ему снова паруса и океан, оказалось, что это сильнее.

Но ещё год ушёл на подготовку экспедиции. И только седьмого августа тысяча восемьсот третьего года «Надежда» и «Нева» покинули Кронштадтскую гавань...

- Седьмого августа — это по старому стилю? — с пониманием спросил Толик.
- Да нет, по новому... Крузенштерн при описании путешествия использовал в датах стиль, принятый в Европе. Так называемый «грегорианский». То есть тот, который у нас ввели только после революции... В девятнадцатом веке наши числа отставали от европейских на двенадцать суток. Крузенштерн делал астрономические вычисления по английским и французским таблицам и не хотел путаницы...
- Вот и хорошо! Сейчас не надо делать поправки, когда его читаешь, да?
- Да... Скоро корабли пришли в Копенгаген, потом направились в Англию. Какой шторм прихватил корабли в Скагерраке, я тебе вчера читал.
- Да. И про то, как в Фальмут пришли.
- А после Фальмута вышли наши моряки в открытый океан... Потом была стоянка у острова Тенериф. Я про неё лишь мельком упоминаю, об этом и так много написано. А вот про то, как наши корабли перешли экватор, я целую главу сочинил... Может, я почитаю теперь, а? Послушаешь?

Экватор

«День двадцать шестого ноября по новому стилю начался ясно, без большой на сей раз жары и при ровном ветре от румбов между зюйдом и зюйдостом. Обрасопив реи на левый галс, „Надежда“ шла, держась к югозападу. На полмили впереди, высвеченная невысоким ещё солнцем, тем же курсом и с той же, около четырёх узлов, скоростью скользила „Нева“.

Было рассчитано, что в начале одиннадцатого корабли перейдут экватор — равноденственную чётку земного шара, которую не пересекало ещё ни одно российское судно.

В ожидании знаменательного момента офицеры в парадных мундирах и учёные в праздничном платье вышли на шканцы и стояли группами. Не было пока лишь Резанова. Крузенштерн, астроном Горнер и штурман Филипп Каменщиков, стоя у левого фальшборта, брали высоту солнца. Оно белыми вспышками зажигалось на серебряных лимбах дорогих английских секстанов.

— Охота же десятый раз пересчитывать, — проворчал, глядя на них, лейтенант Ратманов. — И так всё ясно по счислению...

Мичман Фаддей Беллинсгаузен сказал со строгой ноткой:

— Течения здешние мешают правильному счислению, а Иван Фёдорович хочет торжественную минуту определить со всевозможной точностью.

— Минута, она, конечно, торжественная, — не оставил прежнего тона Ратманов, — да уж скорее бы, а то при таком параде и свариться недолго. — Он пальцем оттянул край стоячего под самые уши, расшитого якорями воротника. — Слава Богу ещё, что нет вчерашней жары...

— Однако и прохлады особой нет. — Лейтенант Ромберг тоже тронул воротник. — Обратите внимание, господа, какое тёплое у ветра касание. — Он поднял над плечом ладонь.

Беллинсгаузен засмеялся:

— Право же, мы сегодня как дамы в санктпетербургском салоне: вовсю разговорились о погоде.

— В море погода — не для светской беседы тема, а наиважнейший предмет, — возразил слегка запальчиво Отто Коцебу, который с братом Морицем был в компании офицеров. И смешался, покраснел под насмешливо добродушным взглядом Ратманова.

— Уж коли сухопутные кадеты начали понимать морские истины, то и впрямь, значит, наше плавание несёт великую пользу, — пряча усмешку, сказал Макар Иванович. — А вот

когда окрестят наши матросы господ Коцебу по всем Нептуновым правилам, тогда и совсем моряками станете... — Он кивнул на матросов, которые между фоки гротмачтами наливали ведрами морскую воду в сооружённую из парусинового тента купальню.

Вода в купальне тяжело колыхалась, распирая брезентовые борта самодельного бассейна. Корабль мягко приподнимали пологие волны. Люди, уже привыкшие к плаванию, не замечали их и лишь иногда, если палуба особенно быстро уходила вниз, покачнувшись, искали опоры.

Так покачнулся и взялся за косяк в двери каюты действительный камергер и чрезвычайный посланник его императорского величества Николай Петрович Резанов.

Ласково пощурившись на солнце, Резанов подошёл к другой группе, составляли которую люди его свиты: майор Фридриций, надворный советник Фосс, доктор Бринкин, живописец из Академии художеств Курляндцев и главный приказчик Шемелин, который, впрочем, держался в стороне. Здесь же был и гвардейский подпоручик Фёдор Толстой. Он до недавнего времени больше льнул к дружной компании морских офицеров, но после шумной ссоры с лейтенантом Левенштерном, за которого вступились и другие, вот уже несколько дней не подходил к ним.

По дороге Резанов учтиво кивнул офицерам, которые, щёлкнув каблуками, наклонили головы. Когда же отошёл он, Ратманов сказал с досадливым зевком:

— Шёлковая кукла.

Было в Резанове, невысоком и щуплом, чтото от кавалера екатерининских времён — недавних, но уже отошедших в прошлое. Паричок с буклями над ушами, камергерский мундир, похожий на камзол, шёлковые чулки, маленькая придворная шпага со старинной, в хитрых завитках рукоятью. И некоторая плавность и приторность в разговорах, раздражавшая флотских офицеров, воспитанных в суровых правилах Морского корпуса. Салонная манера эта не оставляла Николая Петровича даже во время споров.

Впрочем, споры пока не выходили за рамки светских приличий, хотя начались они давно, ещё в Кронштадте. Тогда Крузенштерн взялся за голову, узнав, сколько помещений требуется свите посланника и сколько посольского и компанейского груза сверх расчёта надобно уместить в трюмах. О чём думали раньше в дирекции компании, в министерстве и при дворе?

Крупная размолвка случилась и в Копенгагене, когда заново перегружали корабль. Резанов хотя и ласковым голосом, но с полным ощущением власти попытался излагать свои требования.

- Ваше превосходительство, — ответил тогда Крузенштерн. — Взятая нами гамбургская солонина, как сообщает мне в письме тамошний консул, приготовлена прескверно. Выгрузить бочки и пересолить её — единственное средство. В противном случае неминуема цинга, и одному Богу ведомо, сколько наших служителей недосчитаемся мы тогда в долгом нашем плавании. Достаточно нам прискорбного случая на „Неве“, когда по недосмотру корабль лишился прекрасного матроса...

Резанов развёл руками и поднял к потолку каюты глаза, давая понять, что на всё воля Божия.

Крузенштерн сухо продолжал:

- Как командир, я считаю своим долгом неизменную заботу о матросах, с тем чтобы каждый из них вернулся в отечество живым и здоровым.

Резанов сказал:

- Мы все, выполняя высочайшую волю, отправились в сие опасное предприятие и не можем теперь знать, вернёмся ли. Во славу государя императора и России мы обратили себя на риск равно с рядовыми служителями. Я же замечаю, господин капитан, что о матросах печётесь вы не в пример больше, чем о других участниках экспедиции.
- Это потому, что матросы судьбою и званием своим поставлены в полное нам подчинение. Можем ли мы пользоваться недостатком их прав и забывать о тех, о ком заботиться — наша первая задача?

- Первая задача наша, — напомнил Резанов, — неукоснительное исполнение всех миссий, определённых волею его императорского величества.
- Миссии эти завершить успешно без матросов мы не в состоянии. От них зависит исход экспедиции, — отрезал Крузенштерн. И не сдержал раздражения: — Одно дело ваш повар, коего тяжко больным сочли вы нужным взять в плавание и чья неминуемая кончина ляжет только на вашу совесть. Другое дело — матросы, за которых отвечаю я, равно как и за корабли, мне доверенные. Посему, ваше превосходительство, во всех делах, связанных с плаванием, считаю себя единственным командиром...

Первый лейтенант „Надежды“, испытанный моряк и кавалер боевого ордена Ратманов, поддерживал капитана во всех спорах. Он бывал даже круче Крузенштерна, таков уж характер Макара Ивановича. И от других офицеров Ратманов суждений своих не скрывал. Вот и сейчас, на шканцах, продолжил он разговор:

- Да и не в том беда, что кукла он, а в том, что при пудренных своих мозгах лезет в морские дела. Здесь не императорский двор и не компанейские торга...

Лейтенант Головачёв до того времени в разговоре не участвовал. Стоя у планшира, смотрел, как серебристыми веретёнцами прокалывают воздух летучие рыбы. Сейчас он обернулся:

- Право же, Макар Иванович, непонятно, отчего вы так невзлюбили Николая Петровича. Мысли его не всегда совпадают с нашими, да не значит же это, что он дурной человек.
- Для своих друзей придворных, может, он и хорош.
- Да не столь уж он и придворный, и звание камергерское получил недавно. Николай Петрович просвещённый человек, недаром же служил в секретарях у знаменитого нашего стихотворца Державина. Говорят, что был знаком и с Радищевым, который чуть не лишился головы за свою книгу о непосильном рабстве крестьян...

- Знакомто знаком, да только где сейчас Радищев, а где Резанов. Радищева камергером не жаловали...
- Ну и Николай Петрович камергерство своё не в петербургских палатах проживает, — слегка раскрасневшись, возразил Головачёв. — С нами идёт вокруг света. А каково ему? Жену похоронил недавно, тоскует. И о детях оставленных тревожится.
- Ратманов, однако, не сдался:
- О жене, коли её нет уже, не всё ли равно где тосковать? — грубовато усмехнулся он. — Что на берегу, что в океане... А о детях обещана ему государем великая забота...
- Капитану нашему тоже несладко, — вмешался мичман Беллинсгаузен. — От молодой жены ушёл в море, от сына, который только что родился. Легко ли? Небось ночей не спит...
- Да полно, господа, — сказал лейтенант Ромберг. — Что бы ни случилось, государь не оставит наших близких.
- Это уж точно, — усмехнулся Ратманов. — За государем мы как за каменной стеною...
- Все неловко замолчали: слова были вроде и правильные, а вот усмешка Макара Ивановича...
- А что это, господа, мы о всяческой суете беседуем! — излишне громко воскликнул Беллинсгаузен. И добавил уже искренне: — О том ли надо думать, когда близится такая минута! Ведь экватор же! Мыслимо ли?
- А и в самом деле, чёрт подери! — весело согласился Ратманов. — Сколько ни плавал в жизни, а не чаял быть при таком деле. Российские корабли первый раз вступают в другое полушарие Земли! А?
- Да скоро ли уж? — нетерпеливо сказал Отто Коцебу.
- В то же время шла беседа и в группе, где стоял Резанов. Глядя на матросов, что возились с парусиновым бассейном, майор Фридеричий сказал, пряча под шуткой опасение:
- Как бы капитан наш не распорядился учинить Нептуново крещение всем без различия званий. Право, господа, экватор — великое достижение, но стоит ли он насморка?
- Полагаю, господин Крузенштерн пощадит нас, — в тон майору ответил Николай Петрович, — и ограничится лишь

малой церемонией. Но совсем противиться обычаю нам сегодня не пристало... По правде же говоря, обычай сей мне кажется ненужным. Подобные игрища устраиваются обычно на кораблях иных наций. Надобно ли россиянам перенимать то, что чуждо русской вере и духу? Господин же Крузенштерн столь долго служил в английском флоте, что готов и у нас завести иноземные порядки.

- Однако же английских служителей на корабли не взял ни одной души, — вставил Толстой. — Адмирал Ханыков ему за то чуть шею не перегрыз, капитан же упёрся: лучше русских матросов на свете нету.
- Странно, граф, что вы так заступаетесь за капитана, — кисло усмехнулся надворный советник Фосс — белобрысый молодой человек со скучным лицом. — Господин Крузенштерн вас, кажется, не жалует.
 - Да и я его не оченьто жалую! Зато жалую матушкуправду, — весело разъяснил Толстой. — И матросов наших люблю за лихость. И крещение Нептуново с ними приму нынче непременно... Это подумать только, господа! Купание на экваторе! Будет что рассказать в Петербурге. Дамы станут квохтать, как курицы...
- У вас, граф, одна забота: горячительные напитки да женский пол, — вздохнул пожилой доктор Бринкин. — Никто уже не чаёт услышать от вас иное.
- Я умею обращаться и с мужским полом! — немедленно взвинтился Толстой. — Для этого потребно немного: десять шагов на палубе и два пистолета!.. Да куда вам! Пистолет — не клистирная трубка...
 - А дуэль — не средство решать споры, — заметил Фосс.
 - Это почему же, господин надворный советник?
- Да потому, что никто не выигрывает. Одного увозят на кладбище или в лазарет, а другого сажают в крепость... Закон, как вам известно, запрещает поединки.
- Я слабо знаком с законами, — усмехнулся граф. — В квартальных приставах не служил.

Доктор Бринкин развёл руками:

- Я не понимаю, господин поручик: что вам за радость каждого зацепить обидным словом?
- Граф не сказал ничего обидного, — с ленивым спо койствием возразил Фёдор Фосс. — Я действительно был одно время квартальным приставом в столице. В конце концов, не всем же состоять в гвардии, кто-то должен и делом заниматься.
- Вы хотите сказать, что гвардейцы — бездельники? — сощурился Толстой.

Не меня выражения лица и тона, Фосс разъяснил:

- Я хочу сказать иное. Когда ктонибудь меня всё же заставит нарушить закон, я сумею показать, что квартальные приставы стреляют не хуже гвардейских подпоручиков...

Граф подался вперёд — с единственной, конечно, целью потребовать, чтобы Фосс показал это в самое ближайшее время.

Но Резанов возвысил голос:

- Господа! Оставьте! Возможны ли такие разговоры в славную минуту!.. Смотрите, „Нева“ повернула, идёт нам навстречу.

„Нева“ и вправду шла теперь правым галсом, на сближение.

Матросы стояли на реях и вантах.

По шканцам крупными шагами прошёл Крузенштерн, поднялся на ют. Громко сказал оттуда:

- Барон, scomандуйте и нашим: на ванты и реи. Пора!

Не успел Беллинсгаузен, который был на вахте, отдать команду, как с криками „ура“ матросы уже бросились вверх по мачтам. Офицеры выстроились в шеренгу. Рядом встали учёные, Фосс, Бринкин, Курляндцев. С краю пристроился Шемелин. Резанов поднялся на ют к Крузенштерну.

В шуме и плеске разрезаемой воды „Нева“ пронеслась в полукабельтове от „Надежды“.

- Мы в Южном полушарии! Слава флоту Российскому! — громко сказал в рупор Лисянский.

„Ура“ на обоих кораблях грянуло с новой силой. Офицеры вскинули пальцы к треуголкам...

Через минуту „Нева“ сделала поворот и пошла в кильватер за „Надеждой“. Матросы быстро опускались с мачт и выстраивались вдоль бортов, впереди орудийных станков. Крузенштерну и Резанову на ют принесли кресла. Посланник сел, а капитан с полушутливой важностью объявил:

— Господа! Из всех нас мне одному пришлось в своё время перейти экватор, было это в дни моей службы у англичан. Я не к тому говорю, чтобы похвастаться преимуществом, а к тому лишь, чтобы объяснить: некому, кроме меня, подвергнуть господ офицеров, учёных и служащих Компании обряду морского крещения согласно древнему обычаю мореходцев всех наций...

Плотницкий десятник Тарас Гледианов поднёс капитану медный тазик с морской водой. Крузенштерн продолжал:

— Я надеюсь, что в этот радостный день его превосходительство Николай Петрович первый окажет капитану честь, подошедши под церемонию...

Принуждённо улыбаясь, Резанов поднялся и наклонил голову. Крузенштерн опустил в тазик руку и с пальца уронил на паричок Резанова сверкнувшую каплю.

— Поздравляю вас, ваше превосходительство, со вступлением в Южное полушарие. Дело сие для россиян воистину славное.

— В этом заслуга нашего обожаемого монарха. Виват Александр!

— громко сказал Резанов.

— Виват! — подхватили офицеры.

Матросы то ли спутали это со словом „обливай“, то ли была дана им особая команда, но тотчас строй распался. Взлетели широкие струи воды из парусиновых вёдер. С шумом и хохотом пожилые матросы хватили тех, кто помоложе и полегче, и, раскачав, кидали в парусиновую купальню. Да и сами с удалыми криками прыгали следом. Сухим из матросов остался лишь рулевой, что стоял у штурвала с нактоузом.

На юте между тем тоже продолжалось морское крещение. С офицерами Крузенштерн не церемонился, как с Резановым, и на

каждого вылил по пригоршне. Поднялся на ют подпоручик Толстой, с него текло.

— Однако, граф, вы преуспели в своих планах, — заметил Фридриций.

— Черти, — отфыркивался подпоручик. — Даже не дали сапоги снять. Воистину — усерден русский человек, только попроси...

Взбежал на ют сержант артиллерии Алексей Раевский, чтото шепнул капитану, тот кивнул. Раевский ударил в колокол. Все притихли на корабле. Сержант возгласил:

— Его величество Нептун, государь всех морей и океанов, пожаловал для встречи российских мореплавателей!

С бака по правому шкафуту на шканцы двигалась процессия. Впереди с уморительноважным видом шествовал квартирмейстер Иван Курганов, завёрнутый в куски рваной парусины и украшенный бороною из расплетённого сизальского троса. Стукал о палубу древком трезубца, сооружённого из багра и длинных ножей. Следом приплясывала свита — с полдюжины морских чертей, — тоже в лохмотьях, с мочальными хвостами и перемазанными сажей лицами. Слева Нептуну выкатили пустую бочку — трон.

Нептун уселся и грохнул трезубцем крепче прежнего.

Крузенштерн, сохраняя невозмутимый вид, спустился на шканцы и встал перед владыкой морей. Тот пошевелил пальцами босых ног и хрипловато возгласил:

— Сижу я это в своём подводном дворце, в окружении русалок, то есть моих дам придворных, а также всяких генералов и камергеров морских, а мне, значит, докладывают: „Ваше океанское величество, два какихто корабля едут поверху прямо через линию, экватором называемую. Так что непорядок, ваше величество...“ Глянул я — и вправду едут, а флаг на их, какого до сей поры видеть нам не приводилось. Дозвольте узнать, что за корабли, из какой державы и по какому делу экватор переехать изволили без моего царского дозволения?

Крузенштерн, стоя навтыжку, произнёс размеренно:



— Корабли государства Российского „Надежда“ и „Нева“, а идём вокруг света по делам торговым и науки касающимся. На „Неве“ командиром капитанлейтенант Юрий Лисянский, я же командир „Надежды“ и начальник экспедиции Иван Крузенштерн.

Нептун солидно покивал:

— Слышали мы о капитане Крузенштерне. И о Российской державе слышали, славная держава, хотя и далеко отсюда... Гневен я сперва был, что плывёте без спроса, ну да русским мореходцам чинить препятствий не буду...

Морские черти по бокам от Нептуна обеспокоенно запританцовывали, один даже толкнул его величество локтем:

— Про выкуп скажи...

Нептун гневно взметнул бороду:

— Цыц, захребетники! Вам, дармоедам придворным, лишь бы выгоду свою соблюсти! Их высокоблагородие капитан Крузенштерн сами знают обычаи морские и насчёт выкупа без вас, бездельников, помнят...

Крузенштерн засмеялся:

— Обычаи русским мореходцам известны. Посему от имени российского государя императора и по распоряжению его превосходительства чрезвычайного посланника жалую вашему морскому величеству и свите вашей, а равно и каждому служителю корабля „Надежда“ по гишпанскому серебряному пиастру... Ну а для веселья в честь праздника приказчик наш Фёдор Иванович распорядится выдать что положено...

Мокрая толпа, обступившая Нептуна и Крузенштерна, одобрительно загудела.

— Покорнейше благ... кхм... От нашего подводного величества вашему высокоблагородию наше царское спасибо, — возвестил Нептун. — Плывите в Южное море беспрепятственно. Мы же в благодарность за уважение ваше стараться будем, чтобы ветров супротивных, бурь и шквалов на вашем пути не было... Ну а ежели где и случится погода неблагоприятная, не обессудьте. Держава моя огромная, а в большом государстве,

сами знаете, за всем не усмотришь. В одном конце только наведёшь порядок, а в другом, глядишь, эти черти опять хвостами воду баламутят... — Нептун окинул свиту суровым взглядом и опять обратился к Крузенштерну: — А теперь, ваше благородие, дозвоьте откланяться. Дела ждут державные. Счастливого пути.

Крузенштерн поднял пальцы к треуголке. Свита подхватила Нептуна вместе с бочкойтроном...

Когда шли в каюткомпанию, майор Фридеричий с усмешкой заметил:

- Однако, господа, какой лицедей этот Курганов, а? С такими талантами хоть на столичную сцену.
- Дар импровизации и живость языка отменные, — серьёзно отозвался живописец Курляндцев.
- Живость языка эта, — мягко вошёл в беседу Резанов, — порождает сомнение: по причине ли простодушия высказался сей матрос о непорядках в великой державе? И что значат слова его о придворных бездельниках...
- Умные люди замечали не единожды, — хладнокровно заговорил надворный советник Фосс, — что смелость языка возрастает по мере удаления от столицы. А тем паче от границ государства Российского...

Крузенштерн, шедший впереди, оглянулся.

- Да полно, господа, — добродушно сказал он. — Разумно ли искать в словах матроса намёки на державную политику? В каюткомпании всё было готово для праздничного обеда.
- В честь такого дня не грех устроить краткое отдохновение от трудов праведных, — провозгласил граф Толстой. Он уже переоделся после купания, но гладко зачёсанные волосы его были ещё мокрыми. Граф раньше всех оказался в кают компании. Теперь стоял он, прислонясь к основанию бизань мачты, что могучим столбом торчала посреди низкого помещения. И оглядывал стол.

Во время плавания граф не раз воевал с приказчиком Шемелиным, стараясь правдами и неправдами добыть из

корабельных запасов лишнюю бутылку, и всячески ругал „купца“ за „несуветную скарედность“. Нынче же, однако, Толстой остался доволен:

— Смотрите, наш Фёдор Иванович расстарался. Простим ему прежнее непонимание томящихся душ наших...

Оглаживая бороду, Шемелин ответил:

— Мне, ваше сиятельство, прощения не надобно. Я свою службу знаю и потому соблюдаю её неукоснительно. А ежели вам выдавать, что требуете, по первой просьбе, так вскоре в трюмах ни единой бутылки не отыщется.

Толстой проговорил вроде бы добродушно:

— Иными словами, утверждаете вы, господин Шемелин, что я пьяница. Ведомо ли вам, сударь, как отвечают за такие слова, сказанные благородному человеку?

Лейтенант Ромберг весело сказал:

— Я заметил, граф, что в эти дни вы который раз уже заводите разговор о поединках. Помилосердствуйте. Так ещё до кап Горна не останется на корабле живой души, и превратимся мы в корабль призраков, подобно знаменитому „Летучему Голландцу“...

Шемелин же невозмутимо возразил Толстому:

— Вы, ваше сиятельство, граф, а я купец, мужицкая кровь.

Вам со мной на дуэлях драться не пристойно.

— Так я и попростому могу! — бойко воскликнул Толстой. Была это всё ещё шутка, но глаза его уже загорелись нехорошим светом. — На кулаках тоже приходилось.

— И сие не советую, — серьёзно отозвался Шемелин. — Я родом из Тобольска, а у нас в Сибири мужички в кости покрепче ваших костромских...

— Так ли? — сощурился Толстой.

Крузенштерн взглядом остановил графа и встал:

— Господа. В сей радостный день, когда наши корабли пронесли российский флаг над равноденственной чертою, вспомним с благодарностью наше отечество и всех, кто способствовал столь славному началу нашей экспедиции... Сержант, пора.

Алексей Раевский ведал корабельной артиллерией. Один из сыновей славной фамилии, он не был ещё офицером, но ожидал производства по возвращении из плавания, а то и по приходе на Камчатку. В офицерском кругу он был принят за своего. Сейчас Раевский поднялся и, не выпуская бокала, встал в дверях, упёршись плечом в косяк. Отсюда видел он и сидевших в кают компании, и матросов, которые под командой бомбардиров Жегалина и Карпова приготовили уже орудия к стрельбе.

За столом все встали. Крузенштерн поднял бокал и кивнул Раевскому. Тот махнул платком. Орудия разом рывкнули, откатились и выбросили тугой белый дым. Матросы накатили их и взялись за баники. Через минуту грянул новый залп. И ещё! И ещё...

Одиннадцать ударов русского салюта впервые разнеслись над водами Южного полушария...»

Медный стук часов

— Ну вот... — сказал Курганов. — Коряво, конечно, написано, надо ещё работать... Верно ведь?

Несколько раз он во время чтения заходил к долгому сухим кашлем. «Бронхит проклятый обострился. Я уж и курить бросил, а толку никакого», — говорил Курганов, вытирал глаза, осторожно дышал с полминуты, словно проверял лёгкие, и читал дальше...

И теперь он смотрел на Толика с вопросом.

— Арсений Викторович, — сказал Толик честно и даже нем ного жалобно. — Я не знаю, что говорить, но мне очень понравил ось. И нисколько не коряво, а, наоборот, замечательно...

— Ну спасибо. Добрый ты человек, Толик. — Курганов переглотнул, подавляя подступивший опять кашель.

Толик подумал: «Что же ещё сказать, чтобы он поверил?» И... вскочил!

— Ой!.. — Он кинулся к плитке. — Водато выкипела!

...Скоро новая порция воды забулькала в кастрюле. Стол был застелен чистыми газетами. Курганов поставил на него тарелку с горкой разноцветной карамели (в бумажках и без), коробку печенья, открыл консервы «Лосось». Потом появились тарелки с солёными огурчиками и капустой. Изпод стола вытащил Курганов трёхлитровую банку с прозрачнокрасной жидкостью. В ней плавали раздавленные ягоды.

- Это я клюквенный напиток соорудил. За неимением шампанского... которое ты, впрочем, всё равно не пьёшь, верно?
- Я один раз, когда гости были, попробовал из чьейто рюмки...
 - Толик дурашливо поморщился. — Мама увидела, ох и показала мне шампанское... Даже по шее попало.
- Горький жизненный опыт всегда постигается собственной шеей... Подброська, Толик, в камин дровишек, а то прозеваем огонь, как прозевали воду...
- Новый год не прозевать бы. Наверно, уже скоро двенадцать.
- Что ты! — Курганов ловко выдернул часы на цепочке. — Без трёх одиннадцать. Всё ещё успеем. И пельмени сварятся...
Толик с сомнением посмотрел на крупные часы с треснувшим стеклом.

- А они точно идут? — Он считал, что Новый год полагается встречать из секунды в секунду.
- Этито? Они нужны мне только для поправки. На двенадцать секунд у них точности хватит...

Толик непонимающе молчал. Курганов объяснил с важной хитрецей:

- Новый год мы встретим с астрономической точностью. Не хуже, чем кругосветные путешественники на корабле.

Он снял с полки стоявший среди покосившихся книг ящичек орехового цвета, с медными ручками и кнопками. Мягко поставил на край стола. Лампа бросила горячий блик на стеклянную крышку. Толик вытянул шею.

Курганов открыл шкатулку — верхняя часть её плавно откинулась назад на латунных полосках.



Медное тиканье (которое Толик уже не замечал, потому что привык) с новой громкостью заполнило комнату.

Часы были похожи на будильник — размером, римскими цифрами, жёлтыми стрелками. Но будильники всегда стоят, а этот лежал в ящичке. Точнее, был подвешен горизонтально внутри медного кольца с зубчатыми колёсиками. Ободок вокруг стекла тоже был медный и в мелких зубчиках.

«Диньтак, диньтак, диньтак...»

— А ято всё думал: где это тикает? — сказал Толик.

— Корабельный хронометр, — сказал Курганов.

— Я догадался... — Толик шевельнул рукой — хотел погладить коробку и не посмел.

— Да возьми, возьми, — разрешил Арсений Викторович. — Можешь поддержать... Вот так, за ручки... Покачай тихонько... Видишь, несмотря на качку, он остался горизонтальным. Кардановый подвес. Это очень важно для точного хода...

Ящичек был тяжёлый, откинутая крышка перекосила его в руках у Толика, но часы и в самом деле остались висеть ровно. Горизонтально. Бодрое их «диньтак» словно говорило:

«Смотри, ничего страшного». Толик слегка покачал шкатулку и протянул Арсению Викторовичу. Тот плавно опустил её на стол.

— Главное, оберегать хронометр от резких толчков. И заводить надо в одно время. Я в восемь утра завожу...

Ключик с головкой в виде медного диска торчал в гнезде, в углу шкатулки.

— Жалко, что утром... — сказал Толик.

— Почему? Посмотреть хочется?

— Ага.

— Ну, смотри... — Курганов плавно перевернул хронометр в кольцо. Стал виден медный корпус с круглым, как у консервной банки, доньшком. Курганов ткнул ключиком в неглубокую ямку, надавил в сторону. Доньшко повернулось на оси, ключ ушёл в гнездо.

— Крути, — разрешил Курганов. — Немного только, один оборот... Нетнет, в другую сторону, против часовой.

Ключ повернулся легко, с бархатным шорохом. Так приятно было поворачивать его. Жаль, что нельзя больше...

- А точность не сбилась, оттого что не вовремя завели?
- Ничего страшного... Тем более всё равно сейчас я буду делать поправку. Новогодняя ночь — самое время для этого... Он у меня за два месяца на двенадцать секунд убежал...
- Всегого? — изумился Толик.
- Это же хронометр, не ходики...

Курганов выложил на стол карманные часы. Пошевелил над хронометром пальцами и строго сказал:

- А теперь приступим.

Он свинтил и отложил стекло. Втиснул в ящичек, под корпус, ладонь, снова перевернул в кольце хронометр, и... механизм скользнул из медного котелка в руку.

Курганов достал его, повернул к свету, держа в растопыренных пальцах. Незащищённое сердце хронометра доверчиво тикало, шевелило колёсиками, искрилось жёлтыми звёздочками. Толик не дыша придвинулся ближе. На широком валике он разглядел тончайшую стальную цепочку. Она была похожа на цепь от крошечного велосипедика. А выше всех валиков и шестерёнок моталось тудасюда на оси с чуткой синеватой пружинкой медное кольцо.

- Горизонтальный балансир, — слегка торжественно объяснил Курганов. — Изобретение умнейших мастеров восемнадцатого века. Именно он даёт часам такую точность... Видишь грузики на кольце? Среди них есть два с прорезями. Это регуляторы хода. Чтобы изменить ход на секунду в час, надо повернуть их на девяносто градусов. А чтобы на секунду в сутки
- это совсем ювелирная работа. Вообщею ею специальные мастера занимаются, но где их здесь возьмёшь?
- Будете сами поворачивать? — испуганно спросил Толик.
- Сейчас не буду. Я его в своё время долго регулировал, а теперь надо только задержать на двенадцать секунд. Тогда пойдёт он у нас сегодня из точки в точку... Нука... — Арсений Викторович согнулся над столом, приглядываясь к карманным часам. — Раз... — Он придержал пальцем балансир. Маленькие часы тикали еле слышно и беспомощно, понимали свою

маловажность перед хронометром. Толик следил за волоском секундной стрелки. Она проскочила двенадцать чёрточек, и тогда снова раздалось медное «диньтак».

Курганов с удовольствием распрямылся. Ловко уложил стучащий механизм в котелок, навинтил стекло.

— Не убирайте, — попросил Толик. — Пускай здесь тикает.

— Конечно. Даже закрывать не буду... Тащика, Толик, пельмени.

Толик выскочил в сени и вернулся с кульком смёрзшихся пельменей — в тепло, где потрескивал камин и звонко щёлкали в корабельном хронометре весёлые медные секунды.

— Можно радио включить? Интересно, совпадают куранты с хронометром или нет...

— Да не работает радио, будь оно неладно... Иногда включится само собой, а потом заглохнет и молчит, сколько по нему ни колоти... Где-то контакт барахлит.

Толик подошёл к репродуктору, висевшему у края большой карты. Щёлкнул по тугой чёрной бумаге.

— ...прошедшего года, — отчётливо сказал улыбчивый женский голос. — Это был славный год — год тридцатилетия Великой Октябрьской социалистической революции, год восьмисотлетия Москвы. Год новых успехов в восстановлении и развитии народного хозяйства. Советские люди не только залечивали раны, нанесённые нашей Родине фашистскими варварами, но и шагали к новым рубежам. На заводах, стройках и полях страны...

Курганов послушал и развёл руками, уронив в кастрюлю смёрзшийся ком пельменей.

— Ну, Толик, ты в самом деле... Ты — человек, приносящий удачу! Есть такие люди.

Толик обрадованно сопел. Радио говорило:

— ...встречают хорошими песнями. С заявкой обратились к нам и моряки крейсера «Молотов», на котором в этом году побывал в гостях товарищ Сталин. Матросы, старшины и офицеры прославленного корабля просят передать кантату о...

Толик спросил:

- А сейчас на кораблях такие же хронометры?
- Разумеется. Он же у меня современный. То есть не совсем современный, довоенный, но ещё вполне... Английская фирма «Кук», очень известная.
- Аа... — Толик был слегка разочарован. Он думал, что хронометр старинный, с парусного корабля.
Шевелилась даже мысль: «Уж не с „Надежды“ ли?»
- Впрочем, разницы никакой нет, — сказал Курганов. — Такими же они были и сто лет назад. И сто пятьдесят... Эта вещь придумана раз и навсегда. На века... Сейчас, конечно, точность проверять легче, радисты ловят сигналы точного времени в эфире. А представляешь, как важен был хронометр в прошлом веке? Без него никуда. Не вычислишь место судна в океане. И остров, который открыли, не нанесёшь точно на карту...
- А этот хронометр... он с какого корабля?
- Даже не знаю. Он стоял у моего соседа, капитана Константина Афанасьевича Лукьянова. Старый был капитан, в своё время ещё на чайных клиперах ходил матросом... После революции он в морском техникуме преподавал. Мы были, можно сказать, друзьями, хотя я ему в сыновья годился. Книг у него о кругосветных путешествиях и вообще о флоте была уйма... Умер старик в блокаду. Книги его соседи пустили на растопку. Как и мои, кстати. Что поделаешь, людям надо было выжить любой ценой... Всё пошло в печку — и Крузенштерн, и Лисянский, и Головнин. И старые лоции... Редкие издания были, начало того века... Одно меня выручило — записи, которые я по этим книгам делал на Севере. То есть уже не по книгам, а по памяти. Память у меня до недавнего времени была крепчайшая, целые страницы наизусть помнил... А то как бы я теперь писал?
- Толик сел на шкуру недалеко от камина и смотрел, как дгорают поленья... Пусть горят. Дрова на то и есть на свете. А вот когда книги в огне — это значит, у людей горе...
- Хорошо, что хоть хронометр не пропал, — сумрачно сказал Толик. — Могли и его в печку затолкать. Коробкато деревянная.

- Слава Богу, уцелел... Я в сорок шестом году приезжал в Ленинград, нашёл его... А подарил мне его Константин Афанасьевич ещё в тридцать восьмом году. Двадцать первого марта... Знаешь, что это за число?
- Нет... А! Весенние каникулы начинаются!
- Событие, безусловно, важное... Но, помимо всего, это весеннее равноденствие, день прибывает и становится равен ночи.
- Ой, правильно. Я забыл...
- Ничего... И, между прочим, это ещё мой день рождения. В тот год мне стукнуло сорок лет...
«Значит, нынешней весной будет пятьдесят», — сообразил Толик.
- Будет пятьдесят, — словно откликнулся Курганов. И надолго замолчал. Присел рядом с Толиком. Султан проснулся и сунулся между ними. Так они сидели и смотрели на огонь.
А хронометр отмерял последние минуты сорок седьмого года.

За две минуты до Нового года местное радио включило Красную площадь. В бумажном круге репродуктора задышал далёкий громадный город, стали слышны гудки автомобилей, чьи-то шаги, даже голоса...

Секундная стрелка хронометра бежала по последнему кругу этого года. И, едва она прыгнула на верхнее деление, репродуктор трянуло упругим и переливчатым звоном курантов.

«Точно!» — радостно подумал Толик.

Десять часов по московскому времени, двенадцать по местному. То есть двадцать четыре... И вот уже «диньтак, динь так» — две секунды сорок восьмого года...

— С Новым годом, Толик.

— Ой... С Новым годом, Арсений Викторович!

Свет был выключен, у графина с еловыми лапами горели две свечи. В камине ярко занялось хрустящее полено. Толик держал фаянсовую кружку с клюквенным морсом, Курганов — стакан.

Незадолго до этого он, смущаясь и кашляя, налил туда из булькающей четвертинки.

— Я уж так... Ты меня прости, человек я пожилой, с предрассудками. Курить вот бросил, а это... И обычай всётаки, Новый год. Я чутьчуть.

Толик тоже смутился и глупо сказал:

— Да что вы, не стесняйтесь. Пожалуйста...

Теперь они сдвинули краями кружку и стакан. Курганов задержал руку, не пил. Толик подумал, что он стесняется, и уткнулся в кружку. Но Курганов вдруг сказал:

— Толик... Подожди. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты был счастлив. Всю жизнь. И спасибо тебе.

— За что? — растерялся Толик.

— За то, что ты пришёл. Вчера и сегодня... Знаешь, мне кажется, что ты приносишь людям удачу. Правда. Мне, по крайней мере, принёс... Но не в этом дело. Просто спасибо за то, что ты есть. И пусть тебе будет хорошо...

«И маме, — подумал Толик. — И Варе. И всем хорошим людям... И Султану...»

— И всем, кого ты любишь, — улыбнулся Курганов.

— И вам... тоже пусть будет хорошо. И главное, чтобы книжку напечатали скорее!

— Вот за это спасибо тысячу раз!

Пельмени Толик любил больше всяких других угощений. К тому же заедать их огурчиками и капустой, запивать клюквенным морсом оказалось просто восхитительно.

Через полчаса Толик осоловел. Освещённая красными углями комната виделась через мутноватую плёнку полудрёмы. Хронометр тикал вкрадчиво, словно бормотал что-то.

— Я смотрю, ты носом клюёшь, — сказал Арсений Викторович.

— Ложиська на кровать.

— Нет, я на стульях, — заупрямился Толик. — Мама же говорила...

— На стульях — это потом. А пока просто отдохни...

Ситцевая плоская подушка пахла табаком — видимо, Курганов бросил курить не так давно. Кровать была жёсткая —

наверно, с досками под матрацем. Но лежать всё равно было хорошо. Так хорошо, что было бы обидно заснуть и уже не чувствовать этого удовольствия. И сон, который обычно наваливается на лежащего, милостиво отпустил Толика.

С прикрытыми глазами, но с ясной головой Толик полежал минут пять. Сквозь опущенные ресницы он видел, как Арсений Викторович, оглянувшись, быстро налил в стакан из четвертинки и сделал крупный глоток. Потом Курганов часто подышал, словно сдерживая подступивший кашель, пошевелил в камине угли, погладил Султана и сел в ногах у Толика.

Толик открыл глаза:

— Арсений Викторович, а откуда вы всё это знаете?

— Что?

— Ну, как тогда было, при Крузенштерне. Кто что говорил, кто что делал... Неужели всё это в старых книгах написано?

— Нет, конечно... Если бы всё было написано, зачем ещё одну книжку сочинять?

— Значит, самому догадываться пришлось?

— Что?.. Да! — Курганов оживлённо завозился и сел прямо. — Ты правильно сказал. Догадываться... Видишь ли, без фантазии даже самый строгий исторический роман не бывает. А я ведь не историческую книгу пишу, упаси Господи. На такое я никогда и не решился бы... Про плавание Крузенштерна и про его открытия и так много написано. А мне хотелось разобраться в некоторых случаях. В частности, так сказать... У меня и повесть то называется «Острова в океане». Как бы рассказы про несколько островов.

— Но там не только про острова, — осторожно заметил Толик.

— Там и про Скагеррак, и про экватор...

— Я не совсем в том смысле... Острова — это как бы люди. В океане жизни... Наверно, я чересчур непонятно выражаюсь?

— Всё понятно...

Камин почти прогорел, свечи едва освещали стол и еловые ветки в графине. Радио снова отключилось. Было тихо и уютно. Толику казалось, что он в этой комнате давнымдавно и

- Курганова знает много лет. Толик сказал совсем подомашнему и даже слегка разнеженно:
- Арсений Викторович, давайте поставим хронометр поближе. Он так хорошо тикает... будто живой.
 - Прекрасная мысль. — Курганов перенёс хронометр на табурет, к изголовью кровати. — Я, признаться, тоже люблю, когда он рядом. Особенно если работаю... Он щёлкает, я пишу. Иногда в хорошие минуты хочется погладить его, как котёнка. Но он нежностей не любит, всётаки морской инструмент, характер строгий. Уважает порядок и точность... Недавно он на меня обиделся...
 - Как? — засмеялся Толик.
 - Я забыл его завести. На целые сутки опоздал.
 - И он остановился?
 - К счастью, нет. Заводто у него рассчитан почти на двое с половиной суток. Видишь, циферблатик вверх? Стрелка показывает, сколько часов прошло с того момента, как завели. Самое большое число — пятьдесят шесть... Правда, у меня он столько не тянет, пружина ослабла. Но двое суток идёт...
 - А зачем же тогда каждые сутки заводить?
 - Для равномерного натяжения пружины, от него точность хода зависит... Закон такой — морские часы следует заводить вовремя. А уж останавливаться они тем более не должны. Ни в коем случае. Пока жив на корабле хоть один человек... Ты это запомни, Толик.
 - Запомню... — Толику странной показалась неожиданная строгость в голосе Курганова. — А как он на вас обиделся? Отставать стал, да?
 - Нет. Но тикал обиженно... Впрочем, я это, конечно, сам придумал. Потому что кажется иногда, будто и правда он живой... У стариков бывают причуды.
 - Никакая это не причуда, — возразил Толик. — И никакой вы не старик.
 - Ну ну...
 - Любимые вещи у каждого человека есть.

— Ты прав, как всегда... Но для меня хронометр — исключение. Вообще я к вещам спокойно отношусь. Сам видишь, живу не роскошно... Да оно и к лучшему.

Толику показалось, что Курганов стал говорить иначе. Будто настроение у него испортилось. Может, оттого, что глотнул лишнего? Но он же ничуть не пьяный.

Курганов принял, наверно, молчание Толика за вопрос. И хмуро объяснил:

— Чем больше вещей, тем жить хлопотнее... И тем обиднее с ними расставаться.

— А зачем расставатьсято? — Разговор Толику нравился всё меньше.

— Так... Когдато приходится. С собой не унесёшь.

—Куда? Курганов молчал.

«Я понял, — хотел сердито сказать Толик. — Но зачем вы про это? В такую хорошую ночь...» Однако в этот момент Курганов коротко вздохнул и опять надолго закашлялся. А потом сказал слабым, но уже повеселевшим, прежним голосом:

— Прости ты меня. Что меня потянуло на дурацкие разговоры? Обещал рассказы о моряхокеанах, а ударился в гнилую философию... Тебе о таких вещах думать рано.

— А о моряхокеанах ещё спросить можно? — оживился Толик.

— Разумеется! Это самая подходящая беседа, если спать не хочется.

— Не хочется... После экватора Крузенштерн и Лисянский пошли в Бразилию?

— Да. К острову Святой Екатерины. Там они застряли на несколько недель изза нового ремонта. У «Невы» в мачтах гниль обнаружилась... Ты ведь помнишь, что Лисянский покупал эти корабли в Англии, специально туда ездил?

— Помню... Неужели в России своих кораблей не было?

— Годных для такого плавания тогда не было. Представляешь, до чего довели русский флот доблестные царские адмиралы?

- Но и английские корабли оказались не оченьто...
- Да, с ними хватило хлопот... Но не это было самой большой неприятностью.
 - А что?
 - Причины всех бед обычно в самих людях...
 - А у Нозикова ничего про это не написано.
- Про это пишут вообще неохотно. Особенно в детских книжках. Ссора Резанова с моряками не украсила экспедицию...
 - Значит, во всём Резанов виноват, да?
- Ну, Толик... Дело это давнее, кто может сказать точно? Особенно вот так: «Во всём виноват». Это всё равно что приговор произнести...
 - Но вы же пишете.
- Я потому и пишу целую повесть, что не могу сказать двумя словами, кто виноват. Да и в повести не могу. Книжка — это ведь не суд. Я пытаюсь представить, как это было... Как мне кажется... Другие писали поиному. В конце прошлого века было много споров, кто прав: Крузенштерн или Резанов? Статьи печатались в журналах... Многие учёные были за Резанова...
 - Но выто за Крузенштерна, правда?
Курганов улыбнулся:
- Вспоминаю себя в детстве. Тоже любил определённость: где враги, а где наши... Да, я считаю, что не надо было Резанову лезть в начальники экспедиции.
 - А почему он лез?
- Тут и дирекция Компании, и Морское министерство во многом виновато. И царь. Сперва полным командиром над экспедицией утвердили Крузенштерна. Вручили инструкцию. А потом ему в спутники дали Резанова — назначили посланником в Японию и главным начальником и ревизором всех владений РоссийскоАмериканской компании. Резановто был один из самых крупных её акционеров. И у него тоже оказалась инструкция с командирскими полномочиями.
 - А кто это такие? Ак... кци..

- Владельцы ценных бумаг. Акция — это... ну, вроде облигации, что ли. Сколько было у компании капиталов, на такую сумму и акции были выпущены. Чем больше их у человека, тем больше у него власти в компании и прибылей от неё... А Резанов женился на дочери Шелехова, который эту компанию основал. Помнишь?
- Помню... Значит, он больше всего о выгоде думал?
- Думал, конечно... Однако не так всё просто. У Резанова был характер сложный, непостоянный. Часто он поддавался настроению. Мог изза раздражения, изза высокомерия и про выгоду забыть... Мог и вообразить себе Бог знает что, и сам верил выдумкам. С одной стороны, вроде бы неглупый человек был и за дело болел. А с другой... В общем, я считаю, что капитан Головнин правильно писал о нём...
- Арсений Викторович! А нельзя, что ли, было, чтобы Крузенштерн командовал морскими делами и научными, а Резанов торговыми и этими ещё... посольскими?
- Ты разумно рассуждаешь... Может быть, так же рассуждало начальство и сам царь, когда выдавали инструкции. Мы, мол, никого не обидим, а в пути они сами договорятся.
- Не договорились?
- Нет. Крузенштерн — он тоже ведь был характер непростой. Ну и пошли стычки. Из Бразилии Резанов уже писал царю жалобы на Крузенштерна...

После стоянки у острова Святой Екатерины опять началось плавание в океане. Обошли мыс Горн. Моряки были заняты вахтами, корабельными делами, вместе с учёными ставили разные опыты: океанто был почти не изучен... А для посланника и его спутников постоянных занятий не находилось. Маялся от безделья и граф

Толстой. Был он приписан к свите посланника, но с его превосходительством скоро поссорился. Готов был поддержать всякий спор офицеров с Резановым. Однако моряки не любили посланника за его вельможные вмешательства в корабельную жизнь, а граф ссорился изза

вздорности натуры...

Я к тому про графа вспомнил, что не обошлась без него и ссора, когда стояли у острова Нукагивы. В Тихом океане...

Полосное железо

- Когда пишут про стоянку «Надежды» и «Невы» у Нукагивы, чаще всего увлекаются описанием тропической природы, жизни туземцев, разными приключениями. Обязательно рассказывают про англичанина Робертса и француза Кабри, которые неведомыми путями попали на остров, прижились там, обзавелись семьями, но между собой всё время враждовали...
- Да! — оживился Толик. — Француза потом случайно увезли на «Надежде»...
- Скорее всего, он сам постарался таким образом исчезнуть с острова, боялся Робертса. Но Бог с ним... Ты, конечно, читал, как моряки путешествовали по острову, как потом чуть не поссорились с туземцами, как были в гостях у короля Тапеги. Учёные собрали на Нукагиве богатейший материал о жизни островитян, про это есть даже в книжке Нозикова... Но почти никто не пишет, что именно там произошли события, которые чуть не погубили экспедицию...
- А вы про это написали, да?
- Да... То есть не совсем. Только черновик. Это как раз то, что у меня ещё не до конца сделано. Запутанные события, и рассказывают о них поразному...
- Кто рассказывает? — Толик приподнялся на подушке.
- Прежде всего Шемелин... В его «Журнал путешествия россиян вокруг света», который был напечатан, этот рассказ не вошёл. Видимо, из цензурных соображений. Но я до войны видел в Ленинграде рукописный дневник Шемелина.
- Где? У того капитана?
- Нет, что ты... В Публичной библиотеке, в отделе рукописей... В дневнике про случай на шканцах «Надежды» написано подробно. И, конечно, Шемелин во всём обвиняет

Крузенштерна и других офицеров. Надо сказать, убедительно пишет, он был умный человек... Беда только, что Крузенштерна он терпеть не мог, а к Резанову привязан был всей душой.

- Но, может, он и не виноват, — задумчиво сказал Толик. — Если привязан...
- Кто же говорит, что виноват?.. Просто когда историки разбирают этот случай, они всё время ссылаются на Шемелина... Но есть ещё один дневник, небольшая тетрадь с неразборчивым почерком. Её писал Макар Иванович Ратманов.
- Вы её тоже читали?
- Да... Я тогда старался всё, что можно, об этом плавании разыскать... Ратманов пишет совсем иначе.
- А вы кому верите? Ратманову, да?
- Я, Толик, обоим верю, не удивляйся. Они, помоему, добавляют друг друга. Каждый со своей стороны... Но Ратманов полностью прав в одном: капитан на корабле — полный командир и требует уважения. Резанов же, видимо, считал, что «его превосходительство» всегда выше «его высокоблагородия».
- А ещё у него инструкция была, да?
- Изза неё и вышел тот отчаянный спор...
Курганов замолчал, и Толик испугался, что он скажет: «Ну, хватит на сегодня». И попросил жалобно:
- Может быть, вы прочитаете, что там было? Спать всё равно не хочется...
- Я же говорю, ещё не дописал. Если хочешь, я так расскажу, без черновика... Но близко к тому, как пишу...
- Когда пришли к Нукагиве (сперва «Надежда», а через несколько дней «Нева»), первая задача была запастись свежими продуктами. И Крузенштерн отдал приказ, чтобы ни один человек на корабле ничего у жителей острова для себя не выменивал. Соблазныто были великие: каждому хотелось привезти домой заморские диковинки — раковины, кораллы, туземную утварь... Представляешь, что началось бы, если каждый кинулся бы торговать с нукагивцами сам по себе, когда ещё не получена провизия? Островитяне моментально

взвинтили бы цены, никакого железа не хватило бы для уплаты за кокосы и овощи.

— Железа?

— Ну да... Моряки расплачивались с ними обломками обручей.

Толик растерянно заморгал:

— Это же обман...

— Ну, почему обман? Чем ещё было платить? Ассигнациями с портретом Екатерины? Зачем они островитянам? Медными монетами? А они там для чего? На шее носить?.. А железо нукагивцам было необходимо для ножей, для копий... За ценные вещи моряки платили, конечно, другими товарами: топорами, сукном... Ты что морщишься, Толик? Лежать жёстко? Или болит чтото?

— Я?.. Ой, нет, что вы! Всё в порядке.

Толик и правда морщился, сам того не замечая. Потому что при словах про обломки обручей вспомнилась ему старая боль. Весной Толик с ребятами гонял мяч на пустыре за школой, и ржавый обруч от бочонка попал под ботинок — встал торчком и сквозь штанину и чулок врубился зазубренным краем под колено... С тех пор, когда слышал Толик о полосках железа и обручах, у него кривилось лицо. А под коленом теперь — коричневый рубчик. Он всегда начинает болеть, если у Толика неприятности или какието переживания.

— Это я так... Ногу отлежал. Уже прошло.

— Ну, слушай дальше. Приказу Крузенштерна все подчини лись.

И Резанов был вынужден подчиниться, но оскорбился: опять капитан командует посланником и камергером...

Через два дня Крузенштерн отменил приказ, однако приходилось смотреть, чтобы товары не разбазаривали. А Шемелин в это время всё горевал, что коллекция Резанова (он её для Петербургской кунсткамеры собирал) пополняется медленней, чем у Крузенштерна. И чтобы заставить трофеями лучше и побольше, пустил в обмен очень ценный товар — топоры. Крузенштерн этому воспротивился. И вот утром 13 мая такая сцена.

Крузенштерн и Резанов встретились на шканцах. Шканцы — это палуба между гротмачтой и бизаньмачтой, место, где собираются офицеры. Крузенштерн обратился к посланнику сухо, но вежливо:

— Ваше превосходительство. Все кораллы, что выменяли наши люди у нукагивцев, я приказал закупорить в бочку. В вашей воле взять себе сколько угодно и когда всего удобнее.

Резанов поморщился и заговорил в ответ («начал делать реприманты», как пишет Ратманов):

— Кораллы суть пустяки, сударь. Огорчительно мне иное. А именно то, что вы опять создаёте преграды моему приказчику, не давая вести обмен с дикарями. Сие относится не к одной моей личной обиде. Разве не ведомо вам, что собирание редкостей для императорской кунсткамеры, о которой я попечение имею, есть следствие воли государя?..

— Всё плавание, ваше превосходительство, ведётся с ведома и по воле государя, — возразил Крузенштерн. — Во время путешествия мой долг заботиться не только о покупке редкостей для музеума, но и о всём прочем. О здоровой пище для слугителей в том числе. Что будет, если мы легкомысленно потратим обменные товары?..

— Забота о товарах лежит не на вас, а на служащих Компании и на мне как начальнике экспедиции.

— На моих плечах лежит попечение о людях... ваше превосходительство. Что же касаясь вашей должности, то ещё в Бразилии получили вы моё письменное уведомление, что считать вас своим начальником я не могу...

Резанов не вспылил, хотя этого можно было ожидать. Он сказал с ноткой ленивого превосходства:

— Что касается собственно меня, то я ставлю себя выше всех огорчений, которыми осыпают меня ежедневно. Ваши слова и поступки я почитаю не иначе как за мелочи, недостойные моего внимания. Ранее полагал я, что имею дело с воспитанным человеком и разумным офицером, вам же угодно ребячиться.

На шканцах наступила тишина.

Ни тогда, ни потом Резанов так и не понял до конца, что же произошло. Сила морских уставов и обычаев была ему неведома.

— Я не ослышался? — тихо переспросил Крузенштерн. — Что вы сказали?

— Я сказал: полно ребячиться.

Негромко, но наливаясь гневом, Крузенштерн произнёс:

— Господин чрезвычайный посланник. Вы находитесь на шканцах военного корабля, место сие почитается священным. Любое оскорбление, нанесённое капитану на корабле, вообще есть тяжкое преступление. Если же начальник оскорблён на шканцах, это карается вдвое...

— Но вы забываете, что начальник здесь — я, господин капитан лейтенант.

— Чёрт знает что! Это нестерпимо! — не сдержался Крузенштерн. — Кончится тем, что я засажу вас под арест, как неких лиц из вашей свиты за чинимые ими беспорядки и пьянство!

— Вы ответите перед государем императором!

— Посмотрим, кто ответит! — Крузенштерн резко обернулся:

— Спустить шлюпку, я еду на «Неву»!

...Через полчаса он вернулся с Лисянским. Офицеры опять собрались на шканцах.

— Господа, я не начальник ваш более, — сумрачно начал Крузенштерн. — Господин Резанов утверждает, что...

Его слова заглушили негодующие голоса. Больше всех шумел граф Толстой:

— Это что же! Если господин Резанов общий наш начальник, выходит, я теперь вновь у него в подчинении?

— Да поди ты к чёрту, граф, со своей персоною! — в сердцах промолвил Ратманов. — В тебе ли вопрос? Тут дело государственное... Господа, пусть Резанов покажет наконец инструкцию, о которой столько говорит!

Граф вспыхнул, стал искать на боку рукоять шпаги. Но тут же понял — теперь не до личной ссоры.

Решено было пригласить Резанова из каюты: пусть предъявит документ. Ходили за ним трижды. Даже Толстой ходил. Шемелин потом записал в «Журнале»:

«Когда ни с чем вернулся граф, послан был лейтенант Ромберг, но Начальник не хотел предстать на совет нечестивых и подвергнуть себя суду их, а паче не дать в поругание и обнаружить высочайших повелений, в которых многие есть секретные пункты...»

— Самозванец! — крикнул на весь корабль Ратманов.

В конце концов Резанов был вынужден выйти. Он появился на шканцах с бумагами в руке. Был бледен, но вид имел гордый.

— Вам, господа, надлежало бы снять шляпы из уважения к документу, пункты из которого я оглашу.

— Снимите шляпы, господа офицеры, — сказал Крузенштерн, — и оставим без внимания то, что господину посланнику, если речь идёт об уважении, тоже следовало бы иметь приличный вид.

Резанов стоял перед моряками в домашней фуфайке, в мятых панталонах, без чулок, в туфлях на босу ногу. На замечание капитана он не ответил. Поднял к глазам листы.

— Поддаваясь непомерным требованиям вашим, я прочту некоторые параграфы. Те, что имеют касательство к начальствованию, — глухо проговорил он.

И зачитал строки, из которых следовало, что начальник над всей экспедицией действительно он, Резанов.

— Немыслимо, — сказал мичман Беллинсгаузен.

— Откуда эта инструкция? Кто её подписал?! — буквально взревел Ратманов. — Почему мы ничего не знали?!

— Господин Крузенштерн знал, — ответил Резанов.

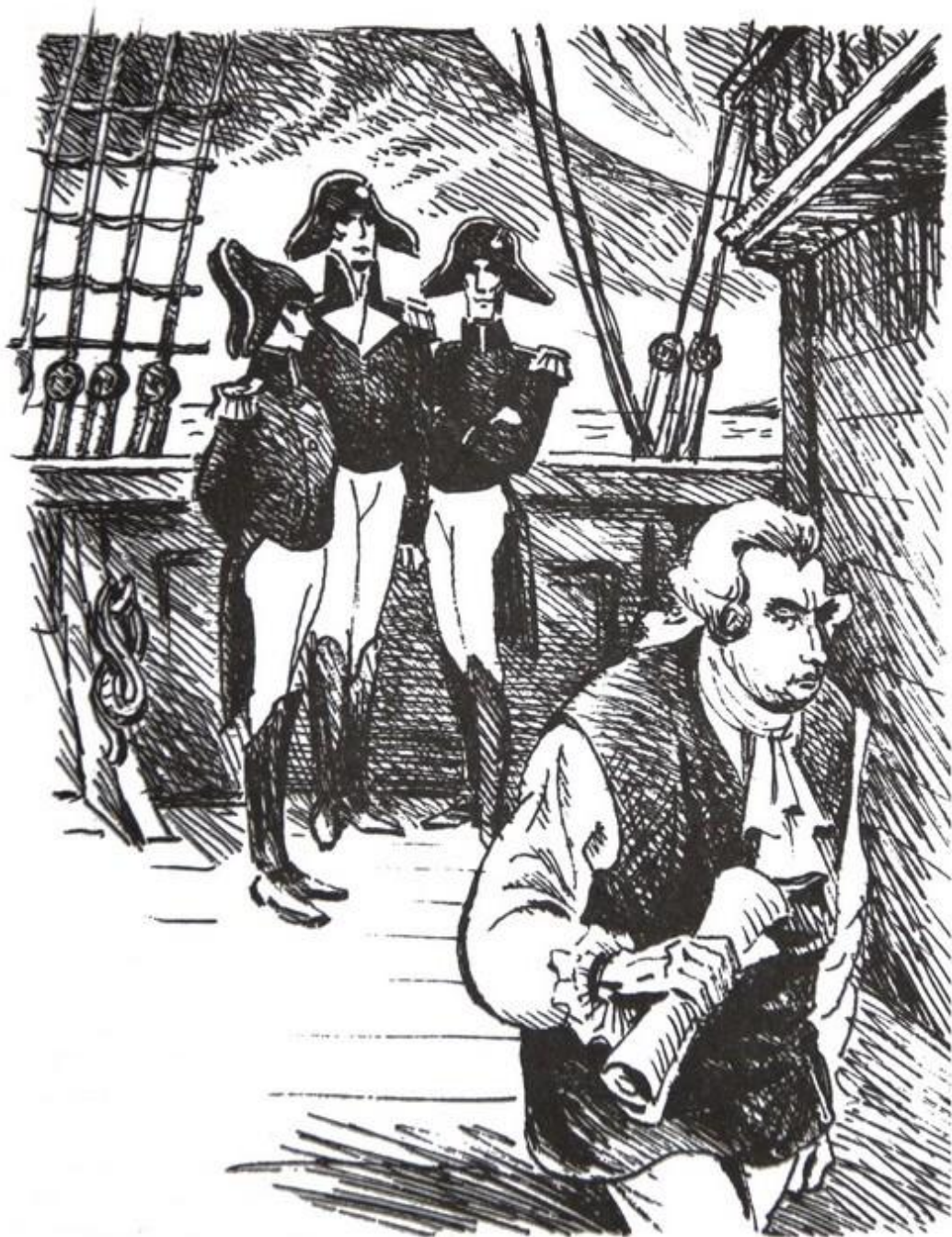
— Я не знал сих пунктов в точности! Почему вы своевременно не объявили их всем офицерам, как того требуют правила? Почему держали этот документ в секрете?

— Ни один из нас не пошёл бы в плавание на таких условиях! — воскликнул Ромберг. — Мы не желаем знать начальника, кроме Крузенштерна!

- Желания вашего не спрашивают! Ваше дело — повиноваться высочайшей воле! — Резанов судорожно свернул листы.
- Высочайшей?! — помальчишечьи воскликнул Лисянский.
- А не сами ли вы сочинили сей документ?
- Вы с ума сошли, капитан!
- Настоящая это инструкция или нет, вы всё равно обманщик, — отрубил Ратманов. Он был зол более всех. — Вы обманули министров, когда выпросили у них такие полномочия. А они обманули царя, сунув ему бумагу на подпись!
- Речи подобные слышать выше моих сил! — Резанов отступил в каюткомпанию, там слышно было, как захлопнулась дверь его каюты.

Сгоряча офицерами решено было, что, прибывши в Камчатку, станут требовать у государя одной милости: чтобы он приказал возвратить их в Петербург берегом. Ни капитан, ни его офицеры служить под начальством господина Резанова не могут, потому что характер его им теперь известен, да и оскорбление, нанесённое капитану, прощено быть не может...

- Пролез в начальники лисою! — негодовал Ратманов. — Заколотить его в каюту и никуда не выпускать до Камчатки!
- Лишь лейтенант Головачёв не разделял общего возмущения.
- Николая Петровича тоже можно понять, господа. Каково теперь его положение?
- Я не понимаю вас, господин Головачёв, — с досадой отозвался Крузенштерн. — Вчера вы возмущались, что помощник Резанова, купец Шемелин, легкомысленно пускает в обмен топоры. Сами донесли мне о том, будучи на вахте. Изза того и спор сегодняшний начат. А сейчас защищаете господина посланника...
- Я не о топорах, а о человеке, — тихо возразил Головачёв. — Я защищаю Николая Петровича, потому что каждому из нас христианский долг велит быть терпимыми к ближнему...



- Ну вот, уже проповеди! — хохотнул Ратманов. — А мыто радовались, что на корабле нет попа...
- Это не проповедь, Макар Иванович. Просто мне жаль господина Резанова. Даже посольские кавалеры его избегают...
- Видят, что виноват, — огрызнулся Толстой.
- Кто виноват, судить будут после...
- А вы хотите остаться в стороне? — запальчиво спросил Лисянский.
- Господа! — повысил голос Крузенштерн. — Не хватало ещё нам поссориться в такой момент...
Ратманов сердито нахлобучил треуголку и ушёл в каюту.
После обеда, когда страсти поулеглись и жизнь, казалось, входит в привычную колею, в каюту Ратманова шагнул подпоручик гвардии Толстой. Он был в парадном мундире и при шпаге.
- Господин лейтенант! Сегодня утром на шканцах вы сказали мне слова, которые не могут быть терпимы благородным человеком! Угодно вам выбрать оружие?
- Что такое? — Ратманов сел на койке.
- Не притворяйтесь, что вы забыли утреннюю вашу грубость. Хотите увильнуть?
- Вы с ума сошли, граф, — утомлённо сказал Макар Иванович.
— Вас мне ещё не хватало... Я первый лейтенант корабля, и служба не позволяет мне драться здесь на дуэли.
- А помоему, вы просто трус! Макар Иванович вздохнул и встал...
Через минуту вылетела на палубу шляпа с позументом, затем шпага в ножнах, а следом — хозяин шпаги и шляпы граф Фёдор Толстой с крепким синяком под глазом...
- Случай этот позабавил многих и несколько дней служил темой для разговоров и ехидных шуток в каюткомпании и на баке, где собирались матросы. Шемелин, сидя у себя в констапельской, не без юмора записывал в «Журнал», что подобный способ выяснять отношения гораздо лучше пистолетов и шпаг. Чем бы ни кончился такой поединок, оба

противника останутся живы и могут далее служить на пользу государю и отечеству... Не правда ли, здравая мысль, Толик?

— Ага... А что с Резановым?

— Резанов с той поры заперся в каюте... Давайка я тебе лучше прочитаю, что об этом пишет Шемелин. Он про состояние Резанова очень выразительно рассказывает...

Арсений Викторович поднялся, взял со стеллажа папку, поднёс к догорающим свечкам, безошибочно отыскал нужный лист. Стал читать, согнувшись над столом:

— «Обстоятельства, случившиеся в заливе ТатиоГое* (о кото рых да позволено будет мне умолчать), к тому жаркий климат и грубая пища довели его до того, что дух его лишился всей бод рости, после того воображались ему одни только ужасы смерти и ежеминутные о том опасения (хотя не было к тому никаких при чин). Он при малейшем шуме, стуке, на шканцах или в капи танской каюте происшедших, изменялся в лице, трепетал и трясся; биение сердца было непрерывное. Он долгое время не мог приняться за перо трясущимися руками чтолибо изобра жать на бумаге; здоровье его в продолжение пути до Сандвиче вых островов сколько за неимением свежей пищи, а больше от возмущения душевного и беспокойств разного рода, так изну рилось и изнемогло, что мы опасались лишиться его навеки».

Курганов захлопнул папку (отчего огоньки свеч заметались и едва не погасли).

— Вот так и плыл Резанов и до Сандвичевых островов, и дальше, до самой Камчатки...

Толик почувствовал, что ему жаль Резанова. Но и досадно стало.

— А чего он так трясся? Даже Шемелин пишет, что причины не было...

— Мне кажется, Резанов испугался не Крузенштерна, а своей беспомощности. Такой вельможа, такой чин — и вдруг на ~~кораб~~ ле оказался без власти. Это его потрясло и сломило. Даже те, кто

* Туземное название бухты АннаМария у Нукагивы, где стояли Надежда и Нева. Шемелин называет её также Тиогай и ТаиоГое.

числился в его свите, избегали посланника. Да ещё любимый повар его умер от чахотки, когда шли у Сандвичевых островов... В общем, несладко было Николаю Петровичу Резанову.

Зато на Камчатке он отвёл душу.

Едва ступив на берег в Петропавловске, Резанов объявил коменданту: «На корабле „Надежда“ бунт против государя императора!»

— Ничего себе! — сказал Толик.

— Да... И отправил в Нижнекамчатск гонца за губернатором Кошелевым и ротой солдат для усмирения мятежного капитана...

Крузенштерн в своём «Путешествии вокруг света» ничего не пишет о ссоре с Резановым. Для него главное — плавание и открытия. И всё же про этот эпизод в Петропавловске он сделал язвительное примечание: «Кому образ езды в Камчатке известен, тот ясно представить себе может, каких трудностей долженствовал стоять поспешный переезд 60 солдат из Нижнекамчатска в Петропавловск, отстоящий на 700 вёрст».

Резанов объявил Крузенштерна отрешённым от капитанской должности, поселился в доме коменданта и стал ждать губернатора, чтобы учинить судебное разбирательство.

Крузенштерн делал вид, что его это не касается. Занимался подготовкой «Надежды» к пути в Японию (хотя Резанов отказывался плыть дальше), ремонтом и разгрузкой... И удивлялся беспорядкам и бедности в хозяйстве знаменитой РоссийскоАмериканской компании, о богатстве которой в Петербурге ходили легенды. Приказчики воровали. Рядовые промышленники болели цингой, бедствовали и спивались. Людей не хватало. Некому было даже доставить из трюма на склады грузы. Основные товары в конце концов выгрузили, но полосное железо, что лежало в самой глубине, на месте балласта, осталось на корабле.

— Какое железо? Это обломки обручей, что ли? — Толик опять поморщился.

— Нет. Полосы ковкого железа, из которого в кузницах делают разные предметы — для кораблей, для мастерских... Там,

в дальнем краю, оно было очень нужно. Однако выгрузить оказалось некому. Матросы занимались работами на корабле, на берегу людей не хватало.

— Так и привезли железо обратно в Кронштадт?

— Нет, но выгрузили гораздо позже, при третьем заходе на Камчатку. А сперва свозили в Японию и к Сахалину...

Я знаешь почему про это железо говорю? У меня в голове всё время вертится сравнение: как железо лежало в трюме, так на душе у Крузенштерна лежала тяжесть. Чем это кончится? Он собрал всё своё мужество и нёс свою службу, словно ничего не случилось. С невозмутимым видом расхаживал по палубе, следил за работами, давал поручения офицерам, находил время пошутить с матросами. А ночью писал в большой тетради из грубой синей бумаги скрипучим пером из гусяного крыла свои наблюдения о жизни нукагивцев, о плавании к островам Сандвичевым и о том, как в непрерывных туманах, выполняя поручение министра коммерции графа Румянцева, искал он остров Огивапотто, которого не было на свете... Ни перед кем ни разу не выдал он тревоги. Но он же понимал: обвинение в бунте может стоить не только должности и чина, но и головы...

Наконец прибыл генералмайор Кошелев с солдатами. Начались разборы. При губернаторе снова Резанов назвал Крузенштерна бунтовщиком. Тот с холодным спокойствием выложил на стол шпагу:

— Отправьте меня в Петербург. Плыть с вами, ваше превосходительство, дальше не считаю возможным.

— Это я не считаю!

— Тем более...

Неделю шло разбирательство. Ух как бушевал Резанов! Снова слышались слова: мятеж, бунт, каторга. Моряки понимали, что это не пустые угрозы. Сейчас на стороне Резанова была сила, была власть.

Всё было... кроме корабля.

Посланник мог лишить Крузенштерна командирской должности (и не раз объявлял об этом), мог устроить суд, мог, наверно, и в кандалы заковать строптивного капитана. Но

заставить его вести корабль не мог, если тот не захочет. А плыть то было надо. Не выполнить волю императора и отказаться от посольской миссии его превосходительство не смел.

И Крузенштерн понимал, что надо плыть. Не ради посольских дел, не ради торговых планов. Для новых открытий, для науки. Для славы России и её флота. Чтобы никто не сказал потом, что русские так и не сумели обойти вокруг света...

Понимал это и генералмайор Кошелев.

Положение у губернатора оказалось трудное. Как представитель власти, он обязан был поддерживать посланника, царского вельможу с полномочиями. А почеловечески он сочувствовал Крузенштерну. Целых семь дней он с утра до вечера вёл разговоры, стараясь помирить Резанова и офицеров «Надежды». Наконец примирение состоялось.

Резанову дали несколько солдат для личной охраны и большего почёта. Кавалерами посольства были зачислены капитан местного гарнизона Фёдоров и брат губернатора поручик Кошелев. Живописец Курляндцев и доктор Бринкин, утомлённые плаванием, отправились через Сибирь домой. Отбыл в Петербург и Фёдор Толстой. И Крузенштерн, и Резанов одинаково рады были избавиться от скандального графа.

Окончание тяжких споров отпраздновали обедом на борту «Надежды» и салютом из пушек.

Дольше всех непримиримым оставался Ратманов. Требовал отправить его в Петербург, видеть не мог Резанова. Но уступил уговорам Крузенштерна, с которым они были «в совершенном дружестве». Тут, кстати, пришёл приказ о производстве Ратманова в капитанлейтенанты.

Вскоре «Надежда» отправилась с посольством в Японию...

- А «Нева»?
- Да «Невы» и не было в Петропавловске! Она же ещё от Сандвичевых островов ушла своим маршрутом на Кадьяк!
- Ох, правильно. Я и забыл...
- Заговорил я тебя, Толик. Ты уже спишь...

- Нет... А с лейтенантом Головачёвым то что было? Почему он застрелился?
- Это ещё долгий разговор... Тут опять многое связано с Резановым. Ты ведь читал у Нозикова о посольстве в Японию? Успеха там Резанов никакого не добился. Японцы жили замкнуто, вели торговлю только с голландцами и корабли других наций видеть у себя не хотели. Тогда Резанов... Э, да ты, кажется, спишь?
«Нисколько, — не то прошептал, не то подумал Толик. — Вы, пожалуйста, рассказывайте...»

Курганов что-то сказал ещё, потом стало очень тихо. Только стучал в этой тишине хронометр. Будто на звонкое полосное железо роняли медные гвоздики.

Завести часы!

Утром, когда Толик с Султаном примчались домой, оказалось, что Варя тут как тут. Она прямо с новогоднего вечера в институте отправилась на вокзал, удачно купила билет на проходящий поезд Москва — Владивосток и в семь часов была уже дома.

Варя затормошила Толика, расцеловала его, расхвалила ёлку, а Султан прыгал вокруг и пытался взвалить передние лапы Варе на плечи. На ёлке вертелись и позванивали шары...

Вечером пришли гости — Варины бывшие одноклассники, мамина подруга тётя Римма. И Дмитрий Иванович пришёл. Принёс Толику в подарок книжку «800 лет Москвы»... Мама послала Толика к Эльзе Георгиевне, чтобы пригласить и её.

В комнате Эльзы Георгиевны стояла мебель с завитушками и чёрное пианино с медными подсвечниками. А на коричневых обоях всюду белели наклеенные бумажные солдатики. Всякие. И старых времён — в ботфортах и треуголках, и красноармейцы в будёновках, и заграничные какието — в касках непривычной формы. Были и гладиаторы (как Спартак на коробке с

карандашами), и севастопольские матросы прошлого века, и крестonosцы (как в фильме «Александр Невский»). Когда Толик с мамой переехали в этот дом и зашли к Эльзе Георгиевне познакомиться, Толик просто глаза вытаращил. Мама тоже с интересом смотрела на солдатиков. А Эльза Георгиевна сказала непонятно:

— Пусть. Мне уже ничего не страшно...

Сейчас Эльза Георгиевна поотказывалась от приглашения, а потом пришла. Патефон сипловато играл «РиоРиту». Варини друзья танцевали, цепляя плечами ёлочные ветви. Эльза Георгиевна с Дмитрием Ивановичем и тётёй Риммой чокнулась рюмочкой ликёра, поулыбалась, потом поднялась и стала разглядывать ёлку.

— Красавица, — сказала она. — Ах, какая красавица... (Будто и не удивлялась недавно, зачем такая.) Вадим Валентинович тоже любил ёлки. Как ребёнок. И всегда делал сам игрушки, особенно солдатиков... Странное увлечение, да? Характер был — мухи не обидит, а увлекался солдатиками... — Она вдруг коротко, со всхлипом рассмеялась: — Ну скажите, кому мог помешать тихий бухгалтер со своими бумажными солдатиками?

Дмитрий Иванович встал и чтото негромко стал ей говорить. Толик смотрел с беспокойством: Эльза Георгиевна могла расплакаться... Но к нему подскочила Галя — Варина подруга:

— Толик! Пошли танцевать! Тоже мне, кавалер, стоит и глазами хлопает! — И завертела его по комнате.

...На следующий день Варя умчалась в свой Среднекамск. А каникулы покатались, как и полагалось каникулам, — беззаботно и до обидного быстро. Днём Толик убежал на городскую площадь, где стояла ёлка, вертелась под музыку карусель, а на ледяных горах мальчишки катались на фанерках и устраивали игру в «пятьсот весёлых». Или с ребятами из своего класса, с Васькой Шумовым и ещё с кемнибудь катался со склонов Земляного моста в логу. Особенно хорошо было кататься при луне. Луна стала уже почти круглая, и снег сверкал под ней голубыми огоньками, а ели и крыши сказочно чернели на зелёном небе...

Один раз Толик зашёл к Арсению Викторовичу. Тот сидел за столом и писал. Толику он обрадовался:

— Молодец, что пришёл! А я вот тут... Решил немного про детство Ивана Фёдоровича написать. Как он на «Надежде» вспоминает свои игры с братьями. У него много братьев было...

Толик почувствовал: хотя и рад ему Арсений Викторович, а хочет поскорее остаться один. Видно, не терпится ему опять сесть за рукопись... Но, торопливо прощаясь, Толик всё же не удержался от короткого разговора:

— Арсений Викторович, вот эта карта у вас — она морская?

— Вполне... Это меркаторская карта мира. Был такой учёный — Герард Меркатор, он придумал эту картографическую проекцию, когда параллели и меридианы пересекаются под прямым углом. Очень удобно для штурманского дела... Я, наверно, непонятно объясняю?

— Понятно, — соврал Толик. — Она с корабля?

— Едва ли. На судах карты поменьше, а такие висят в паролходных конторах, в кабинетах адмиралов... Я её добыл случайно в Ленинграде у родственников давнего знакомого. Она была спрятана в старый диван, и её чудом не сожгли... До войны у меня была такая же, я на ней проложил весь путь Крузенштерна...

— Здесь тоже он начерчен, — заметил Толик.

— Да, только более схематично. Я его по памяти прокладывал... А на той было всё точнейшим образом. У Крузенштерна в третьем томе «Путешествия» есть таблицы с ежедневными координатами «Надежды», вот я по ним... Впрочем, это не так уж важно. Главное — основные пункты. Порты, острова...

Толик нашёл глазами Нукагиву, потом остров Святой Елены. И подумал, что до сих пор не знает подробностей о лейтенанте Головачёве. Но не время было расспрашивать...

По вечерам Толик с гудящими от дневной беготни ногами и с ощущением сладкой беззаботности устраивался с книжкой под ёлкой. Ёлка всё ещё стояла свежая, не осыпáлась. Читал Толик второй раз «Русских кругосветных мореплавателей» (хотя

Арсений Викторович и ругал автора Нозикова, но всё равно было интересно), читал «800 лет Москвы». А ещё — толстую потрёпанную книжку, где были разные повести и рассказы: про поиски корабля «Чёрный принц», про разные смешные случаи, про весёлых ребяташек Миньку и Лёлю. Правда, мама разрешала эту книгу читать, только если нет посторонних. Потому что о писателе Зоценко было сказано недавно, что он вредный и ошибочный.

Конечно, ничего вредного в весёлых рассказах не было, это мог увидеть любой, кто умел читать. Скорее всего, писатель просто поругался с начальством, как прошлым летом поругалась мама с ответственным секретарём газеты, и тот пообещал «написать куда следует». Хорошо, что вмешался главный редактор. А у писателя, видимо, не нашлось такого редактора...

У мамы, кажется, и сейчас, в январе, что-то не ладилось на работе. А может быть, в отношениях с Дмитрием Ивановичем. Иногда она приходила домой расстроенная и сердитая. Так случилось и в тот день, когда Толик получил обидную, дурацкую двойку.

Давно уже кончились каникулы, и шла «решающая» третья четверть. На уроке истории Васька Шумов спросил Толика, пойдёт ли тот сегодня в лог кататься на лыжах. Толик сказал, что у лыжи порвался ремень. Васька сказал: «Долго починить, что ли?..»

А Вера Николаевна (у которой, видно, тоже было сегодня неважное настроение) скрестила могучие руки и спросила:

— Нечаев и Шумов! О чём я сейчас говорила?

Ваське откуда знать? Встал и глазами хлопает.

— Как богатые казаки предали Пугачёва... — прошептал Толик.

— Нечего подсказывать! — грозно заявила Вера Николаевна.

— Умник какой! Сперва отвлекает соседа по парте, а потом ещё подсказывает! Давайте оба дневники!

Это было так несправедливо, что хоть волком вой. Но не реветь же при целом классе. Васька и Толик понесли к столу тощие самодельные дневники (настоящих ни у кого в Новотуринске не было, они, говорят, только в больших городах выдавались школьникам).

— Балда, — шёпотом сказал Толик Шумову. — Изза твоих дурацких разговоров...

Васька даже не огрызнулся, только сопел.

Толик не скрывал от мамы своих двоек (в общемто, довольно редких). А про эту тем более молчать не собирался. Наоборот, он вправе был рассчитывать даже на мамино сочувствие. В самом деле, за что двойка? Если бы он урока не знал...

Но мама сообщила Толику, что он балбес, разгильдяй и двоечник. Нормальные ученики не треплют языком на уроках, а слушают учительницу. И будет неудивительно, если Толик схватит по истории двойку за четверть, а потом за год и его не допустят к выпускным экзаменам в начальной школе.

Это была уже совсем чушь непролазная, но ведь маме так не скажешь. И всё же Толик не удержался:

— Я не виноват... — начал он и от обиды чуть не брякнул: «...что ты опять с Дмитрием Ивановичем поссорилась». Но, к счастью, удержался. Сказал только: — ...если у тебя какiegо неприятности.

Мама сообщила, что главная её неприятность — это сын, который растёт бестолочью и таскает из школы двойки.

— Не двойки, а двойку! Да и то ни за что!

Мама оделась и ушла, крепко стукнув дверью. То ли в редакцию на сверхурочную работу, то ли по другим делам. Толик не любил, когда мама уходила вот так, не сказав, куда и надолго ли. И страдал целый вечер. А она вернулась поздно. Толик обрадовался, но тут же вспомнил все обиды и молча улёгся спать.

Так и случилось, что о важном и тревожном событии узнал он лишь утром.

Когда Толик торопливо глотал жареную картошку, мама сказала:

— Арсения Викторовича положили в больницу, очень обострился бронхит. Он вчера звонил мне оттуда... Просил тебя зайти к нему домой, завести часы, чтобы не остановились. Сказал, что ключ от комнаты под крыльцом, под нижней ступенькой...

Толик уронил вилку.

— А когда положили?

— Ещё позавчера. А вчера в обед он позвонил.

— Что же ты вчера не сказала! — взвыл Толик.

— Вчера? Ты мне такой сюрпризик принёс...

— Да при чём тут сюрпризик! Часыто остановятся!

— Ну и что? Заведёшь, и опять пойдут...

Трагить время на объяснения не имело смысла. Всё решали минуты...

Толик не был примерным учеником. Но и прогуливать уроки ему ещё не приходилось. Это вам не двойка, лёгкой нахлобучкой тут не кончится. И, конечно, решился на такое дело он не без терзаний. Но терзания эти не были слишком велики, и — самое главное — испытывал их Толик на бегу, когда по тёмным ещё улицам мчался не к школе, а к дому Курганова. Потому что сильнее всех мыслей была мысль о хронометре. Лишь бы успеть!

Что он скажет Арсению Викторовичу, если хронометр остановится? Мама виновата?

Не важно, кто виноват, если часы встали. Они не должны стоять, это морской закон.

Это не только Курганова часы, они ещё и Толика... немного... Под их живое стучанье он уходил в плавание с Крузенштерном. И если Толик не успеет, он... Будто он не сумел кого-то спасти!

Ключ Толик отыскал сразу. Снял всячий замок, проскочил сени (сшиб при этом коромысло), влетел в комнату.

И сразу понял, что опоздал. Сумрак покинутого хозяином жилья заполняла глухая тишина.

Толик нащупал выключатель. Коричневый ящик со стеклянной крышкой стоял посреди стола. Толик, всё ещё на что-то надеясь, поднял крышку...

Хронометр остановился совсем недавно, в те минуты, когда Толик выскочил из дома и спешил сюда. Стрелки показывали восемь часов семь минут. И двадцать три секунды... Маленькая стрелка на счётчике завода дошла до числа сорок восемь. Больше двух суток пружина не тянула...

Толик с минуту потерянно смотрел на белый циферблат с римскими цифрами и маркой английской фирмы — слово «СООКЕ» в круге с большой буквой С.

Изпод деревянного футляра выглядывал уголок бумаги. Это была записка.

«Толик!

Довёл меня мой бронхит до больницы. Обо мне-то позаботятся, а о хронометре позаботиться некому. Очень тебя прошу, будь его хозяином, пока я не вернусь, возьми его домой, заводи каждое утро в восемь. Мне кажется, я даже поправлюсь скорее, если буду знать, что он тикает исправно.

Большая просьба: уложи хронометр в сумку (она под столом) и носи плавно. Не ставь на стопор, пусть будет как на корабле во время движения...

Я на тебя надеюсь, Толик. Спасибо тебе заранее.

А. Курганов».

Он надеется... Что делать?

Завести хронометр снова — дело нехитрое. Но как поставить точное до секунды время?

В девять часов будет по радио сигнал точности. Можно отвинтить стекло, установить стрелки на девять и при сигнале резко крутнуть футляр за ручки. Арсений Викторович говорил, что именно так пускают заведённые хронометры... Да, но секундная стрелка не вверху, не в начале круга. А руками эту стрелку не переведёшь, она — чуткая и тонкая — намертво

связана с механизмом. Можно лишь дожидаться, когда она дойдёт до ноля, и остановить, задержав балансир. Но для этого надо вынимать механизм. Живой, хрупкий, точнейший... Толик на такое никогда не решится. Он видел только раз, как это делает Арсений Викторович, а чтобы самому — страшно и подумать!

Но как же бытьто?!

Толик не верил в приметы. Он считал глупостью, когда люди суют палец в чернильницунепроливашку, чтобы не получить двойку за контрольную. Не боялся запинаться левой ногой, проходить под косыми подпорками телеграфных столбов и вовсе не считал, что белая бабочкакапустница приносит беду. Даже к чёрным кошкам относился без опаски... Правда, летом, если накатывала грозовая туча, Толик сцеплял пальцы в замочек и шептал: «Я не твой, я не твой, обойди стороной...» Но это потому, что с грозами не шутят. В позапрошлом году на углу Запольной и Казанской молния в щепки разнесла столетний тополь. Толик с мамой под зонтиком бежали к дому, а тут как шагнуло!..

Да, в приметы он почти не верил, но сейчас казалось, что замерший хронометр предвещает беду своему хозяину. И чем дольше он стоит, тем хуже Арсению Викторовичу...

Толик беспомощно глянул по сторонам. С рисунка на карте на него смотрел — совсем не весело, укоризненно — бородатый Нептун. Надо было что-то решать.

Толик подумал, что выход один: пусть Арсений Викторович сам заведёт и пустит хронометр.

Больницу Толик искал больше двух часов. Он знал, что она гдето на краю города, за фабрикой «Красный обувщик». Но оказалось, что там инфекционная больница, а больные бронхитом лежат в другой, у стадиона. Толик поехал туда — на тряском зелёном автобусе, который нырял в рытвинах не хуже парусника на волнах (хорошо, что хронометр в кардановом подвесе). Потом Толик долго ходил вдоль серого больничного забора и наконец нашёл калитку с табличкой «Приёмный покой».

Отчаяние прибавило Толику храбрости, и в домике приёмного покоя он толково изложил свою просьбу ворчливой тётеньке в пятнистом халате — не то санитарке, не то уборщице. Надо, мол, узнать, в какой палате лежит Арсений Викторович Курганов, и надо повидать этого Арсения Викторовича по дозарезу важному делу.

Фамилию Курганова тётенька в списке нашла. Но пустить Толика отказалась. Не полагается, мол.

— Но почему не полагается? Это же не заразная больница!

— Ишь ты, «не заразная»! Мало ли что! Детей вообще пускать не велено — это раз! К тем, кто недавно поступил, совсем никого так быстро не пускают — это два! И часы неприёмные!

Толик уронил слезу. Санитарка смягчилась. Как раз вышел из внутренней двери и стал копаться в списках усатый мужчина в пальто, изпод которого выглядывал белый халат.

— Игорь Семёнович, тут вот мальчонка просится к больному в третью палату, дело, говорит, первой важности...

Но мужчина, не отрываясь от бумаг, хмуро сказал:

— Какая третья палата... Сегодня по всему корпусу объявляем карантин. — Выдернул листок и ушёл.

— Вот! — сказала тётка. — Хоть плачь, хоть не плачь.

Карантин — дело категорическое.

И Толик, хлюпая носом, ушёл. Он решил было на отчаянный шаг: отыскать в заборе щель, потом найти корпус с третьей палатой. Может, проскочит. А поймают — не убьют же... И не страх остановил Толика, а неожиданная мысль: Курганову нельзя знать, что хронометр остановился!

Толик — дурак! Надо было сразу сообразить: Арсений Викторович расстроится! Для него непрерывный ход хронометра — это своя важная примета. Не зря же звонил маме, просил Толика... Ему и так несладко, а когда он узнает о хронометре, совсем разболеется. А вдруг и... ну, всякое же бывает...

Была оттепель, серый снег оседал у заборов, горланили в больничных тополях вороны. Толик побрёл к дому пешком, потому что мелочи на автобус уже не было. Мимо стадиона,

мимо рынка, потом по длинному проспекту Коммунаров... Недалеко от почты он увидел синюю вывеску «Часовая мастерская».

И опять отчаяние добавило ему смелости...

В мастерской было тихо, но тишина эта состояла из разного тиканья десятков часов. Они висели на стенах и лежали на прилавке — за стеклянной перегородкой с окошком. Там же, за стеклом, Толик увидел пожилого лысого мужчину с мясистым носом. В глазу мужчины торчала короткая серебристая трубка — он разглядывал через неё часики.

Толик сказал «здрате», мастер уронил трубку в ладонь и крутнулся на стуле (видно, стул был вертящийся).

— Вам что, молодой человек?

— Скажите, пожалуйста, вы не могли бы завести и пустить хронометр? Только точно, до секунды...

— Хронометр?

— Ага. Морской... Он остановился.

— Любопытно... — Мастер вытянул худую шею. — Разрешите посмотреть...

Толик, задержав дыхание, вынул ящичек из сумки. Двинул его в окошко по скользкому стеклу прилавка.

— Он исправный, только его не успели завести...

— Такс, такс, такс... — произнёс мастер, словно подражая крупным часам. И умело откинул крышку. — Любопытно... В самом деле. Откуда у тебя столь интересный прибор?

— Это моего знакомого. Его в больницу положили, а он просил меня завести, а я не успел.

— Непростительная небрежность.

— Я не виноват, я поздно узнал...

— Что узнал? — Мастер быстро глянул на Толика.

— Ну... что он просил...

— Странно... Ладно. — Мастер придвинул к себе стопку бумажек и карандаш. — Фамилия?

— Чья? Арсения Викторовича?

— Твоя.

- Зачем? — удивился Толик. И встревожился.
- Должен же я заполнить квитанцию.
- А... что, надо деньги платить? — растерялся Толик.
- Не в деньгах дело. Просто мне надо оформить заказ.
- Тут же только стрелки поставить да завести...
- Это неважно. У нас, молодой человек, порядок. Я — не частная лавочка.
- Нечаев моя фамилия, — сказал Толик. — Анатолий... Адрес надо? Запольная, одиннадцать.
- Угу... Школа и класс?
- Это, что ли, тоже для квитанции?
- Тоже.
- Пожалуйста... Десятая, начальная. Четвёртый «А».
- Прекрасно... Вечерком зайди.
- Почему вечерком? Тут же пустяк...
- У меня заказы. Не могу я заниматься твоими часами без очереди. К шести приходи. Лучше, если с хозяином хронометра.
- Он же в больнице!
- Тогда с мамой или папой.
- Зачем?
- Ну, подумайте, молодой человек, — ласково произнёс мастер и уставился на Толика похожими на коричневых жучков глазами. — Вы приносите мне уникальную вещь. Рассказываете довольнотаки путаную историю...
- Вы что, думаете, я украд? — тонким до звона голосом спросил Толик.
- Я ничего не думаю. Придёшь вечером с кемнибудь из взрослых — всё будет ясно...
- Тогда... тогда квитанциюто дайте! Что хронометр у вас...
- Квитанции мы детям не даём. Вот придут мама или папа...
- А зачем тогда писали? — обмирая, спросил Толик. Он понял, что попал в новую беду. В самую большую сегодня.
- Писал, потому что писал... Да свиданья, молодой человек. Помоему, вам в этот час надо быть на уроках...

— Подождите... — Мысли Толика застучали отчётливо, как шестерёнки. — А вдруг мама к вам без меня придёт? Я... я со второй смены учусь. А мама вас не знает. Напишите хоть вашу фамилию.

Не нужна ему фамилия мастера. Надо только, чтобы часовщик хоть на две секунды отвлёкся. Вот так: он пожимает плечами («Фамилию? Пожалуйста»), берёт карандаш, наклоняет голову...

Толик стремительно сунул в окошко руки, захлопнул крышку футляра, быстро — очень быстро, но плавно, без рывка — потянул к себе хронометр. Мастер вздрогнул, рука его шлёпнула по тому месту, где только что стоял ящик. Поздно!

Толик ухватил футляр за ручки и спиной толкнул дверь. Услышал за собой крик. Побежал.

Он очень торопился, но даже в этом отчаянном беге помнил, что нельзя делать резких толчков. И старался, чтобы хронометр словно летел перед ним по ровной линии... Брезентовая полевая сумка с учебниками прыгала на боку. Валенки стали тяжёлыми, будто сыростью набухли. Несколько раз показалось Толику опять, что сзади кричат, даже милицейский свисток почудился. Но это уже явно с перепугу...

Отдышался он только дома. Сел на кровать, поставил хронометр перед собой на половик. Стал думать с горьким удивлением: что получилось? Почему несчастья цепляются одно за другое?

Может, не стоило бежать?.. Ага, а если бы часовщик вечером сказал: «Какой хронометр? Я этого мальчика первый раз вижу. Квитанция есть?» Не бывает, что ли, жуликов среди часовых мастеров? Эльза Георгиевна рассказывала, как ей до войны подменили золотой корпус часиков позолоченным...

Впрочем, какой смысл гадать, что «было бы»? Хронометр — вот он. И что делать дальше?

Стучали ходики. Неточные, домашние. Но, так или иначе, они показывали половину второго, и это было почти правильно, если не придирается к одной-двум минутам. Странно, что мама ещё не пришла на обед... Дребезжаще играло бодрую музыку



радио. Через полчаса, в двенадцать по московскому, в два по местному, будет опять поверка времени.

Решайся, Толик...

Казалось, что если хронометр заработает, все неприятности — и вчерашняя двойка, и сегодняшний прогул, и то, что за этот прогул будет потом, — сделаются мелкими, неважными. И болезнь Арсения Викторовича окажется неопасной. И повесть «Острова в океане» будет дописана... И всё будет правильно, справедливо.

Толик поставил хронометр на стол. Открыл футляр. Повернул влево стекло в медном зубчатом ободке. Ободок пошёл по резьбе мягко, легко, это прибавило Толику смелости.

Он свинтил до конца и отложил стекло.

Теперь надо было сделать то, что казалось самым опасным.

Толик положил растопыренные пальцы левой руки на края циферблата. Сердце застучало так, словно где-то в пищеводе запрыгал тугой резиновый мячик. Толик переглотнул. Он понимал, что, если что-то надломит, сорвёт, нарушит в тонком организме точнейшего прибора, не будет прощения. Ни от Арсения Викторовича, ни от мамы, ни от себя. Ни от всего белого света.

Но отступить он уже не мог. Медленномедленно стал поворачивать котелок хронометра в кольце. Дальше, дальше... Ну, скоро ли? Ой... Механизм тяжело выскользнул из котелка и осел у Толика в пальцах. Секундная стрелка на миг щекочуще коснулась ладони.

Нельзя, чтобы касалась, она такая чуткая, незащитная.

Вот оно, сердце хронометра. Медные колёсики и валики с щечкой. Вот он — горизонтальный балансир. Оказывается, это не кольцо, а два полукольца.

Толик, стискивая пальцы на краях циферблата, опять повернул механизм стрелками вверх. Задержав дыхание, ногтем толкнул грузик балансира.

«Диньтак, диньтак...» — радостно ожил хронометр. Секундная стрелка побежала по своему кругу. Но через несколько мгновений опять замерла — не было завода...

Толик качнул балансир ещё. Ещё... Вот уже стрелка рядом с числом шестьдесят. Не проскочила бы! Стоп... — Толик придержал медный цилиндрок. Точно!

Теперь положить механизм обратно в котелок (от него пахнет медью, как от старой артиллерийской гильзы, которую Толик выменял у Васьки Шумова на трубку от противогаса). Опускать надо легко, чтобы механизм не вырвался, не стукнул о край... Ой, чтото всё же стукнуло! Это контрольный шпенёк вошёл в прорезь на кромке котелка, это ничего...

Теперь — перевести большие стрелки. С ними просто, почти как на ходиках. Главное, чтобы минутная оказалась строго на верхней черте. Вот так. Два часа...

Толик навинтил стекло.

До пуска оставалось ещё одно дело — завести пружину. Но это уже легче, Толик это умел. Надо лишь стараться, чтобы хронометр не затибал сам собой, раньше сигнала! Тогда начинай всё снова.

Не затибал...

Толик поставил карданное кольцо на стопор и стал ждать.

Как всегда в таких случаях, минуты тянулись, будто разжёванная ириска. И, конечно, Толик извёлся: то шагал из угла в угол, то на ходики смотрел, то пробовал читать новую «Пионерскую правду». То садился, то вставал... Можно было бы разогреть суп и пообедать, но про это и думать не хотелось... Думалось про сегодняшние приключения. Вспомнилось и то, что сумка от хронометра осталась в мастерской... Ну и пусть. Она старая, порванная, Арсений Викторович не рассердится.

Лишь бы хронометр пошёл...

Наконец радио сказало деловитым женским голосом:

— После проверки времени слушайте последние известия. А сейчас, товарищи, проверьте часы. Третий, короткий, сигнал даётся в двенадцать часов по московскому времени...

И «щёлкщёлк, щёлкщёлк» — застучали в репродукторе самые точные часы страны. Когда Толик их слышал, ему представлялась мощёная площадь, строй солдат, а вдоль строя идёт отдавать рапорт офицер с саблей наголо. Сухо бьют о

камень подошвы блестящих сапог. Солнце дрожит на кончике клинка. И так — целая минута. Потом офицер останавливается...

— Вот он, голубчик! Полюбуйтесь, Вера Николаевна!

Что это? Он и не слышал, как мама вошла! Слышал только щёлканье и, сжавши медные ручки футляра, готовился толкнуть хронометр. Но...

— Вот он!.. Где ты был?!

И Вера Николаевна здесь. Онато зачем?.. Нет, это потом. Всё потом!

— Ну подождите пять секунд! — Он сказал это так отчаянно, что мама и Вера Николаевна замерли.

...Офицер остановился перед генералом. Метнулась сабля — в три приёма: вверх, в сторону, вниз! Тонко поёт рассекаемый воздух: «Пиу... пиу... пинь!»

Раз! — Толик резко повернул ящик. И обмер: стрелка стояла... Но она стояла лишь очень краткий миг. Просто этот миг показался Толику нестерпимо долгим. И вот: «Диньтак, динь так...»

Толик обернулся: теперь с ним делайте, что хотите.

Портрет

В одну минуту узнал Толик, что человек он конченный. Мало того, что хватает двойки и сбегает с уроков, так ещё впугался в какуюто скандальную историю с часами! Надо же — в школу звонят из мастерской! Ученик — воришка. Бедная Вера Николаевна! Она бросает все дела и мчится к прогульщику Нечаеву! И встречает маму, которая и не ведаёт о похождениях милого сына. Мама думала, что он уже взрослый. Что ему можно доверять...

Толик был не из тех людей, которые упираются в пол глазами и каменно молчат, когда на голову сыплются упрёки. А если упрёки несправедливые — тем более!

Это онто воришка? Мастер сам хотел зажилить часы Арсения Викторовича, жулик несчастный!.. Ну и что же, что взрослый?

Не бывает, что ли, взрослых жуликов? Обидно стало, что не сумел присвоить хронометр, вот и наябедничал в школу!..

Кто прогульщик? Прогульщики те, кто вместо уроков в кино ходят или на каток! А он больницу искал... А что было делать, если часы встали? Он, что ли, виноват? А кто ему не сказал вовремя про звонок Арсения Викторовича, молчал целые сутки?.. Конечно, как правду скажешь, так сразу «не смей грубить»... Ну и что же, что двойка? Хронометр то при чём? Да и двойкато ни за что! Если всем двойки ставить, кто к соседу повернётся и два слова скажет, тогда сплошь второгодники будут... Конечно, сразу «нахал»... Ну и пожалуйста, хоть поленом... Ох уж, никогда не лупила! А летом кто его огрел по шее пучком моркови?.. Ага, «шутя»! Ничего себе шуточки...

Что «после школы»? Должен был отсидеть уроки, а потом идти к Арсению Викторовичу? Ну почему никто не хочет понять: надо было успеть, пока хронометр не остановился!

- Ну а потомто! — Мама возмущённо и беспомощно всплеснула руками. — Когда ты увидел, что он *всё равно остановился*, почему нельзя было пойти на уроки?
- Но когда ~~случилось~~, я думал, что ли, об уроках? — в сердцах сказал Толик.
- Вот! — Мама устремила в него палец и повернулась к Вере Николаевне. — С этого и начинается, верно? Сначала человек не думает об уроках и хватает двойки, потом болтается по городу, попадает в дурацкие истории. А там, глядишь, и в милицию. И до колонии недалеко...
- Тпру... — вдруг сказала Вера Николаевна. Словно лошадь останавливала. Во время перепалки мамы с Толиком она сидела на стуле, куталась в шаль и молчала — грузная, с большим морщинистым лицом и крупными руками в синих жилках. И вот: — Тпру... — Так она обычно в классе утихомиривала расшумевшихся своих питомцев. — Давайте ка, Людмила Трофимовна, передохнём... Чего то не туда мы поехали, за пять минут человека до колонии довели... А ты перестань реветь, мужик ведь...

- Мама удивлённо притихла. Толик быстро вытер глаза.
- Давай тека разматывать обратно, — решила Вера Николаевна.
— Значит, что? Часовщик этот... Ну, с ним ясно, есть такие шибко бдительные... Теперь уроки... Ну, бывает иногда в жизни и такое. Если неожиданное срочное дело, куда денешься? Это, как военные люди говорят, «непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства». Муж у меня так говорил... А обстоятельствато, я смотрю, получились изза двойки...
 - Не болтал бы на уроке — не было бы двойки, — без прежней уверенности сказала мама.
 - Вот и я говорю... Да только где лекарство, чтоб они не болталито? — Она усмехнулась. — Может, правда связкой моркови по шее?.. Анатолий, запиши задания на завтра, а то настоящих двоек хватаете... Любитель приключений...
Толик суетливо выдернул из сумки дневник и ручку. Схватил с подоконника непроливашку.
 - Пиши, — сказала Вера Николаевна. — Или лучше дай сюда, я сама. Знаю, как ты копаешься со своим почерком...
Она записала номера упражнений и задачек, потом вздохнула и крестнакрест перечеркнула вчерашнюю двойку.
Мама быстро взглянула на Толика. Он вместо радости испытал мучительную неловкость. Отвернулся и смотрел в угол. Вера Николаевна грузно поднялась со стула.
 - Людмила Трофимовна, пойдёмте на кухню, что ли... Пускай он уроки учит, а нам надо ещё насчёт родительского собрания поговорить...

Толик остался один. Сел. Вот и всё, распутался несчастливый узел. Так и должно было случиться — потому что хронометр идёт, как прежде... Одно только скребёт душу: стыдно перед Верой Николаевной за недавние слезы. Но и это не так уж страшно. Главное, что хронометр — «диньтак, диньтак...».

Толик погладил медную ручку футляра. Она была тёплая. Тонкая изогнутая ручка — будто на старинном сундучке. Видно, правду говорил Арсений Викторович, что в прошлом веке хронометры были такие же... В те удивительные времена, когда

ещё оставались в океанах неоткрытые острова. Когда ещё... как это сказал Курганов? Хорошие такие слова, будто стихи: «Когда Земля ещё вся тайнами дышала...» Сразу видно, что он писатель.

Когда Земля ещё вся тайнами дышала...
И было много неизведанной земли...
Два наших корабля... вокруг земного шара...
Бесстрашно пошли...

Нет, не так... «Сквозь бури и шторма на поиски пошли». На поиски чего?

Далёких островов вдали вздымались скалы,
И тайною была морская глубина...

Ух ты, как здорово получается! Нука, сначала...

...Вера Николаевна, уходя, не заглянула в комнату, не стала прощаться с Толиком. Видимо, понимала, что ему стыдно за слёзы. И Толик был ей благодарен. Но мысли о Вере Николаевне скользнули и пропали. Потому что под уверенно ласковое тиканье выстраивались в строчки слова.

«Два русских корабля вокруг земного шара...»

Толик вспомнил, как однажды держал земной шар в руках. Вера Николаевна попросила принести из учительской в класс глобус. Толик одной рукой сжимал подставку, а другой обнимал все материки и океаны. Шар был тёплый, и казалось, что он слегка пульсирует. Словно отзывается на толчки Толькиного сердца...

Вошла мама. Постояла рядом.

— Хватит уж дуться, прогульщик...

Толик сказал, положив на стол локти, а на локти голову:

— Маа... Я хочу глобус.

— Да? Очень хорошо.

— Правда? — Толик подскочил на стуле.

— Конечно. А то захотел бы ты, например, паровоз... или луну с неба. Или, скажем, египетскую пирамиду...

- При чём здесь пирамида? — сразу обиделся Толик.
- А глобус? Где его взятьто?
- Может, на толкучке... Там всякие вещи попадаются.
- Ну... если когда увижу, спрошу, сколько стоит... А что вдруг у тебя за фантазия? Ни с того ни с сего...
- Я давно хотел. Просто както забывал сказать... Это ведь не игрушка, а для пользы. Учебное пособие.
Мама села за стол напротив Толика.
- Какой ты вдруг прилежный стал... Я напишу Варе, в Среднекамске есть, кажется, магазин учебных пособий. Только не знаю, продают ли там чтото простым покупателям. Скорее всего, он для школ.
- Пусть она попросит как следует!
- А можно с Дмитрием Ивановичем поговорить. У него в Москве есть знакомые. Там, наверно, легче купить...
- Ага, поговори... — Толик опять лёг щекой на локоть. — Ма а... А ты с ним, значит, помирилась, да?
- Анатолий! Сколько раз говорила: не суйся не в свои дела!..
А то будет не глобус, а выволочка.
- Глобус лучше, — мечтательно сказал Толик. И прикрыл глаза. И увидел почти что наяву шар с коричневозелёными материками, с голубыми океанами. С чёткой синей линией экватора... — Мама, а почему экватор называют равноденственной чертой?
- Ох, не знаю... не помню.
- А ещё большая, — поддел Толик.
- Ну и что? Это ты сейчас географию учишь, а не я.
- Мы про такое ещё не проходили... Это както с солнцем связано... Мама, а ты знаешь, что у Арсения Викторовича день рождения в равноденствие?
- «Деньденьдень», — сказала мама. — Я смотрю, ты совсем не собираешься садиться за уроки.
- Собираюсь... А как ты думаешь, его выпишут к двадцать первому марта?
- Я надеюсь. Полтора месяца впереди.
- Я ему подарок сделаю...

На следующий день после школы Толик забежал к маме в редакцию и там у маминой знакомой Веры Максимовны попросил лист плотной желтоватой бумаги (из неё делали конверты).

Дома Толик в книжке Нозикова расчертил мелкими клетками портрет Крузенштерна. Лист он разметил крупными квадратами и перенёс портрет по клеткам на бумагу. Похоже получилось! Толику даже показалось, что на большом портрете Иван Фёдорович стал както симпатичнее, мужественнее.

Разумеется, это были только основные контуры. Надо нанести тени, тронуть лицо разными карандашами. Конечно, не размалёвывать, а лишь чуть-чуть добавить цвета...

Интересно, какие были у Крузенштерна глаза? Наверно, голубые, как у Толика. Он ведь тоже был белобрысый. То есть белокурый...

Толик не торопился. Несколько вечеров сидел над бумагой. Конечно, хотелось кончить поскорее, но он боялся испортить портрет. Надо было рисовать очень осторожно. Лицо человеческое — штука капризная: чуть не так проведёшь черту, и всё сходство куда-то пропадает... Толик сопел над листом, водил по нему то карандашом, то резинкой, и казалось ему иногда, что зря всё это он затеял. Арсений Викторович сам вон как рисует! Посмотрит на Толькино «произведение искусства», вежливо похвалит, а про себя подумает: «Ну и уродину он нарисовал!»

Наверно, и правда ничего не получается. Ничуть не похоже на то, что в книжке...

Но... нет, всётаки похоже. Смотрит с бумаги строго и смело обветренный голубоглазый моряк. Флота капитанлейтенант Крузенштерн...

Мама растрепала Толику чубчик.

— До чего талантливое у меня дитя, просто ужас. И поэт, и художник...

«Поэт»! Мама вспомнила, видимо, стихи про новогодний месяц. Новые строчки, про корабли, она ещё не знала.

Никакой он не поэт и не художник. Стихи придумались сами собой, а за портрет он взялся, чтобы сделать подарок, только и

всего. А в будущем он такими делами и не думает заниматься. Кем Толик собирается стать, известно давно. Ещё с первого класса, когда он намалевал на руке чернилами громадный якорь и был за то поставлен Верой Николаевной у доски...

Итак, портрет был почти готов. Потому что лицо — это самое главное. Оставалось раскрасить мундир и нарисовать на заднем плане облака и паруса. Толик решил, что эполетами, орденами и корабельной оснасткой займётся завтра.

Но... на следующий день мама получила зарплату, дала три рубля, и Толик помчался смотреть старую, но самую лучшую на свете комедию «Весёлые ребята». Музыкальную, с песнями.

Чёрная стрелка проходит циферблат.
Быстро, как белка, колёсики стучат...

Словно про хронометр песенка...

Бегутбегут, бегутбегут —
И месяц пролетел...

И в самом деле пролетел месяц! Незаметно. Каждый день какието дела находились. То катанье на лыжах, то уроков целая куча, то книжка «Таинственный остров» (такая, что не оторвёшься, толстенная, а Шумов дал её всего на пять дней).

И вот уже — капель с крыши и похожие на вату облака, и смотришь — восьмой час вечера, а на дворе светло.

И Восьмое марта на носу...

Толик за три рубля пятьдесят копеек купил в киоске на углу Первомайской пластмассовый гребень с гранёными камушками стекляшками. Будет маме подарок.

Домой Толик прибежал весёлый и голодный. Был уже четвёртый час, потому что в школе долго репетировали номера для праздничного утренника. Мама, конечно, давно ушла с перерыва на работу, в комнате было тихо.

Совсем тихо.

Потому что... не тикал хронометр.

Он же не мог остановиться! Толик заводил его каждое утро, в восемь ровно, ни разу не забыл, не опоздал. И хронометр шёл точно, только за каждые пять суток набирал лишнюю секунду.

И стучал уверенно, звонко, весело.

А теперь что с ним? Он... его просто не было!

На средней полке этажерки, где всегда стоял хронометр, лежала записка. Мамина.

«Толик! Приходил Арсений Викторович, его наконец выписали. Он взял часы и ключ. Жалел, что не застал тебя, просил зайти. Где тебя носит? Пообедай и садись за уроки. Суп в кухне на подоконнике, картошка на сковородке...»

Толик сел на кровать, не сняв пальто и отсыревших валенок. Грустно стало. И даже обидно.

Привык он к хронометру. Словно к живому, привык. По утрам он вскакивал, радовался медному «диньтак», и настроение становилось таким же звонким... Приходил из школы, и снова: «Диньтак, диньтак, здравствуй!...»

Жил хронометр на этажерке, но когда Толик готовил уроки, ставил его перед собой. А если читал, лёжа пузом на кровати, хронометр устраивал на подоконнике, поближе к изголовью. И звонкий рогатый месяц заглядывал в окошко и прислушивался к тиканью с интересом и лёгкой завистью...

Конечно, Толику и в голову не приходило, что хронометр останется у него навсегда. И хорошо, что Арсений Викторович выписался. Но... както всё не так получилось. Неправильно. Толик думал, что он отнесёт хронометр Курганову сам и Арсений Викторович удивится и обрадуется, как чётко и точно работает механизм. И, может быть, они опять разожгут камин, и Арсений Викторович спросит: «А что, если я тебе, Толик, прочитаю несколько страничек, а? Я там, в больнице, коечто написал ещё...»

Потому что он и в самом деле работал в больнице. Мама говорила. Она несколько раз беседовала с Арсением

Викторовичем по телефону, а однажды отнесла ему передачу: пирожки с капустой, которые сама настряпала.

Каждый раз Курганов передавал Толику приветы и говорил, что очень благодарен ему. «За хронометр и вообще...»

А теперь что?

«А теперь ничего, — подумал Толик, посидев минут пятнадцать и рассердившись на себя. — Ничего особенного. Нытик ты, Толька. Он же не виноват, что не застал тебя дома. Он же просил зайти. Что ты раскис, как манная каша?»

Когда обругаешь себя и словно встряхнёшь за шиворот, делается легче. И Толик решил, что всё ещё будет хорошо. Придёт он к Арсению Викторовичу, и будут у них интересные разговоры, и новые страницы повести, и чай с крепкими, как дерево, пряниками. И то, что не назовёшь словами, — ощущение, словно ты в каюте и поскрипывает корабельная обшивка, а вверху, невидимые сквозь палубу, но настоящие, тугие, покачивают тяжёлый рангоут многоярусные паруса (и надо снять со стопора хронометр, чтобы при качке оставался горизонтальным).

И, может быть, Толик в хорошую минуту признается Арсению Викторовичу, как сам пустил хронометр. Теперь можно признаться: ведь всё он сделал безошибочно.

Но в тот день Толик не пошёл к Арсению Викторовичу. Неудобно. Человек только что из больницы, и тут нате вам — гость...

А назавтра была опять репетиция.

А послезавтра — Восьмое марта.

Затем Толик подумал, что лучше отложить визит до воскресенья. Но в воскресенье началось такое таяние снега, что в валенках на улицу не сунешься, а у ботинка оказалась оторвана подошва, и мама (отругав Толика за то, что не сказал об этом раньше) пошла на рынок, где в будках сидели «срочные» сапожники.

А потом оказалось, что до весенних каникул — всего неделя. И на этой неделе чуть не каждый день контрольные за третью четверть — «предварительные» и «основные».

И среди всех этих многотрудных дел понял Толик: самый подходящий день, чтобы идти к Курганову, — двадцать первое марта. И почти каникулы уже, и день рождения Арсения Викторовича, и воскресенье — значит, он дома будет.

Но сначала надо было дорисовать портрет, и Толик просидел над ним ещё два вечера.

Портрет получился размером со страницу «Пионерской правды». В самый раз, чтобы повесить над камином (если, конечно, Арсению Викторовичу понравится). В правом нижнем углу Толик написал стихи. Он решился на это не сразу. Даже маме он свои стихи показывал, продираясь сквозь смущение, как сквозь колючую проволоку. А тут тем более... И всё же он написал. Не пропадать же стихам, которые так подходили для портрета!

Краснея и сопя, закрывая животом портрет от мамы, Толик чёрным карандашом, старательными печатными буквами выводил:

Когда Земля ещё вся тайнами дышала
И было много неизведанной земли,
Два русских корабля вокруг земного шара
Сквозь бури и шторма на поиски пошли.

Далёких островов вдали вздымались скалы,
И тайною была морская глубина,
И Крузенштерн стоял отважно у штурвала,
И билась о корабль могучая волна...

Вообще-то Крузенштерн у штурвала, конечно, не стоял, это дело матросов. Капитаны подают команды с мостика. Но ведь можно понимать «штурвал» в переносном смысле...

И буду я всегда завидовать, наверно,
Тем морякам, которые ушли в далёкий путь.
На карте начерчу дорогу Крузенштерна
И, может, поплыву по ней когданибудь...

— Да не сопи ты и не прячь, я не смотрю, — сказала мама.

Толик пробормотал:

— Я допишу и покажу...

И показал, конечно, хотя в глазах щипало от стыда.

Мама похвалила. Даже обняла Толика. И лишь одно замечание сделала: «неизведанный» пишется с двумя «н». Да ещё велела после слова «скалы» поставить запятую.

На следующее утро дала мама Толику белую рубашку, натянул он свой парадный вельветовый костюм и отправился к Арсению Викторовичу. Было солнечно и тепло, сразу видно — весеннее равноденствие. Толик расстегнул пальто и хлопал по мелким лужам ботинками в новых калошах. В таком радужном настроении он и пришёл на Ямскую.

Дверь на крыльце у Курганова была приоткрыта, и Толик вошёл в сени без стука. Снял калоши. Поколотил во внутреннюю дверь, обитую рваной клеёнкой. Услышал, как отозвался Курганов:

— Входите!

Арсений Викторович сидел за столом. Заулыбался, встал. Покачнулся. На столе увидел Толик пустую четвертинку, тарелку с винегретом, пепельницу с окурками. Пахло табачным дымом, копчёной селёдкой, кислой капустой.

— Толик, дорогой... — Курганов зажмурился, постоял так, потёр сморщенный лоб. — Я вот тут... видишь, один немножко...

Он засуетился, убрал четвертинку под стол, подскочил к кровати, натянул одеяло на неубранную постель. Сел...

— Я вот, понимаешь... думаю, дай отмечу юбилей сам с собой... гостейто нет... Не знал, что ты придёшь...

«Неужели он всю ночь так сидел?» — ахнул про себя Толик. И сказал насупленно:

— Зря вы курить начали. Вам же вредно.

— А! — будто обрадовался Курганов. — В пятьдесят лет ничего не вредно... — Он опять покачнулся, будто хотел лечь и раздумал. — А ты... ты раздевайся...

Но Толик понимал, что раздеваться ни к чему. Он нерешительно переступил на шкуре ботинками.

— Я вам принёс... вот...

И запоздало подумал: а стоит ли сейчас отдавать портрет?

— Нука... Нука... — Курганов быстро и почти трезво встал. Взял свёрнутую в трубку бумагу. Шагнул к непокрашенному столу, развернул на нём лист. Толик вздрогнул — угол портрета едва не попал в лужицу винегретного сока.

— Ого... — сказал Курганов. — Да... Весьма... Иван Фёдорович весь как есть, очень соответствует...

Ладонь его сорвалась со стола, упругая бумага снова скрутилась, упала на шкуру. Толик быстро нагнулся, чтобы поднять. Курганов сел на корточки. Они чуть не стукнулись лбами.

— Ох... извини, — сказал Курганов. — Видишь ли... Ужасно глупо... — От него пахло крепкой смесью водки и табака. — Ты разделся бы, а? Я чайку...

— Нет, я пойду. У меня билет в кино, — беспомощно соврал Толик, поднимаясь. — Я на минутку зашёл. Я в другой раз...

— Да! — снова обрадовался Курганов. — Правильно. В другой раз — это обязательно. Я тут коечто ещё написал... Ты на меня не обижайся, ты приходи...

Толик не обиделся. Но было очень грустно. Толик брёл домой, и тёплый день его не радовал. Было жаль Курганова. Было жаль портрет. Сколько труда потрачено, а теперь что? Арсений Викторович почти и не взглянул. Чего доброго, сметёт на портрет селёдочные головы и отправит на помойку...

Но главное не это. Главное — ощущение потери.словно с размаху закрыли перед Толиком дверь. И остались за дверью корабли и острова, синяя морская карта и загадки океана, горящий камин и живой неутомимый хронометр. Остались Крузенштерн и Ратманов, Лисянский и Беллинсгаузен. И матрос Курганов. И лейтенант Головачёв со своей горькой и непонятной судьбой... Резанов и Шемелин... Люди, к которым Толик привык. Одних он любил, других нет, но помнил про всех.

А теперь они скрылись за старой, обитой рваной клеёнкой дверью. Навсегда...

«Ну почему навсегда? — попытался утешить себя Толик, когда прошёл несколько кварталов. Всётаки был первый день каникул, весна, и погружаться в уныние с головой не хотелось. — Может быть, всё ещё наладится. Не всегда же Арсений Викторович такой...»

Может быть, правда наладится? Ведь Курганов сказал: «Заходи...»



ВТОРАЯ ЧАСТЬ РОБИГУДЫ

Пленный разведчик Липкин

«Заходи», — сказал на прощанье Курганов. Но Толик не заходил больше. То есть он зашёл один раз, в конце весенних каникул, но Курганова не оказалось дома, и Толик вместе с досадой испытал и неожиданное облегчение... А потом начался апрель. В апреле дни хотя и длиннее, чем зимой, но бегут стремительно.

После каникул с Толиком подружились одноклассники Юрка Сотин и Стасик Новицкий по прозвищу Назарьян (потому что

был похож на худого горбоносого борца Назарьяна, который прошлым летом выступал в приезде цирке). Раньше они на Толика внимания не обращали, а тут вдруг встретили в кино и говорят: «Айда играть с нами». И пошли они во двор к Сотину, напилили там из берёзовых жердей коротких чурок и до вечера резались в городки. Игра шла замечательно, потому что двор был мощённый каменными плитами, просохший уже и чистый.

И на следующий день они играли, и потом ещё и ещё. И сосед Толика по парте Васька Шумов тоже пристроился к их компании.

А потом Толик по пути из школы промочил в луже ноги и несколько дней сидел дома с хрипами в горле. Когда же он снова пришёл в школу, оказалось, что для него и для мамы есть важная работа. Вера Николаевна дала тонкую книжицу с билетами для экзаменов и попросила перепечатать их для всех учеников четвёртого «А». Мама печатала, а Толик помогал — перекладывал листы шелестящей тонкой копиркой.

Скоро билеты были готовы, и тут уж стало ясно: пора готовиться к экзаменам. Месяц остался! Ну, в конце апреля Толик готовился ещё так себе, а после Первомайских праздников взялся всерьёз. Потому что первые в жизни экзамены — это всегда страшновато. Правда, арифметики Толик почти не боялся, зато правила по русскому его очень беспокоили. Никак он их не мог запомнить. Непонятно было, зачем вообще эти правила, если диктанты он и без них пишет, почти не делая ошибок.

Конечно, не сидел Толик за учебниками до потери сознания. И в городки случалось играть, и к дружинному сбору «День Победы» надо было стихи выучить, и ежедневные уроки приходилось готовить, а то нахватаешь двоек, и не допустят ни к каким экзаменам...

А в середине мая случилась беда: у мамы начались боли в желудке, и врач велел ей лечь в больницу. Мама успокоила Толика, что это на недельку, на обследование, но он еле удержался от слёз (а по правде говоря, не совсем удержался).

Мама отправилась в больницу, попросив Эльзу Георгиевну присматривать за Толиком, а на другой день примчалась из Среднекамска вызванная телеграммой Варя. Она Толика тоже успокоила, что с мамой ничего страшного, и принялась строго следить, чтобы он не бегал к Сотину и Назарьяну, а «готовился к сессии как следует». Они даже поссорились с Варей два раза...

Через неделю мама и правда вернулась — похудевшая, но здоровая. А Варя жила дома ещё три дня. Они с мамой часто сидели рядышком и о чёмто шептались, как подружки. А когда Толик оказывался близко от них, разом говорили:

— Иди готовься к экзаменам!

Среди этих дел и событий так и не собрался Толик навестить Арсения Викторовича. Если бы дом Курганова стоял по дороге в школу или просто поближе к Запольной улице, Толик бы, конечно, не раз забежал. А шагать специально на Ямскую... Ну, правда же не было времени!

Двадцать второго мая, в тёплой от утюга рубашке с отглаженным сатиновым галстуком, в своём вельветовом костюме и начищенных ботинках, пошёл Толик на первый в жизни выпускной экзамен — писать диктант. Он нёс перед собой большущий букет черёмухи. С той поры запах черёмухи всегда стал казаться Толику праздничнотревожным, связанным со словом «экзамены»...

За диктант Толик получил четвёрку (в слове «каникулы» пропустил букву «а», обидно так!), за устный русский тоже поставили четыре: немного запутался в суффиксах. Зато по обеим арифметикам — письменной и устной — заработал четвероклассник Нечаев добросовестные пятёрки.

Через день после экзаменов собрался бывший четвёртый «А» на выпускной утренник. Попили чаю со сладкими булочками, попрощались с Верой Николаевной и даже загрузили на несколько минут, но потом повеселели снова и разбежались по домам.

И вот тогда-то наконец полностью Толик осознал, что приш ли летние каникулы. И ощутил великое чувство освобождения.

Но скоро радость поулеглась, стала спокойной и даже скучноватой. Что делать со свалившейся на голову громадной свободой? Назарьян тут же укатил в лагерь, Юрка Сотин через несколько дней отправился в деревню Падерино к дедушке. Шумова мать не выпускала из дома, потому что он схватил переэкзаменовку по русскому. Другие одноклассники тоже бесследно растворились среди нахлынувшего лета. Да они уже и не были одноклассниками: в сентябре пойдут в разные школы — семилетки и десятилетки. В доме, где жил с прошлой осени Толик, приятелейровесников не водилось. На двух этажах четырёхквартирного дома обитали несколько семей, но все бездетные (если не считать грудных и трёхлетних младенцев). Неинтересные были соседи. Мама с ними перезнакомилась, а Толик не оченьто и старался.

В том квартале, где стоял этот дом, подходящих по возрасту мальчишек тоже не оказалось.

Несколько раз Толик бегал на Туринку и купался там с полупознакомыми ребятами в тёплой желтоватой воде (мама, конечно, вздыхала, но отпускала). Но компания была так себе. В ней, чтобы казаться своим, надо было лихо дымить бычками и в каждую фразу вставлять слова, которые у Толика застревали в горле. И Толик «откололся»...

Он склеил газетного змея и запустил с крыши сарая, но тут подкатила стремительная трескучая гроза, Толик заторопился, нечаянно оборвал нитку, и змей канул в гущу тополей.

Грозы — это единственное, что отравляет человеку летнюю пору. Опасливое их ожидание, страх, что появятся в небе сизые зловещие облака, постоянно сидели на дне сознания у Толика. Таковую неуходящую тревогу ощущали, наверно, в старину жители степных селений, которым всегда угрожали кочевые орды...

Но нынешний июнь оказался спокойным: кроме грозы, погубившей змея, была только ещё одна, да и та слабенькая...

После змея Толик начал мастерить модель подводной лодки, но летние улицы с горячим солнечным теплом и буйными

травами манили к себе, хотя, казалось бы, что там делать одному?

И Толик стал бродить без всякой цели.

Скоро он понял, что не такое уж это скучное занятие. Если никуда не торопишься, всё разглядываешь как следует, получается множество открытий.

Раньше Толик проскакивал по улицам, почти не глядя по сторонам. А теперь увидел, что у каждого дома своё лицо. Потрескавшаяся от старости резьба наличников была затейливой и очень разной. Деревянные накладные узоры на воротах похожи были то на солнышко из сказок, то на украшения древних теремов. Кружевные дымники над крышами, маленькие жестяные шатры над водосточными трубами, башенки над столбами ворот казались волшебным городком, выросшим над зеленью палисадников, над лопухами, заборами и прогретыми досками тротуаров. В этом городке могли жить и домовые, и гномы, и крылатые человечки, которых на ходу придумал Толик (к вечеру человечки превращались в летучих мышей и, кувыркаясь, носились в тёплых сумерках)...

Странно, что в прошлые годы Толик не замечал этой старины и сказочности. Может быть, мал был ещё? Или нужны были именно такие вот медленные, беззаботные, полные тихого солнца дни, чтобы внимательней взглянуть на свой город?

Оказывается, Толик и не знал Новотуринска. (Это одно название, что «Ново...», а на самом деле древность.) Столько открылось незнакомых улиц и переулков даже совсем недалеко от дома! Но особенно хорошо было бродить рядом с Ямской улицей, по старой слободке, которая называлась Затуринка.

Раньше в Затуринке жили ямщики, торговцы конной сбруей и лодочные мастера (говорят, в прежние времена Туринка была полноводнее, по ней сплавливали лес и даже ходил парходик заводчика Крутиса). Здесь было много запутанных переулков со старыми берёзами и елями, с похожими на терема воротами, горбатыми мостиками через поросшие одуванчиками канавы и рублеными колодцами. Вдруг выглянет изза выступа забора ступенчатое крыльцо с потемневшей от дождей и времени

дверью, с ручкой старинного звонка, с кручёными железными столбиками и кованым узором навеса (а на ступеньках умывается худой чёрный котёнок с хитрыми зелёными глазами). Или смотришь — изза угла высовывается облупленный кирпичный бок полуразрушенной часоуенки с поржавелой витой решёткой на чёрном окне...

Или вдруг откроется среди полуповаленных заборов тесный проход, и непонятно, куда приведет он: или в чертополохово репейные заросли, где с голыми руками и ногами не продерёшься, или на незнакомую какуюнибуудь улочку.

Лишь бы не в тот квартал на Ямской, где живёт Курганов.

Проходить рядом с домом Арсения Викторовича Толик опасался: вдруг они повстречаются? Скажет Арсений Викторович: «Что же ты столько времени не появлялся?» Стыд какой... Не объяснишь ведь, что и хотел бы зайти, да теперь неудобно. Хотя и жаль, конечно: были почти друзья и както непонятно раззнакомились... Ту последнюю встречу вспоминать неприятно, только всё равно жаль...

Может, Арсений Викторович зайдёт к маме по какомунибуудь делу? Как зимой. Тогда можно было бы завести разговор, объяснить, что вот, мол, не было времени... Может, попросить маму нарочно подстроить такую встречу? Но пока маме некогда — с утра до вечера на работе, потому что вторая машинистка в отпуске...

Утром Толик подпоясывал широким ремнём новые чёрные трусы, которые мама сшила из блестящего и твёрдого, как коленкор, сатина, цеплял к ремню фляжку, совал под майку плоский свёрток с куском хлеба («сухой паёк»), надевал на руку старенький компас (на всякий случай) и отправлялся в экспедицию — открывать незнакомые улицы. Как раньше моряки открывали острова.

На улицах (как и на островах) обитали, конечно, местные жители. Они то и дело встречались Толику даже в самых глухих, полных тишины и стрёкота кузнечиков переулках. Обычно они без всякого интереса глядели на незнакомого белобрысого пацана в сшитых на вырост трусах, полинялой футболке,

пыльной пилотке и старом командирском ремне. Но среди жителей имелись и мальчишки. А среди них могли встретиться такие, которые назывались неприятным словом «шпана». И поэтому в первые свои походы Толик брал на поводке Султана.

Однако с Султаном было не оченьто удобно: через забор не перелезешь, по кустам он пробираться не хочет. Надо ему то к столбику, то знакомиться со встречной моськой (которая от страха без памяти). И Толик стал ходить один. Впервых, путешественник должен уметь рисковать. Вовторых, нехороших встреч не случалось, и Толик осмелел...

Улицы слободки чаще всего приводили на берега Туринки или её притока — ручья, который назывался Чёрная речка. (Потом Толик вырос, поездил по свету и убедился, что почти в каждой местности есть своя Чёрная речка.) А два переулка упирались в забор старого сада, который другим краем выходил на Ямскую. Однажды Толик рядом с этим забором, на краю высокого тротуара, присел, чтобы пожевать «сухой паёк» и глотнуть из фляжки. Тут доски под ним часто затолкались, и он услышал твёрдый деревянный топот.

Прямо на Толика мчался взъерошенный курчавый мальчишка.

Галстук синей матроски отчаянно колотился у мальчишки на груди. Лямки коротеньких парусиновых штанов съехали с плеч. Тюбетейка пружинисто подсакивала на коричневых кудряшках. Толик хотел вскочить, но в трёх шагах от него тюбетейка сорвалась с головы бегуна, и тот затормозил. Выхватил тюбетейку из лебеды, сжал в кулаке и глянул на Толика.

Большие мальчишкины глаза сидели широко от переносицы и были зеленоватожёлтого цвета. В них мелькали и настоящий испуг, и веселье. Часто дыша, мальчик сказал:

— За мной гонятся. Не выдавай меня, ладно?

Он упал рядом с Толиком в жёсткую траву «пастушья сумка» и пополз, извиваясь, под мостки тротуара. Толик растерянно следил, как исчезают под досками тонкие ноги в коричневых чулках и новых твёрдых ботинках.

Ботинки дёрнулись и пропали, и почти сразу опять разлетелся по улице частый топот. Это, разумеется, была погоня. Четверо мальчишек. Толик принял равнодушный вид.

Конечно, Толик не знал, игра тут или ссора всерьёз и кто прав, а кто виноват. Но коекакие жизненные правила за одиннадцать лет он усвоил крепко, и одно такое правило говорило: помогать следует тому, кто слабее. Впрочем, теперь помогать было не надо. Сиди и делай вид, что ты ни при чём.

Мальчишки остановились. Двое по бокам у Толика, один за спиной, а один встал прямо перед ним.

Толик быстро глянул назад, направо и налево. А потом опять на того, кто впереди. В нём Толик угадал главного. Нет, мальчишка не был похож на шпану. Стройный такой мальчик, немного выше и старше Толика. Аккуратная ковбойка, брюки хотя и помятые, но со следами стрелок от утюга. Гладкие светлые волосы повзрослому зачёсаны назад. И лицо такое... Эльза Георгиевна сказала бы: «Удивительно интеллигентное». Однако обратился он к Толику довольно жёстко:

— Эй, ты! Здесь никто не пробегал?

— Что?

Мальчик со сдержанным нетерпением повторил:

— Тебя спрашивают: здесь никто не пробегал?

— Кто?

— Ты что, издеваешься? — сказал мальчик.

— Я не издеваюсь. Я не понимаю, что вам надо, — объяснил Толик с жалобной ноткой. Притворялся он лишь наполовину, потому что и в самом деле побаивался. Садняще заболел рубчик под коленом.

— Третий раз спрашиваю: ты никого здесь не видел?

— Никого, — сказал Толик и сразу понял, как он сглупил. Надо было сказать, что видел. Что курчавый мальчишка побежал вон туда, в переулочек. Пусть мчатся по ложному следу.

Но было поздно.

— Врёт, — подал голос тот, кто стоял сзади (Толик быстро оглянулся). Это был рыхлый парнишка с лицом, похожим на

круглую булку, в мешковатых штанах и босой. — Шурка нигде не мог пробежать, кроме как тута.

— Ясно, врёт, — печально подтвердил тот, что слева, — мальчишка с тонкой шеей, толстым носом и оттопыренной нижней губой. За ремешком у него торчала красивая отполированная рогатка.

— Врёшь, — спокойно сказал Толику главный.

— Не вру я... Чего вы все на одного?

— Ты встань, когда с командиром разговариваешь, — сказал четвёртый мальчик. Мягко так сказал, будто посоветовал по хорошему. Он и сам казался хорошим, самым добрым из всех. Был он, видимо, одноклассник Толика. Славный такой, с каштановым чубчиком и длинными, как у девчонки, ресницами. Смотрел совсем не сердито. Но Толик, несмотря на это, огрызнулся:

— Какой командир? Может, он вам командир, а ято при чём?

— И... всётаки встал. Потому что понял: не встанешь сам — «помогут». — Что вам от меня надо? Я сидел, вас не трогал...

Командир терпеливо разъяснил:

— Нам надо узнать про мальчишка в белых штанах и синей матроске. Куда он побежал или где спрятался?

— А! — Толик будто лишь сейчас сообразил. — Он вон туда пробежал!

Это получилось так ненатурально, что засмеялись все сразу. А командир кивнул:

— Ясно. Сообщник... Нука, к стенке его...

Толика ухватили за локти, в секунду оттащили от тротуара и плотно придвинули к забору.

— Ну чего... — сказал Толик.

— Пленник, молчать! — перебил командир. — Будешь отвечать, когда спросят.

Толик понимал, что это пока игра. Но именно пока. Но... не такой уж он трус! И не убьют же, в конце концов... И, глядя поверх голов, Толик с печальной гордостью произнёс:

— Не буду я отвечать.

- Будешь... — просопел круглолицый, стискивая Толькин локоть. А командир коротко спросил:
 - Где беглец?
 - Не знаю.
- Лучше скажи сразу, — посоветовал мальчик с девчоночьими ресницами. Он аккуратно придерживал Толика за плечо.
- Сейчас заговорит, — скучным голосом пообещал мальчишка с оттопыренной губой. Вынул изза пояса, аккуратно размотал и зарядил чемто рогатку. Далеко вытянул шею из воротника рыжего свитера и прицелился. Прямо Толику в лоб.
- Неужели в человека будешь стрелять? — спросил Толик не столько со страхом, сколько с удивлением. Рогатка щёлкнула, доска над головой отозвалась резким стуком, на волосы посыпались мелкие крошки. Видимо, пульей служил сухой глиняный шарик.

Натти Бумпо из романа «Зверобой», когда ирокезы метали в него томагавки, не закрывал глаза. Но у Толика такой выдержки не было. Он зажмурился и со слезинкой проговорил:

- Дурак, выбьешь глаз — отвечать будешь.
- Он не выбьет, — негромко успокоил мальчик с ресницами.
- Он снайпер.
- Витя, помолчи, — попросил командир. А над самой головой у Толика опять свистнул и рассыпался глиняный шарик. Толик дёрнулся и услышал слова командира:
- Мишка, хватит. Это храбрый пленник, он так просто не заговорит. Надо устроить другое испытание.

«Какое ещё?» — тоскливо подумал Толик. Стрелок Мишка сматывал рогатку. У командира было задумчиводеловитое лицо: наверно, он придумывал способ развязать пленнику язык.

«Может, рвануться и удрать? — суетливо думал Толик. — Не успею, догонят... Может, зареветь? Тогда, наверно, отпустят. Нет, реветь ещё рано... Эх, Султана бы сюда... Вот влипто. А им сплошная радость: поймали „языка“. Наверно, всётаки отлупят... Фляжку бы не отобрали... А если всётаки зареветь?»

В общем, совсем не героические прыгали мысли. Но одной не мелькнуло ни разу: сказать, где беглец, и тем спастись. Это было так невозможно, что бедный Толик даже и забыл про курчавого Шурку. И удивился, когда услышал тонкий голос:

— Подождите! Я здесь!

Показались изпод мостков блестящие ботинки и перемазанные сухой землёй чулки. Беглец порачьи выбрался на траву, вскочил. Отряхнул штаны и матроску, посадил на пружинистые кудряшки тюбетейку и опустил руки по швам.

— Вот я. А его не трогайте. Олег, он нисколько не виноват!

- Таак, ясно, — сказал командир Олег и прошёлся по измятому Шурке взглядом. От ботинок до тюбетейки.
- А я тоже не виноват, — поспешно сказал Шурка. — Я по правилам убегал. Рафик и Люся в одну сторону, я в другую...
- Убегалто ты по правилам, — усмехнулся Олег и аккуратно поправил волосы. — А потом пошёл на измену.
- Я?! — Шурка стиснул опущенные кулачки и побледнел так, что почернели его крупные веснушки: две на носу и одна на подбородке.
- Ты, — вздохнул Олег. — Потому что впутал постороннего в наши дела. Воспользовался помощью врага.
- Какой же я враг! — отчаянно проговорил Толик (его всё ещё прижимали к забору). — Я вам что плохого сделал?
- А почему не сказал, где он прячется? — пропыхтел круглолицый мальчишка и кивнул на Шурку.
- А ты бы сказал, если тебя просят: «Не выдавай»?
- Пленник прав, — решил командир Олег. — Он не обязан нам помогать, он ведь не наш союзник. И ведёт он себя смело...
- Тогда я пойду? — обрадовался Толик.
- Не так скоро... Может быть, ты чейто разведчик! Ты ведь не с нашей улицы. Может, ещё гденибудь такой же отряд, как у нас, есть и вы решили наши тайны выведать...
- И, может, Шурка их уже разболтал ему, — сказал Мишка.

- Я?! — Глаза у Шурки влажно заблестели.
- Ничего он не говорил, — заступился Толик.
- Я ни словечка! — клятвенно добавил Шурка.
- С тобой разберёмся потом, ты никуда не денешься, — небрежно решил Олег. — А пленника придётся допросить в штабе.
- Пошли! — обрадовался круглолицый и потянул Толика за локоть. Толик упёрся:
 - Куда ещё? Чего пристали?
 - Витя ласково махнул ресницами и успокоил:
 - Да не бойся, мы же играем.
 - Ага, «играем»! Из рогатки...
- Мишка больше не будет, — успокоил Олег. — И вообще ничего плохого не будет, если станешь говорить правду.
- Ага! Я — правду, а вы опять скажете, что вру!
- Разберёмся, — пообещал Олег. — Ну? Пойдёшь или тащить?
 - А куда?
 - Недалеко, в этом квартале, — успокоил Витя.
- Пойду, — вздохнул Толик. Спротивляться было глупо. К тому же, кроме страха, сидело в Толике любопытство: что за отряд, что за игра? И ребята были, кажется, ничего. Ну, Мишка и этот вот, сопящий, так себе, а Олег и Витя — совсем неплохие. Да и Шурка. Честный такой: вылез и заступился...
 - Даёшь слово, что не убежишь? — спросил Олег.
 - Это понравилось Толику. Он кивнул.
 - Пускай ремень снимет, — потребовал Мишка.
 - Зачем? — Толик вцепился в пряжку.
 - Потому что с арестантов всегда ремни снимают.
 - Не бойся, это ведь не насовсем, — объяснил Витя.
 - Всё равно не сниму. Это... отцовский.
- Ремень был в доме у Нечаевых давнымдавно, мама в прежние годы подпоясывала им телогрейку, когда ездила копать картошку или разгружать уголь, если посылали от редакции. Откуда ремень взялся, мама и Варя не помнили. Но

Толику нравилось думать, что в давние, может, ещё довоенные времена этот широкий кожаный пояс со звёздной пряжкой носил отец.

И сейчас у Толика закипели в душе злые слёзы, и он понял, что будет биться до конца. И даже страх пропал.

Но биться не пришлось. Олег серьёзно спросил:

- А отец кто?
- Он политрук был. Он под Севастополем...
- Ладно, пошли, — сказал Олег. — Ремень не трогать.

Толика привели в длинный заросший двор на Уфимской улице. Во дворе стоял дом с верандой. В дальнем конце поднимался из репейников приземистый сарай. К боковой стене сарая был пристроен самодельный навес. Раму из жердей и палок накрывали старые половики, рваная плащпалатка и куски толя. Боковым и задним краями эта крыша прилегала к забору и сараю, а свободным углом опиралась на кривой шест. Когда Толик задел шест плечом, весь балдахин качнулся и сверху что то посыпалось.

— Поосторожнее, — сказал Олег.

На бревенчатой стене сарая висели под навесом разрисованные картонные щиты и деревянные мечи. На утоптанной траве стоял дощатый ящик с круглым клеймом «Коровье масло». Вокруг него — ящики поменьше и перевёрнутые вёдра.

Толику велели остановиться под кромкой навеса.

Витя объяснил чуточку виновато:

- Посторонним вход в штаб запрещён.

Грузный круглолицый парнишка (его, как выяснилось, звали Семён) остался снаружи — то ли просто как часовой штаба, то ли конвоир пленника. Олег, Мишка и Витя сели вокруг «стола», а Шурка поодаль, в уголке. Он тихонько вздыхал. Олег вытащил изпод ящика тетрадку, ручку и непроливашку...

В эту минуту с забора ловко упали в заросли и оказались под навесом ещё двое: высокая смуглая девчонка с короткими

волосами и гибкий мальчик ростом с Толика. Им шумно обрадовались, но Олег сразу восстановил порядок:

- Тихо! Люська, садись и пиши. — Он уступил девочке место. Она ткнула пером в непроливашку.
- Чего писать?
- Пиши: «Пятнадцатое июня. В отряде была игра в часовых и разведчиков. Часовые были Олег Наклонов, Семён Кудымов, Витя Ярцев и Мишка Гельман. Разведчики были Люся Кудымова, Шурка Ревский и Рафик Габдурахманов...»
Светловолосый, синеглазый Рафик весело сообщил:
- А вы нас не поймали!
- Не до того было... Люсь, пиши: «Разведчики разбежались, а часовые...»
- Подожди, я не успеваю...

Пока Олег диктовал, Толик разглядывал щиты. Они были из тонкого картона — видимо, не для боя, а так, для красоты. На каждом акварельными красками нарисована какая-нибудь картинка или знак. «Наверно, гербы, как у рыцарей, — догадался Толик. — У каждого свой».

Рафик глянул на Толика — будто выстрелил синими огоньками:

- Это кто? Новичок?
- Это пленник... — сказал Олег. — Люська, пиши дальше: «Разведчик Ревский нарушил правила и впутал в наши дела постороннего, который, наверно, вражеский лазутчик...»
- Не впутывал я! — подал голос Шурка.
- Не лазутчик я, — сказал Толик.
- Пленник, тихо. Сейчас допросим, всё скажешь... Люсь, пиши прямо здесь же: «Протокол допроса...»
- Щас... Пр... После «рэ» надо «о» или «а» писать?
- «О», — сказал Толик и не удержался, хихикнул.
- Пленный, нука без глупого смеха, — одёрнул Олег. — Встань смирно и отвечай: имя и фамилия?

Толик не то чтобы вытянулся в струнку, но встал попрямее и опустил руки. Почемуто была капелька удовольствия в том, чтобы подчиняться симпатичному и строгому Олегу.

Но что отвечать на вопросы? Всё как есть?

— Имя и фамилия! — повторил Олег.

У игры свои правила. Раз Толик пленный, он должен и скрывать правду, и водить противника за нос.

— Липкин, — брякнул Толик. — Гришка. То есть Григорий.

— Школа и класс?

— Десятая. Четвёртый «Б»... То есть уже пятый. Теперь в другую школу пойду...

Это было правдоподобно. Тем более что в их десятой школе, в четвёртом «Б», и в самом деле учился Гришка Липкин.

— Так, хорошо, — кивнул Олег. — Место жительства?

Но Люся вдруг положила ручку.

— Олег! Он врёт! Я с Липкиным, с Гришкой, из десятой школы, в лагере была! В прошлом году! Он маленький и чёрный!

— Ага, и я был, — сказал за спиной у Толика Семён.

Ох и вляпался Толик! Теперь не будет ему пощады.

— Я это... вырос уже, — пробормотал он, и все засмеялись.

Рафик обрадовался, будто приятеля встретил:

— Конечно, он разведчик! Он не с нашей улицы, и снаряжение у него разведчицкое! Фляжка и компас!

«Всё...» — подумал Толик. И опять заболел и зачесался под коленом рубчик от полосного железа. Толик согнулся, чтобы почесать, и снова задел плечом шаткую подпорку навеса.

...Потом Толик вспоминал эти секунды с удовольствием. С гордостью за свою находчивость и быстроту! Как он собрал в пружину все свои небогатые силы, повернулся, дёрнул за рубаху грузного Кудымова и отправил его на тех, кто сидел у ящика! И рванул в сторону шест!

Уже у калитки Толик на миг оглянулся. Тряпьё рухнувшего навеса ходило ходуном, изпод него неслись гневные вопли.



Эпиграф

Выскочив со двора, Толик решил было, что он спасся. Но те ребята оказались не дураки — в калитку не кинулись, а махнули через забор, и Толик еле успел проскочить мимо Рафика и Мишки. Теперь шла погоня. Бежали за Толиком все, даже Шурка грохал ботинками, не отставая.

Если семеро гонятся за одним, тому ой как плохо. Среди нескольких всё равно окажется ктонибудь быстрее, чем беглец. И пойдёт обходить с фланга, наперехват.

Сейчас таким перехватчиком оказался Мишка Гельман. Да и Олег от Мишки почти не отставал. Они выскочили на дорогу и отрезали Толику путь влево. Словно знали, что ему туда и надо: к дому, на свою Запольную!

Теперь ничего не оставалось, как мчаться вдоль забора, по недавнему Шуркиному пути. И деваться некуда, не залезешь ведь, как Шурка, под тротуар...

Толик чувствовал, что всё равно поймают. Потому что ноги уже ослабели, сердце колотится не в груди, а где-то в горле и не даёт дышать. Да ещё ремень сползает и тяжёлая фляжка с невыпитой водой молотит по бедру. А в сандалии набились колючие крошки...

Догонят... Может, лучше сдаться сразу, не мучиться? А что дальше? За обман да за разваленный штаб компания, конечно, разозлилась не на шутку, тут уж не игрой пахнет...

Олег и Мишка обогнали, встали на пути. Вот и всё... Толик прижался лопатками к забору. Отбиваться руками и ногами или со спокойной гордостью покориться судьбе?

А до чего же обидно! Так лихо удрал, а теперь выходит — зря. Ох и будет ему сейчас!.. Толик вдавился в забор.

Что это?

Судьба изредка бывает милостива к беглецам. Широкая доска за спиной подалась внутрь. Ура!.. Толик развернулся, даванул плечом доску из последних сил и провалился в открывшуюся щель. Кувыркнулся в чертополохе, вскочил, подхватил пилотку. Повисшая на гвозде доска захлопнула в заборе лазейку — прямо перед веселоизумлёнными глазами Рафика.

Толик промчался через садовые джунгли, умоляя судьбу об одном: чтобы калитка, ведущая на Ямскую, не была заперта. И ему повезло опять — калитка распахнулась от удара ладонями.

Теперь можно было не так спешить. Пока вся погоня соберётся вместе, пока они посоветуются, он уже ойейей где будет!.. Толик перешёл на утомлённую рысь. До родных мест ещё далеко, надо беречь силы. Он уже миновал садовый забор и был на перекрёстке. Он совсем успокоился, и...

Прямо на него выскочили Олег, Мишка и Витя!

Значит, они не побежали через сад, а кинулись в обход! Перехитрили...

Толик рванул назад. Ему вдруг стало страшно так, будто всё по правде. Будто если попадётся, то ему настоящий плен и расстрел!

Был теперь только один путь, одно спасенье. Ещё немного... Вот...

Он грудью грянулся о калитку у знакомых ворот...

На крыльце Толик слегка отдышался, оглянулся. Те, кто догонял его, заглядывали теперь во двор, но здесь была для них чужая территория, незнакомая и, может, опасная. Толик выдернул изпод ремня майку, вытер подолом лицо и постучал в дверь.

Курганов был дома — опять везенье! Он не удивился, увидев Толика. Просто обрадовался:

— Ох какой гость хороший! Молодец, что пришёл,ходи... Был Курганов какойто помолодевший, весёлый. В очень белой рубашке с подвёрнутыми рукавами. Он взял Толика за плечи, ввёл в комнату.

— Очень, очень я рад... А почему ты взмокший? Бежал, что ли? И вид у тебя такой... военнополовой. Ты откуда?

— Я... так. Мы с ребятами в войну играли, — приврал Толик.

— А потом я вот... решил зайти.

— Замечательно решил... — Курганов поспешно убрал со стола газеты, задвигал стулья. — Вот сейчас мы и чаёк сразу

- сообразим. После жарких боёв чаёк полезен. А? Ты не спешишь?
- Да нет... — пробормотал Толик, представив, как топчутся у ворот преследователи.
 - Прекрасно... А то мы так давно не виделись. Я... признаться, я думал: уже не обиделся ли ты? В последний раз я, кажется, был както не так... не очень гостеприимен... Да?
 - Нет, что вы! Это я сам... Ну, сам такой лентяй, никак не собрался зайти. Да ещё мама болела, да экзамены потом... — Толик согнулся и стал чесать под коленом рубчик.
 - А с мамой что? — встревожился Курганов.
 - Сейчас уже всё в порядке!

Комната Курганова тоже казалась весёлой и (если можно так сказать про комнату) помолодевшей. Наверно, потому, что впервые Толик видел её днём. Солнце рвалось в окна. Марлевая занавеска парусом надувалась у открытой форточки. Шелестела на краю стола открытая книга. Шкуры на полу не было, пахло вымытыми половицами.

Хронометр стоял на подоконнике. Жёлтые винты, ручки и кольца разбрасывали лучистые блики. Стучал хронометр всё так же — словно ронял на стекло медные дробинки. И в дробинках этих, казалось, тоже вспыхивают солнечные звёздочки...

Карта на стене, рисунок с Нептуном, некрашенные доски полка — всё было светлым, всё отражало радостные лучи. Лишь чёрный камин выглядел сумрачно, он был не нужен лету. Толик пожалел камин и приласкал его глазами: не грусти. Глаза прошлись по чугунным завиткам от пола до узорчатого карниза, скользнули выше... И оттуда, со стены, глянул на Толика Крузенштерн.

Тот самый Крузенштерн с его, Толькиного, портрета.

- Ой, — шёпотом сказал Толик. — Значит, повесили портрет...
- А как же! Сразу и повесил, как ты ушёл тогда. Замечательный рисунок. И стихи прекрасные...

Толик застеснялся, подошёл к камину, упёрся ладонями в холодный чугун. Из каминной пасти дохнуло по ногам

неприятным холодком. Толик зябко переступил и, задрав подбородок, уставился на рисунок. Перечитал свои строчки.

Нет, стихи сейчас не казались ему хорошими. Так себе... И рисунок был не такой уж удачный. И Крузенштерн смотрел с него не в синюю даль океана, а прямо на Толика. Укоризненно смотрел: «Что же ты не приходил столько времени?»

Чтобы оправдаться перед Крузенштерном и Кургановым, а заодно и перед собой немножко, Толик сказал:

- Я заходил в весенние каникулы, а у вас закрыто было... А потом я подумал: приду, а вы, наверно, работаете...
- Сейчас не работаю, отпуск...
- Да я не про эту работу. Я думал, что книгу пишете, — вздохнул Толик.

Арсений Викторович подошёл к Толику со спины, положил ему на плечи свои ручки.

— Видишь ли, с книгой я тоже... кажется, всё.

Толик крутнулся у него под ладонями.

— Кончили? Правда?

Голубые глазки Курганова смущённо радовались. Он потрогал рубец у краешка рта, словно хотел придержать неловкую улыбку.

- Видишь ли... самому не верится. Столько лет. А теперь страшно даже... Но делать нечего — кончил.
- А когда напечатают?
- Ну... что ты, дорогой мой. До этого ещё... Я и не показывал никому пока. Главное, что дописал... Пойдёмка за стол.

В углу на табурете уже булькал новый электрочайник. Толик запоздало сдёрнул пилотку, снял ремень с фляжкой, положил на подоконник рядом с хронометром. Незаметно подмигнул хронометру. Придвинулся с табуреткой к столу.

- Вприкуску будешь?
- Ага... спасибо, вприкуску... Арсений Викторович, а чем кончается повесть?
- Ну, как тебе сказать... Кончается тем же днём, что и начинается. Крузенштерн уже в годах. Размышляет... Может, это

и не очень интересно, не приключения, но, как бы это сказать... необходимо для смыслового завершения...

— Почему не интересно? Там всё интересно!

— Да? Тогда... может быть, прочитать последнюю главку, а? Ты пей, а я прочитаю... если хочешь, разумеется. А?

— Ну, конечно же! — Толик зажал в зубах алмазотвёрдый осколок рафинада, поставил на край стола локти, взял в ладони тёплую кружку и прижался к ней щекой.

Арсений Викторович, оглядываясь, вытянул с полки папку.

...Читал Курганов минут десять. Толик слушал с ощущением, словно ничего не кончалось. Словно лишь вчера они сидели у горящего камина, а потом неожиданно наступило летнее утро и за ним очень быстро — день. А повесть будто и не прерывалась...

— Ну вот так, значит... — Курганов закрыл папку и глянул на Толика нерешительно и выжидательно.

— Хорошо, — сказал Толик, застеснявшись этого взгляда. — Правда, Арсений Викторович, хорошо. Немного печально, но, наверно, так и надо, да?

— Помоему, да. Значит, ты это почувствовал?

— Ага... Эпilogи всегда немного грустные, — со знанием дела заметил Толик. — Это ведь эпilog?

— Видишь ли... это не совсем эпilog. Он будет дальше, отдельно. А это просто конец последней главы.

— Аа... — Толик почувствовал, будто его слегка обманули. Вернее, он сам сглушил. Арсений Викторович поспешно сказал:

— Впрочем, наверно, ты прав, это эпilog. А дальше — как бы отдельный ещё рассказ, окончательное послесловие.

— А там про что? Можно почитать?

Курганов улыбнулся:

— Можно. Только это ведь самый конец. Может, уж лучше всё по порядку, а? Своими глазами. Если, конечно, интересно...

— Ой, правда? — Толик даже чай расплескал. — А вы дадите? Всё, что написали?

— Я вот что подумал... Может быть, твоя мама согласится перепечатать рукопись? Почерк у меня разборчивый... Мама

бы

перепечатала, а ты бы прочитал заодно. По печатномуто легче. И впечатление более правильное... А?

— Ну конечно! — Толик вскочил. — Она согласится!

— Вот и хорошо. Ты спроси, а я...

— Да чего спрашивать! — Толик испугался, что Арсений Викторович передумает. — Я и так знаю! Мама недавно говорила, что хорошо бы дополнительную работу найти, а то денег совсем нет... Ой... Нет, она вам, наверное, и бесплатно...

— Нуно, это уж ты не туда поехал, — засмеялся Арсений Викторович. — Ни к чему такое дело. Главное — чтобы не очень долго. Хочется до осени показать своё творение знающим людям, а в издательстве не возьмут, если не на машинке...

— Я прямо сейчас могу отнести, — нетерпеливо сказал Толик.

— Да? А... — Курганов нерешительно замолчал.

— Думаете, я потеряю? Вы не бойтесь, ничего не случится!

— Я не боюсь. В крайнем случае у меня черновики есть...

Курганов посмотрел вдруг серьёзно и ласково, сказал тихо:

— Ничего плохого не случится. Ты мне всегда приносишь удачу...

Толик зачесал ногой ногу и засопел. Но Курганов и сам смутился:

— Да, тут ещё такое дело... Там сразу на первом листе... Ты знаешь, что такое эпиграф?

— Это... ну, такие строчки в начале книжки, да? Из какогонибудь другого рассказа или стихов...

— Вотвот... Ну, и так уж получилось у меня... Видишь ли, ты мой первый читатель. И стихи у тебя очень подходящие. В общем, я, как говорится, взял на себя смелость... сделал их эпиграфом к повести. Если ты не возражаешь.

— Ой... — У Толика щекам стало горячо от радости и благодарности. — Но ведь это ещё не такие... не настоящие стихи.

— Как тебе сказать... Они хорошие. Для моей повести — очень хорошие. Самые подходящие. Я так и подписал:

«Четвероклассник Толик Нечаев, первый читатель этой повести». Можно?

— Конечно... Только я ведь уже в пятый перешёл.

— Это неважно. Когда писал стихи — был четвероклассник.

Будешь потом расти, а в стихах останется твоё детство... А?

— Ладно, — прошептал Толик. — Но я боюсь немного...

— Чего?

— Вдруг мама не разрешит. Скажет: куда тебе в настоящую книжку... Скажет: не заслужил ещё.

Курганов медленно проговорил:

— Вопервых, ты очень заслужил...

Толик нерешительно поднял глаза:

— Чем?

Курганов будто не услышал. Сказал:

— А вовторых, маму мы уговорим.

Толик совсем не боялся засады. Ему казалось, что он пробыл у Курганова чуть ли не полдня. Кто же станет караулить его столько времени?..

Попался он, когда миновал сад и перекрёсток.

Мишка, Рафик и Люська прыгнули изза пустого киоска. Семён выбрался из разохшейся бочки, что валялась у изгороди (бочка при этом развалилась). Олег и Витя подскочили сзади.

Обступили плотно.

Толик притиснул к животу тяжёлую папку.

— Ребята, вы что! Я сейчас не играю!

— Мы тоже не играем, — разъяснил Олег. — Мы в самом деле берём тебя в плен.

— Но я сейчас не могу! У меня важное дело!

— Айяйяй, — медовым голосом сказала длинноногая Люська, и глаза её были безжалостны. — А намто что? Тащите его, робингуды.

Семён влажными ладонями схватил Толика за локти.

— Но я же правда не могу! Мне домой надо! Вот видите — папка? В ней важные документы, у меня мама машинистка!

- Вот и посмотрим, что это за документы! — обрадовался Рафик. Синие глаза его засияли лучистым любопытством.
- Там, наверно, тайные планы против нас, — выдохнул Семён.
Они не понимали! Им нужны были тайны, охота за шпионами, чтобы жизнь была интересной! А ему как быть? Если отберут или растреплют рукопись, растеряют листы, что он скажет Арсению Викторовичу?
«Ты мне всегда приносишь удачу...» Принёс удачу!
- Вы как-то совсем глупые, — с тихим отчаянием проговорил Толик. — Сейчас ну несколько не до игры. Если с папкой что то случится, знаете что будет? И мне, и вам...
- Ох как страшно, — хихикнула Люська.
Но Олег сказал:
— Нам твоя папка не нужна, если в ней ничего про нас нет.
Ты сам нам нужен.
- Да зачем?!
- Как зачем? Протоколто ещё не дописан, — вредным голосом напомнила Люська.
- Мы так и не выяснили, кто ты такой, — махнув ресницами, разъяснил Витя.
— Ну, Толька я! Нечаев Анатолий! На Запольной живу!
- А зачем говорил, что Липкин? — сказал Семён. — Липкина то мы знаем.
- Я думал, что игра такая: раз попался в плен, надо обхитрить...
А теперь же не игра!
- А зачем по нашим улицам ходил, если ты с Запольной? — вмешался Рафик. — И всё высматривал.
— Да не высматривал я! Просто гулял!
- Подозрительно это, — решил Олег. — Надо всё выяснить до конца и записать. Пойдёшь добровольно?
Толик решился на крайний шаг:
- Знаете что? Я папку отнесу и приду! Сам приду, честное слово! Честное пионерское! Вот, за звезду держусь! — Он вырвал у Семёна локоть и взялся за звёздочку на пилотке. И подумал: будь что будет, лишь бы с рукописью не случилось беды.

Но Олег сказал:

- Не выйдет. Ты уже давал слово и нарушил. Сказал, что не убежишь, а сам драпанул.
- Да ещё штаб развалил! — весело добавил Рафик.
- Толик искренне возмутился. Так, что даже бояться забыл:
- Вы что врѐте! Я слово дал, что не убегу, пока вы меня по улице ведѐте! А больше никакого слова не было!
- Выкрутился, — сказал Олег. — А сейчас опять слово дашь и снова потом причину выдумаешь уважительную.
- Как наш Шурка! — вспомнил Мишка. — Сперва пообещает, а потом: «Мама не пустила. Разве можно не слушаться маму?» «Шуркато ваш лучше вас всех», — подумал Толик, вспомнив честные глаза курчавого мальчишки. И сказал насупленно:
 - Он тоже ни в чём не виноват. А вы все на него.
 - Виноват или нет, мы сами разберѐмся, без посторонних, — сказала Люся.
 - Конечно, — подтвердил Олег. — Хотя... почему без посторонних? Вместе с ним и разберѐмся. — Он кивнул на Толика. — Пускай доказывает, что наш милый Шурочка ни в чём не виноват.
 - Как? — удивился Толик.
 - Он за тебя заступился, когда мы тебя поймали? Заступился. Вот теперь ты заступайся, раз он тебе так нравится.
- Толик хотел спросить: откуда они взяли, что совсем незнакомый Шурка ему нравится? Но спросил вместо этого:
 - Да как заступатьсято?
- Очень просто. Докажи, что ты не разведчик и он тебе ничего про нас не рассказывал.
 - Опять вы одно и то же... — безнадежно проговорил Толик.
- Как ещё доказывать? Головой о забор, что ли, стукаться?
 - Стукаться не надо, — спокойно растолковал Олег, а остальные внимательно слушали командира. — Приходи сегодня в штаб, когда мы с Шуркой будем разбираться. Там всё

и объяснишь подробно... И никакого слова от тебя не надо. Придёшь — хорошо. Не придёшь — значит, будет Шурка изменник, а ты трус.

— Во сколько приходиться? — сердито спросил Толик.

Клятва Шурки Ревского

Выхода не было.

То, что Олег и вся компания могут посчитать его трусом, Толика не очень волновало. Хуже, что и сам про себя он будет думать так же, если не выполнит обещания. А от себя не спрячешься.

А если пойдёт, какие ещё испытания устроит пленнику компания, которая называет себя «отряд» и «робингуды»?

Может, взять Султана? Но сразу скажут: испугался одинто идти...

А может, ничего страшного не будет? Вроде бы неплохие пацаны. Конечно, гонялись, в плен брали, допрашивали, но это потому, что он не из их компании.

В томто и дело, что не из их...

Интересно бродить по незнакомым переулкам и делать открытия, но всё один да один... Толик теперь чувствовал, как наскучался он за две недели каникул без друзейприятелей.

Но откуда он взял, что отряд Олега захочет принять к себе мальчишку с дальней улицы? Пока они его чуть ли не шпионом считают. Допрос готовят... Ну и пусть!

Робость и гордость перепутались в Толькиных чувствах. И жутковато было, и любопытно. От всех переживаний рубчик под коленкой чесался почти непрерывно. Толик с нетерпением ждал вечера. Олег сказал: «В восемь часов...»

В семь пришла мама.

Вопреки ожиданиям Толика, мама не высказала восторга, когда узнала о рукописи Курганова. Даже известие, что Арсений

Викторович сделал стихи Толика эпиграфом, её не тронуло. Мама сухо спросила, с каких пор Толик стал решать за неё вопросы насчёт работы.

Толик упал духом:

- Я думал, ты захочешь. Ты же раньше всегда ему помогала... Он книжку написал, а ты...
- Я, конечно, напечатаю. Но не нравится мне твоя излишняя самостоятельность. Лучше бы ты тратил её на домашние дела. Пол не метен, посуда не мыта, а я и так кручусь...
- Маа, я всё сделаю!
- Сделаешь ты... За собойто последить не можешь. Посмотри на себя: исцарапанный, перемазанный, на майке дыра...
- Маа, я зашью!
- Воображаю... И ещё имей в виду: будешь мне раскладывать копирку. Сколько экземпляров просил Арсений Викторович?
- Д... три. А ты сегодня начнёшь печатать?
- Может быть, мне бросить все дела? У меня в машбюро полно работы, сегодня приду после десяти...
- Ну, что же, это было даже хорошо. Не придётся объяснять, куда это он вечером «смазал пятки».

...И вот опять Уфимская улица и зелёный двор, где стоит большой дом с застеклённой верандой.

Никто не встретил Толика, никто не окликнул, когда он шёл через двор. Лишь воробьи шастали в рябинах... Вот и закуток между забором и сараем...

Штабной навес оказался построен заново. И вся компания была здесь. Кроме Шурки...

Невысокое уже солнце светило через забор, и тень от навеса лежала на траве. Толик молча встал на границе этой тени.

- А, пришёл всётаки, — добродушно сказал Мишкастрелок.
- А мы думали...
- Ничего мы не думали! — жизнерадостно возразил Рафик.
- Я говорил, что придёт.

- Я тоже говорил, — серьёзно подтвердил Витя. — Почему не прийти, если человек не боится?
До этой минуты ощущал Толик под сердцем замирание, а в желудке холодок. А сейчас отпустило.
- Я же обещал, что приду.
- Ну, ладно, — снисходительно отозвался Олег. — Ты всё таки давай расскажи, что за человек и откуда... Ты садись.
Толик присел на ящик.
- Ну... я с Запольной человек, — начал он и сам улыбнулся такому началу. И ребята улыбнулись. Люся спросила:
 - Протоколто писать?
 - Не надо, пусть так рассказывает, — решил Олег. — Ты что в наших краях делал, если сам с Запольной?
И Толик рассказал, как делал для себя открытия.
 - Ха! Какие тут открытия, каждый закоулок давно обшарен, всё давнымдавно знакомо, — сказал Семён.
 - Это для вас знакомо... Вот когда Крузенштерн приплывал на дальние острова, их жителям тоже всё было знакомо, а для него было неизведанное.
 - Кто приплывал? — удивился Рафик.
 - Крузенштерн, — сказал Олег. — Знаменитый русский мореплаватель. — И обратился к Толику: — А ты что про него знаешь?
 - У меня книжка есть... — Про повесть Курганова Толик не сказал. Иначе получилось бы, что болтает о чужих делах.
Но ребята и без того вспомнили о кургановской папке.
 - А что это за бумаги ты тогда тащил? — подозрительно спросил Мишка.
 - Секретные документы? — подскочил Рафик.
 - Да это работа мамина, для перепечатки... Ну неужели вы по правде думаете, что это про ваш отряд сведения?
Конечно, никто так не думал, и все опять рассмеялись.
 - И Шурку вашего я ни про что не расспрашивал, — добавил Толик. — Я и не знал про вас тогда...
 - Это понятно, — покладисто сказал Олег. И строго прищурился: — Но с Шуркой мы всё равно должны разобраться до конца. Хватит с ним возиться.



- А его опять нет! — вмешалась Люся. — Было ему сказано: к восьми, а он...
 - Ещё, наверно, нет восьми, — заметил Толик. — Я раньше, чем надо, пришёл...
 - А вон и Шурик, — сказал Витя.
Шурка вбежал под навес и сразу встал по стойке смирно — запыхавшийся и привычно виноватый.
 - Явился красавчик, — усмехнулся Олег.
 - Я не опоздал, — быстро сказал Шурка.
Олег усмехнулся снова:
 - Раз в жизни... Завтра по такому случаю снег пойдёт. — Он утомлённо обвёл глазами ребят: — Ну, вот что, робингуды. Пора с Шуркой решать окончательно. Возмемся, возмемся...
 - Я же не выдавал никаких тайн... — полушёпотом проговорил Шурка. Задёргал на груди галстук матроски и тут же испуганно опустил руки.
 - Он не выдавал, — подтвердил Толик и подумал: «Сейчас скажут, чтобы не совался...» Но Олег сказал другое:
 - Не в тайнах дело. И не в сегодняшнем случае, а вообще... Ты, Шурик, нестойкий человек.
 - Почему? Я стойкий... — совсем шёпотом отозвался Шурка. Все, кроме Толика, засмеялись. Но негромко и без веселья.
- Люся сказала:
- Твои грехи записывать, дак никакой тетрадки не хватит.
«А зачем их записывать?» — подумал Толик. И Шурка еле слышно спросил:
 - А зачем записывать?
 - Затем, что без этого их не сосчитать, — весело хмыкнул Рафик. А Семён посопел и урюмо напомнил:
 - Вчера, когда мы на Чёрной речке футбол гоняли, ты посреди игры домой смотался.
Шурка, не глядя на него, сказал:
 - Сами же говорили, что от меня никакой пользы...
 - Всё равно команду в игре не бросают, — проговорил Витя и вздохнул, словно жалея Шурку.

- А если я маме обещал, что к шести часам домой приду...
- Ну и сидел бы с мамой на печке, — зевнув, заметил Мишка.
- А если я обещал, а потом не выполнил, тоже получится, что нестойкий...
- Если обещал, надо выполнять, — рассудил Олег. — Да только, прежде чем обещаешь, думать надо. Зачем было говорить, что придёшь к шести?
- Иначе меня совсем бы не пустили... — Шурка нагнул голову так низко, что тюбетейка едва не сорвалась с пружинистых кудряшек. Он схватился за неё и опять встал прямо.
- «Не пустили бы»... Вот она, твоя стойкость, — печально подвёл итог Олег. — Нет, ребята, помоему, хватит. Однажды он так подведёт, что всю жизнь беду не расхлебаем...

У Шурки шевельнулись губы:

- Не подведу я...
- Выгнать, да и фиг с ним, — скучно проговорил Мишка.
- А кто фотографировать будет? — напомнил Витя.
- Да он и с фотографированьем со своим всегда волынку тянет, — заметила Люся.
- Зато карточки хорошие, — возразил Витя.

Олег сказал:

- Карточки и правда хорошие, но это не причина, чтобы оставлять в отряде, если человек ненадёжный... Ты, Шурка, может, для обыкновенной жизни ещё коекак годишься, но для робингудовской — никак... Я предлагаю Шурку Ревского из отряда «Красные робингуды» исключить.

Шурка вздрогнул так, что тюбетейка над кудряшками подскочила. Он замигал, спросил тоненько и удивлённо:

— А я... тогда куда денусь?

Все смотрели мимо Шурки. Олег уже другим голосом проговорил:

— Вот и я думаю: куда ты денешься?

Витя помахал ресницами и нерешительно предложил:

— Может быть, ещё одно последнее предупреждение?

Мишка Гельман коротко засмеялся и сплюнул.

- Сколько их было, последнихто, — сказал Олег. — Тут надо другое... Если уж оставлять, пускай даст страшную клятву. Шурка с готовностью предложил:
 - Я могу кровью подписать.
 - Мишка опять засмеялся. Семён обстоятельно разъяснил:
 - Нельзя. Будешь палец колоть — в штаны напустишь.
 - Семён! — строго сказала Люся.
- Нет, надо другую клятву, — решил Олег. — Если уж оставлять его, пускай пройдёт испытание огнём и водой. И если такую клятву нарушит, не будет ему прощения... Шурка, ты согласен?

Шурка быстро закивал и наконец уронил тубетейку.

Семён притащил от колонки ведро с водой. Мишка на лужайке перед навесом развёл маленький костёр из щепок и газет. Витя и Люся прикатали от поленницы два брёвнышка и на них положили концами длинную доску. Получился гибкий мостик. С одной стороны, в метре от мостика, потрескивало пламя, с другой стояло ведро. От забора к навесу протянули верёвку. Через неё перекинули шпагат и подвесили на нём кирпич. Другой конец шпагата привязали внизу к доске...

Всё делалось слаженно, и Толику ясно стало, что эта операция придумана заранее. Для Шуркиного перевоспитания. Толик совсем убедился в этом, когда Олег достал из кармана листок:

— Вот тут клятва написана...

Один Шурка ни о чём не догадывался. Покорный и счастливый, что всётаки не исключили, он молча следил за приготовлениями, которые Толику казались жутковатыми.

Толик испытывал замирение, словно у него на глазах готовилась казнь. Но возмущаться и вмешиваться ему в голову не приходило. В этом дворе действовали свои законы. В непреклонности робингудов было чтото привлекательное. Толик чувствовал, что если и его заставят пройти испытание огнём и водой, он не сможет протестовать. Подчинится с

ощущением сладковатой покорности, под которой шевелится тёплый червячок любопытства.

Из дома принесли тёмную косынку, завязали Шурке глаза. Поставили его на середине тонкой доски — доска пружинисто прогнулась и задрожала под лёгоньким Шуркой. Кирпич висел прямо над его головой, почти касался тубетейки.

Мишка подбросил в костёр щепок, пламя взметнулось. Видно, Шурке припекло ноги, он быстро затоптался, доска закачалась. Привязанный к ней шпагат задёргал кирпич — тот слегка тюкнул Шурку по макушке. Все засмеялись, но Олег строго сказал:

- Тихо!.. Будешь приплясывать и дрожать от страха — получишь камнем по башке. Или свалишься — не в огонь, так в воду. Стой смирно и повторяй слова клятвы. Если дрогнешь — значит, у тебя в характере нечестность. И клятва будет недействительна.

Шурка прижал к бокам согнутые локти, вцепился в лямки штанов и замер, как парашютист перед прыжком.

Все встали в шеренгу (лишь Толик чуть в стороне). Олег отдельно заговорил:

- Клятва... «Я, Александр Ревский...» Повторяй!

Шурка сипловато и торопливо повторил. И повторял дальше:

- «Клянусь огнём, водой и небесными камнями... что никогда не подведу отряд „Красные робингуды“... Не выдам тайны, не испугаюсь опасности, не нарушу обещания... А если изменю этой клятве, пускай меня сожжёт огонь... поглотит вода... раздавит камнепад...»

Шурка повторил последние слова и нерешительно спросил:

- Всё?
- Всё, — слегка разочарованно сказал Олег. Он мигнул Мишке, и тот с размаху вылил в костёр воду.

Взлетел шипящий столб пара и пепла — будто джинн вырвался из кувшина. Шурка вздрогнул, кирпич опять клюнул его углом в тубетейку. Шурка присел, но с доски не соскочил.

- Ладно, — вздохнул Олег. — Кажется, выдержал...



Косынку сняли. Шурка счастливо размазывал по щекам попавшие на лицо брызги и чешуйки пепла.

Олег посмотрел на Толика, словно говорил: «Вот такая у нас жизнь». И спросил:

— Ну, что? Хочешь в наш отряд?

Толик торопливо кивнул.

Семён сказал недовольно:

— Пускай тогда такую же клятву даст.

— Емуто зачем? — добродушно отозвался Олег. — Видно ведь и так, что человек надёжный.

Замечательная жизнь

С этого дня время полетело неудержимо и весело.

Утром Толик спешил в отряд «Красные робингуды».

Отряд назывался так не оттого, что в нём занимались стрельбой из луков.

— Просто потому, что мы за справедливость, — объяснил Олег. — Робин Гуд всегда за справедливость сражался. А почему «красные», и так ясно. Не разбойники же мы, а пионеры.

Название придумал Олег. Он почти всё придумывал сам, потому что был командир. Толику он казался похожим на Тимура. Только Тимур — это всётаки из книжки и кино, а Олег — вот он, рядышком. И, может, не такой уж он героический и безупречный, но дела затевал всегда увлекательные и командовал справедливо.

Дисциплина у «Красных робингудов» была твёрдая и одинаковая для всех. Подчиняться ей было интересно. И Толик без обиды отсидел на «гауптвахте» час ареста за то, что однажды опоздал в штаб к назначенному сроку. Гауптвахта помещалась недалеко от штаба, у забора. Это была очищенная от лопухов и огороженная колышками с бечёвкой площадка. Крошечная. Посреди неё стоял чурбак для арестанта. Справедливый Олег сам один раз сел на него за вспыльчивость:

не сдержавшись, он хлопнул по шее бестолкового Шурку, когда тот два раза подряд закинул в чужой двор мячик.

Треснув расстроенного Шурку, Олег вздохнул, сказал ему «извини» и объявил, что садится на полчаса.

Арестованные не очень скучали: им разрешалось разговаривать с остальными робингудами. Но это если простой арест. А если строгий, приходилось молчать и стоять у забора «пятки вместе, носки врозь, руки по швам». Но строгий арест случился только один раз, да и то для Шурки. Шурка обещал сделать снимки для отрядного дневника, но вовремя не напечатал, потому что, балда такая, разлил дома проявитель на бархатное покрывало, которым вздумал зашторивать окно. Конечно, ему влетело от матери, какие уж тут фотографии...

Толику было жаль Шурку, но Олег сказал, что робингуд Ревский виноват сам: нельзя всю жизнь быть растяпой.

Шурка на командира не обиделся. Он считал Олега самым справедливым человеком. Потому что Олег научил Шурку ездить на велосипеде, стрелять из рогатки, сдерживать слёзы при ушибах и ссадинах и не очень бояться драки с одинаковым по силе противником. А перед теми, кто сильнее — в школе и на улице, — Олег за Шурку заступался и взамен не требовал никаких услуг. «Только чтобы ты не был такой размазнёй».

Но Шурка всётаки оставался размазнёй, хотя и симпатичной. На всех он смотрел своими ясными зеленоватожёлтыми глазами честно и бесхитростно. Со всеми был откровенным. Его спросят: «Шурка, зачем ты таскаешь летом тяжеленные ботинки?» А он: «Мама босиком не разрешает, а от сандалий, она говорит, развивается плоскостопие. А ботинки приучают к дисциплине, потому что их надо чистить и аккуратно шнуровать». Или ещё: «Шурка, спорим, что испугаешься пойти по жерди от забора до крыши». А он: «Нет, я пойду, если надо, но я обязательно свалюсь, я ещё не выработал иммунитет против боязни высоты». Вот такие фразы он иногда произносил. Видимо, научился у папы. Шуркин папа был адвокат. Чтобы

защищать в суде преступников, надо уметь говорить умные и хитрые речи.

Толик один раз спросил у мамы: зачем адвокаты защищают преступников, если те всё равно виноваты? Мама сказала, что не все, кого судят, преступники — случается, что человека обвинили напрасно. А бывает, что вина есть, но не такая большая, как сперва кажется. Вот адвокат и помогает разобраться.

Толику иногда казалось, что Шуркина вина во всяких происшествиях не такая большая, как говорит Олег. Но стать Шуркиным адвокатом Толик не решался. Впервые, Олегу виднее, они с Шуркой по соседству с младенчества живут. Во вторых, в отряде «Красные робингуды» слова командира не обсуждались. Не принято было. Вся компания Олега слушалась, потому что уважала.

Компания была всё та же, с которой Толик познакомился в первый день. Кроме Олега и Шурки — Мишка Гельман, Рафик Габдурахманов, Витя Ярцев да Люся и Семён Кудымовы.

Семёна все звали полным именем, вид у него был солидный, но характер такой: что скажешь, то и сделает, а сам не догадается. Люся гораздо живее брата была и любила повредничать.

У Рафика было полное имя Рафаэль. Не татарское, а скорее итальянское. Но он был «чистокровный» татарин, он сам так сказал однажды, когда объяснял, почему светловолосый и с синими глазами.

— Мои родители не из здешних татар, они до войны сюда из Казани приехали, а там много таких, светлых.

Родителей Рафика Толик несколько раз видел. Они были пожилые, морщинистые, всегда ходили вместе и ласково здоровались с ребятами. Неважно говорили порусски. А у Рафика лишь иногда проскакивал татарский акцент — при сильном волнении.

Жили Габдурахмановы в приземистом домишке на той же Уфимской улице. Толик однажды зашёл к Рафику и буквально

глаза вытаращил: всюду на стенах были разноцветные рисунки. Многобашенные дворцы и терема, гномы в пёстрых колпаках, всадники в старинных одеждах и диковинные звери.

— Сам рисовал?

Рафик кивнул смущённо, без привычного озорства.

— Наверно, тебя не зря Рафаэлем назвали, — сказал Толик, водя глазами по картинкам. — Был такой знаменитый художник.

— Знаю... Я читал. Только меня не изза этого, а просто так...

Рафик много читал. И в школе был почти отличником, это Витя Ярцев сказал, он учился с Рафиком в одном классе.

А сам Витя был «окончательный троечник», хотя по виду очень напоминал отличника: вежливый такой и аккуратный.

«Ему силы воли не хватает, — сказал както Олег. — А так он хороший человек, только чересчур добрый...»

Зато у Мишки Гельмана воля была что надо. Он даже и Олегу то не слишком подчинялся. Не то чтобы спорил, а просто пожмёт плечами, оттопырит губу и делает посвоему. Не всегда, конечно, а если в чёмто крепко не согласен. Впрочем, с Олегом они не ссорились. Потом уже Толик почувствовал, что Олег словно побаивается скучноватонезависимого Мишки и поэтому не командует им, как остальными...

В общем, непохожие друг на друга были люди робингуды, но компания составила дружная. И Толик недолго чувствовал себя новичком.

Дела у робингудов каждый день случались разные. Но всегда интересные. Например, собрали коллекцию минералов и устроили в штабе выставку. Гор и месторождений поблизости не было, но в пяти кварталах от Уфимской, на окраине Новотуринска, прокладывали рельсовую ветку и навезли туда кучи камней и щебёнки. Лазишь по этим грудам — и будто ты среди настоящих скал и осыпей. Можно набрать осколков разного гранита с искорками слюды, кварца, похожего на мутный хрусталь, разноцветных полевых шпатов, серых

камушков с вкраплениями медного колчедана. И ещё всяких пород, названий которых не знаешь (Олег потом определит)...

Были, конечно, и всякие игры: в лапту, в штандер, в разведчиков, в «попагоняла».

Один раз отряд организовал настоящую тимуровскую работу. Соседской старушке привезли дрова, и «Красные робингуды» лихо перетаскали их во двор и сложили в сарае. Потому что Олег решил: «Хватит прыгать и бездельничать, надо людям показать, что от нас и польза есть». Правда, тайного дела, как у Тимура, не получилось, бабка находилась тут же и руководила укладкой, а потом одарила работников карамельками. Но Олег сказал:

— Главное не тайна, а результат... Пошли купаться!

Купались на Военке. Так называлось место на Чёрной речке. В недавние годы войны неподалёку стоял учебный полк, и бойцы построили на речке плотину, получился пруд. На плоской травянистой площадке у берега полк иногда разворачивал громадные брезентовые палатки для летней бани. От тех времён и осталось у пруда название. Сейчас в нём купались мальчишки с окрестных улиц. На береговой площадке хорошо было гонять мячик. Иногда, правда, мяч (особенно если бил по нему Шурка) летел в воду или в тётку, полоскавших на мостках бельё. Тётки громко, но не очень сердито кричали на ребят и с размаху лупили по воде мокрыми рубахами и полотенцами...

В бесконечно длинном солнечном июле случались и дождливые дни. Тогда робингуды собирались на пустой застеклённой веранде Олегова дома. Играли в лото, в домино, а то и в подкид ного. Или рассказывали всякие истории. А бывало такое настроение, что пели под шорох дождя песни: «Прощай, любимый город», «В атаку стальными рядами», «Варяга» и печальную песню о пограничнике, который погиб, когда один отбивался от врагов... Собственно говоря, пел один Витька, а остальные просто подтягивали. Голос у Витьки был такой чистый и звонкий, что иногда просто в глазах щипало. Особенно если запоёт: «Вот и пришлось на рассвете ему голову честно сложить...»

Иногда приходила молчаливая Олегова мама в длинном халате. Улыбалась ребятам, ставила на табурет чайник, блюдец с сахаром и тарелку с сушками или бутербродами.

В середине дня подкатывала к воротам забрызганная голубая «эмка» — это приезжал на обед старший Наклонов. Он был начальником какого-то треста.

У всех, кроме Мишки Гельмана, были отцы. Толика это удивляло. В классе, где учился Толик, больше чем у половины ребят отцы не вернулись с войны. А здесь, у робингулов, только и слышишь: «отец велел», «папа обещал купить», «это папин фонарик был, он мне его насовсем отдал»... Толик не завидовал. Радоваться надо, что робингудам так в жизни повезло. Но иногда скрёб его по душе горький коготок.

Война есть война, от отца осталась только довоенная фотография да воспоминания о скрипучей португее и шероховатой гимнастёрке со звёздочкой на рукаве. Но, может быть... может быть, мама и Дмитрий Иванович наконец по настоящему полюбят друг друга и решат пожениться? Раньше Толика царапала мысль: а не будет ли это изменой отцу? Потом он решил, что не будет. Измена — это если бросают живого. Вот как, например, на той квартире, где они с мамой жили раньше, к соседке тётке Клаве вернулся из госпиталя одноногий муж, а она ему: «Куда ты мне такой? У меня другой есть, с руками ногами...» Если бы отец вернулся хоть какой, хоть совсем искалеченный, для Толика, для мамы, для Вари было бы такое счастье... Но что теперь делать, раз его нет? А Дмитрий Иванович хороший человек. Если бы они с отцом воевали в одном полку, то могли бы стать боевыми друзьями...

Или если бы мама познакомилась получше с Арсением Викторовичем... Но нет, он старый, мама за него не пойдёт...

Несколько раз Толик забегал к Арсению Викторовичу. Тот радовался, угощал чаем. Однажды Толик пришёл, когда Курганов регулировал хронометр. Отвёрточкой поворачивал медные цилиндрики на балансире. Он доверил Толику

подержать в ладонях тикающий механизм. Сердце хронометра стучало доверчиво и ласково, даже с какимто мурлыканьем. С такой доверчивостью сидит на руках у знакомого человека соскучившийся котёнок.

Толик улыбнулся про себя и не стал пока рассказывать, как сам ставил точное время и запускал хронометр. Нет, он не боялся, что Курганов рассердится или обидится. Просто хронометр и Толик словно договорились сейчас: пусть у них двоих будет своя тайна...

Курганов спросил:

— Ну а как там... моё творение? Печатается?

— Конечно! Уже больше половины готово!

Мама теперь была в отпуске, поэтому печатала рукопись Курганова каждый день. Утром, прежде чем умчаться к робингудам, Толик прокладывал копиркой чистые листы. Три листа, а между ними две копирки — и так двадцать раз. И, возвращаясь вечером домой — набегавшийся, накупавшийся, обжаренный июльским солнцем, с гудящими ногами и привычно ноющими царапинами, Толик знал, что его сегодня ждёт ещё одна радость: двадцать новых страниц с рассказом о плавании «Надежды». И, бухнувшись в постель, он читал о приключениях на Нукагиве, о гневных стычках Крузенштерна и Резанова, о страшном тайфуне у берегов Японии, когда матрос Курганов спас двух товарищей, о неудачных переговорах Резанова с японскими чиновниками, о встрече моряков с жителями Сахалина...

Мама печатала иногда и по вечерам. Ей тоже нравилась по весть Курганова, и она говорила, что работает с удовольствием.

Машинка у мамы была старая. Даже старинная. Называлась «Ундервудъ». Мама купила её перед войной в комиссионном магазине. На машинке были клавиши с буквами, каких теперь и не встретишь. Например, «и» в виде палочки с точкой и «ять», которая похожа на твёрдый знак, но читается как «е».

От старости звук у клавиш сделался дребезжащий. Когда мама торопилась, машинка словно захлёбывалась, и в звонком

стрёкоте пробивалось какоето бульканье. Этот голос машинки был знаком Толику с младенчества. Она казалась ему живой. Ну, скажем, такой же, как Султан. Или... как хронометр.

Конечно, Толик любил машинку. И умел печатать на ней, хотя гораздо медленнее, чем мама, и с ошибками.

А один раз Толик даже отремонтировал машинку. Снизу к ней была привинчена плоская деревянная подставка (наверно, чтобы механизм не рассыпался от древности), и вот случилось, что один винт выкрутился и потерялся. Толик нашёл в своих запасах новый болтик и туго ввинтил его в гнездо.

При этом он заметил интересную вещь: подставка, оказывается, не из сплошной доски, а из двух тонких, как фанера, досочек с прокладками из реек по краям. С края подставка рассохлась. Толик подковырнул ногтем и вытянул боковую рейку. Открылась тёмная щель: подставка была пустая. Можно засунуть, например, тетрадку или тонкую пачку бумаги. Тайник!

Толик сперва хотел сказать про тайник маме, а потом раздумал. Решил, что спрячет туда запас копирки. Однажды копирка у мамы кончится (такое порой случалось), тогда Толик откроет свою тайну. Мама удивится и обрадуется.

Но в эти июльские дни копирки хватало. И случилось так, что удивилась мама по другому поводу. И не обрадовалась, а устроила Толику нахлобучку.

Он прибежал в середине дня, чтобы перекусить. С ходу чмокнул маму в щёку и спросил, нет ли молока, потому что пить и есть хочется одинаково. И наткнулся на нехорошее молчание.

— Ну чего? — сказал он. — Я же всё сделал, что ты велела.

Копирку разложил, воды принёс два ведра. Эльзе Георгиевне за хлебом сбежал...

Глядя вверх Толика, мама проговорила:

— Иду я сегодня с рынка и встречаю Арсения Викторовича. «Здрасте». — «Здрасте». — «Как дела?» — «Прекрасно, скоро закончу печатать...» — «Ах, как замечательно! Пусть тогда Толик первый экземпляр сразу принесёт, а второй — когда

прочитает...» — «Хорошо. А тре...» — И тут я прикусила язык. Анатолий, сколько экземпляров просил сделать Арсений Викторович?

Толик немойтой пяткой зачесал рубчик под коленом.

— Ну... это...

— То есть третий экземпляр ты решил «заказать» для себя?

— А чего такого... — пробормотал Толик, заполыхав ушами. — Жалко, что ли?

— Объяснять ещё надо, «чего такого»? Впервые, ты мне бессовестно наврал! Вовторых, я столько лишней бумаги перевела! А втретьих, ты без разрешения автора хотел присвоить экземпляр произведения!

— Я же не без разрешения! — отчаянно сказал Толик. — Я бы потом спросил! А если нельзя, отдал бы ему все три!

— Это ты сейчас так говоришь.

— Нет! Честное робингудовское!

— Это что ещё за новая клятва?

— Ну... это наша, у ребят. Ну, честное пионерское!

— Спрашивать надо было раньше, а не после времени.

— Я думал, что можно и потом...

— Он «думал», — уже не так строго проговорила мама. — Я вот тоже думаю: всыпать тебе, как я давно собираюсь, или засадить на неделю дома, чтобы поумнел?

— Маа... Лучше уж всыпать, — весело сказал Толик, поскольку гроза явно рассеялась. — А сидеть дома — это же с ума сойти! Каникулы такие короткие!

— Ты у меня когданибудь в самом деле дотанцуешься... Чтобы сегодня же всё рассказал Арсению Викторовичу, ясно?

— Так точно, товарищ командир! — Толик стукнул упругими пятками о половицы и задрал подбородок.

— Иди мыть руки, грязнуля...

К Курганову Толик зашёл сразу после обеда, чтобы добросовестно покаяться. Но Арсения Викторовича дома не оказалось. Толик решил, что для очистки совести сделал пока

всё, что нужно, и помчался к Олегу. Там сперва ремонтировали покосившийся штабной навес, а потом до вечера играли в лунки.

Толику везло. Мячик то и дело вкатывался в его лунку. Толик его ловко хватал и, когда кидал, ни разу не промахнулся. Поэтому он то и дело оказывался то «царём», то «судьёй», то в суровой должности «палача». А среди тех, кого за промахи «казнят» мячом, он не оказался ни разу.

Но когда играли последний кон, везение кончилось. «Царём» стал Олег, «судьёй» Мишка Гельман, а в «палачи» неожиданно попал Шурка. Он сразу принял грозный вид.

Олег сел на «трон» — ящик изпод масла. Мишке косынкой завязали глаза, он уселся на землю ко всем спиной.

Проигравшие по очереди подходили к «царю».

— Какое наказание справедливый судья назначит этому преступнику? — вопрошал Олег.

Мишка, никого не видя, наобум определял число горячих. От трёх до десяти, как придёт в голову.

— Наше царское величество утверждает приговор, — каждый раз говорил Олег. Только Люсе, которой досталось от судьи «десятка», он милостиво сократил число мячиков наполовину.

Толику выпало семь горячих. Он поёжился. Мячик был тяжёлый и твёрдый — для игры в теннис. Как всадят таким между лопаток — в глазах разноцветные зайчики... Ну да ладно, Шурка сильно кидать не будет, он бросает изза плеча, как девочка...

Толик первым пошёл к забору, встал носом к доскам. Сказал Шурке со вздохом:

— Давай скорее, что ли...

А Шурка, видать, старательно целился, время тянул. У Толика даже позвонки зачесались.

Мячик свистнул и гулко стукнул о доску у плеча. Промах!

Ага, Шурка! Держись теперь...

Если «палач» мазал, он менялся местами с «осуждённым».

Шурка, путаясь ботинками в лебеде, пошёл к забору. Упёрся в доски растопыренными ладонями. Замер...

Целиться в Шурку было удобно: белые лямки перекрещивались точно в середине его голубой спины, пониже матросского воротника. Толик поднял мячик и прищурил левый глаз.

Шурка, видно, ощутил спиной этот миг. Тоненькая шея его задервенела, пальцы зацарапали доски. Ох, Шурка ты Шурка...

Степясь самого себя, Толик вздохнул и сильно пустил мячик в кружок от сучка в полметре над Шуркиной головой. Забор ухнул, Шурка удивлённо оглянулся. Все радостно завопили: «Мазила!»

Мишка потёр ладони. По правилам теперь Толик опять вставал к забору, непутёвого «палача» Шурку прогоняли «в отставку», а дело брал в свои руки «судья». Толик пошевелил плечами: уж Мишкато не промажет.

И Мишка не промахнулся ни разу. Когда Толик шёл домой, спина у него всё ещё ныла и стонала.

Вдруг догнал Толика Шурка. Молча затопал рядом.

— Ты чего? — удивился Толик.

— Так... — сказал он.

Шурка шёл, нагибался, отдирая на ходу от чулок репей и, замахиваясь подевчоночьи, кидал их в сидевших у калиток ленивых кошек. Те презрительно щурились.

Шурка бросил последний репей и неожиданно сказал:

— А я в тебя нарочно не попал... Не веришь?

Толик удивился, но сразу поверил. И спросил неловко:

— А зачем?..

— Так... А ты в меня тоже нарочно промазал, да?

— С чего ты взял? — буркнул Толик.

— Я знаю.

— Глупые мы с тобой, — сердито сказал Толик.

Шурка мотнул курчавой головой, подхватил тубетейку.

— Нет. Я не думаю, что мы такие уж глупые.

Они молча прошли ещё с полквартила. Был совсем вечер.

— Мне пора, мама будет волноваться, — сказал Шурка.

— Ага. Беги...

— Спокойной ночи, Толик...

И Шурка побежал, стуча ботинками и держась за тубетейку.
А Толик шёл и думал, что день сегодня был хороший.

На этом радости дня не кончились. Дома оказалось, что приехала на каникулы Варя. Толик заверещал и повис у неё на шее.

— Голову отлочишь! — закричала Варя. — Пусти, чёртушка!..
Толька, я кому говорю!

Коекак она освободилась. Проворчала, оглаживая косы:

- Маленький, что ли? Вон какой вымахал... Мама, а правда, смотри, как он вырос. Длинноногий какой и тощий...
- Тощий, потому что носится целыми днями. С такой жизни можно совсем скелетом стать.
- Не! — сказал Толик. — У меня замечательная жизнь!

Есть остров на том океане...

Скоро Толик убедился, что и в замечательной жизни без тревог не обойтись. Бывают, конечно, совсем беззаботные дни, но потом всё равно чтонибудь случится... Всё оставалось по прежнему, только глаза у мамы были теперь невесёлые.

Нет, мама не сердилась на Толика, не срывала на нём досаду, как бывало при мелких неприятностях. Наоборот, ласковая была. Но какаято слишком рассеянная. Даже не спросила ни разу, сказал ли Толик Арсению Викторовичу о фокусе с третьим экземпляром (а он, кстати, всё ещё не сказал).

Толик всегда чуял, если маме плохо. И сейчас он смотрел на неё с беспокойством, но спросить, что случилось, не решался. Во первых, мама обязательно скажет: всё в порядке, не выдумывай. Вовторых, Толик чувствовал, что расспросы её ещё больше расстроят, а беде не помогут. Но всётаки, что за беда?

Толик решил взяться за Варю. Ейто всё известно. Недаром они с мамой опять, как весной, шепчутся, будто подружки.

Варя сперва упёрлась: ничего не знаю, отвяжись. Но тут уж он вцепился в неё мёртвой хваткой. Варя повздыхала, пооглядывалась, взяла с Толика страшную клятву молчать и рассказала.

Мама ходила такая расстроенная изза Дмитрия Ивановича. У того нашлись жена и дочка. На Украине. Как нашлись? А вот так. Он думал, что они убиты в Киеве при бомбёжке, но они уцелели. Выжили и потом, когда в Киеве были немцы. А в начале сорок пятого, после запроса о Дмитрии Ивановиче, получили извещение, что он пропал без вести... Теперь вот они отыскались и он отыскался. Скоро поедет в Киев.

Конечно, тут радоваться надо. И, конечно, мама радуется, что такое у Дмитрия Ивановича счастье. Но...

— В общем, всё так в жизни запутано, — вздохнула Варя. — И радость, и печаль... Ты ведь большой уж, понимаешь.

Толик был, конечно, большой, но сейчас приткнулся к Варе, как маленький, чувствуя и грусть, и облегчение оттого, что кончилась неизвестность. Жаль, разумеется, что Дмитрий Иванович не будет с ними, но раз уж так вышло, то пусть... Проживут они и втроём: Толик, мама и Варя.

Он прилёг Варе на плечо, посчитал на её подбородке редкие и светлые, как у мамы, веснушки. Сказал шёпотом:

— Варь, а ты папу хорошо помнишь?

— Конечно. Я же тебе рассказывала...

— Ага... Варь, а вдруг на него похоронка тоже ошибочная? Варя молча погладила его по голове. Толик и сам понимал, что на чудо надежды нет. Красноармейцы писали, что политрук Нечаев погиб у них на глазах: мина разорвалась точно в том месте, где за полсекунды до этого видели политрука...

— Варь, а Дмитрий Иванович насовсем уедет?

— Наверно...

— Ну ладно... Ты попроси маму, чтобы так не горевала, нельзя же изза этого всю жизнь себя изводить.

- Всю жизнь она не будет, — серьёзно пообещала Варя.
- И правда, через пару дней мама была уже почти такой, как прежде. Вечером она устроила Толику нагоняй за то, что лезет в постель с невымытыми ногами, а утром — ещё один: за то, что положил между листами копірку не той стороной:
- Разиня! Я могла испортить два десятка страниц!.. Кстати, ты сказал Арсению Викторовичу про третий экземпляр?
- Я заходил, а его дома нет...
- Целыми днями нет дома? Ох, займусь я тобой...
- Толик порадовался маминому бодрому настроению и подмигнул Варе. А она ему. Тогда Толик отозвал Варю в коридор и весёлым шёпотом предложил:
- Знаешь что? Женилась бы ты скорее. То есть это, выходила бы замуж. Вот и будет мужчина в доме.
- Долго думал? — спросила Варя.
- Ага. Вчера целый вечер.
- Хорошо. Идика сюда... — Варя сняла с гвоздя самодельную мухобойку из деревяшки и подошвы. Толик захохотал и ускакал во двор. Там его нашёл Витя Ярцев, который появился со срочным известием.

Известие было такое: к Рафику из Казани приехал дядюшка, привёз в подарок масляные краски, воот такую коробку. Рафик на радостях пообещал всем нарисовать новые рыцарские гербы. Старые совсем пооблиняли, а у Толика и вообще никакого нет.

— Олег велел, чтобы ты придумал скорее, какой тебе надо...

Толик давно уже придумал, но стеснялся спросить Олега, можно ли сделать себе щит с эмблемой.

Щиты с гербами были у всех, кроме Толика. У Олега — скрещённые факел и меч на тёмносинем фоне. У Мишки Гельмана — оранжевый щит, а на нём чёрнобелая мишень с перекрестьем. У Семёна — крепостная башня на клетчатом фоне — чтото шахматное, хотя насчёт шахмат он был ни в зуб ногой.

У Вити — луна и солнце на чёрносинем щите. Рафик нарисовал себе почемуто гибкого оленёнка из цветного мультипликационного фильма «Бэмби». Оленёнок, выгнувшись, летел над пушистыми деревьями. Это был совсем не грозный герб, но самый красивый. У Люси на чёрном щите желтела комета с хвостом, похожим на растрёпанную косу.

Даже у Шурки был щит — с голубыми и тёмносиними полосками наискосок и жёлтыми буквами А. Р. — Александр Ревский. Шурка хотел чтонибудь боевое, но Олег не разрешил:

— Хватит пока и этого. Ты хотя и Александр, но Ревский, а не Невский...

Толик придумал себе, конечно, щит с якорем. А с чем же ещё? Щит — синий, как море, якорь жёлтый, как начищенная корабельная медь, а в нём — чёрная буква Т. Она так хорошо врисовывается в якорное тело с перекладкой.

— А теперь нарисуй звёздочку, — попросил Рафика Толик и ткнул в верхний угол щита. — Красной краской. Маленькую...

Он насупился, ожидая, что Рафик спросит: зачем?

Но Рафик молча нарисовал. Маленькую и тёмнокрасную. Как та суконная звёздочка на шерстяном рукаве гимнастерки...

Олег сказал:

— Ты не забудь себе и меч сделать. Скоро начнём тренировки по фехтованию. Я книжку достал, там всякие приёмы описаны...

— Я уже сделал, — признался Толик.

Новый герб прибили рядом с остальными. Олег похлопал по картону, потом по спине Толика:

— Твой щит на воротах Цареграда...

— Он всего «Вещего Олега» знает наизусть, — гордясь командиром, сказал Шурка. — И вообще все стихи Пушкина.

— Болтун ты, Шурка, — снисходительно отозвался Олег. — Кто же всего Пушкина может выучить?.. Я, конечно, знаю кое что, но не так уж много. И вообще я больше люблю Лермонтова. Я его «Воздушный корабль» буду на концерте читать.

Оказалось, что, пока Толик выяснял семейные дела, робингуды затеяли новое дело. Решили дать концерт для окрестных жителей. Олег напомнил, что надо не только свистать по улицам, но и о пользе людей думать.

В саду, где ребята много раз играли в партизан и в пряталки, была концертная площадка. В давние годы здесь выступал оркестр, а во время войны сад заглох, и теперь до него ещё ни у кого не доходили руки. Часть эстрады и многие скамейки растащили на дрова, но настил сцены чудом сохранился и даже не очень прогнил. Олег сказал, что для робингудовского концерта сгодится, артисты лёгкие. Главное не сцена, а репертуар.

- Что? — удивился непонятному слову Семён.
- Номера всякие... У тебя ведь есть баян?
- Он умеет на баяне только «Раскинулось море широко» играть,
— сказала Люся.
- Ну и сойдёт. А Витька споёт.
- Лучше уж я без баяна спою, — скромно сказал Витя. — А то он как загудит, я и собьюсь.
- Ладно, Семён отдельно выступит, и ты отдельно... А ещё надо пьесу поставить, я в «Затейнике» поищу...

«Затейник» — это журнал, где печатаются всякие игры, стихи, описания танцев и пьесы для школьных спектаклей. У Олега была целая пачка «Затейников». Но подходящей пьесы там не нашлось. Попадались то слишком скучные, без приключений, то длинные и такие, где требовалось много девочек. А у робингудов — одна Люся.

- Ладно, чтонибудь придумаем, — пообещал Олег.

Через два дня собрались на веранде, и Олег вытащил из кармана мятую тетрадку.

- Вот... я сейчас прочитаю. В общем, это пьеса...

Толик впервые увидел, что Олег смущается и, кажется, даже побаивается. Витя сказал Толику уважительным шёпотом:

- Это он сам сочинил.



Пьеса называлась «Случай на границе» и была про то, как находчивые мальчишки из пограничного посёлка отправились в лес и наткнулись на диверсанта. Пока двое ребят хитростями удерживали нарушителя на месте, третий помчался на заставу. Но опытный шпион догадался о ловушке, и ребятам пришлось вступить в схватку. Пограничники — офицер и солдат — подоспели в последний момент, когда всюю кипел бой.

Пьеса всем понравилась. Правда, Толику показалось, что где то он уже читал или слышал по радио чтото похожее. Но что поделаешь, про шпионов полнымполно всяких книжек, спектаклей и кино. Поневоле получаются совпадения. И Олег же не списывал откудато, а сочинил своими словами.

Когда стихли похвалы, Олег, розовый от писательского счастья, стал распределять роли. Шпионом он назначил Семёна, в ребячью компанию — Рафика, Витю и Толика. Солдатом пограничником сделал Мишку, а командиром, разумеется, себя. Для этой роли у Олега и костюм подходящий, оказывается, был: гимнастёрка, галифе и фуражка. Военную форму ему сшили весной для участия в школьном празднике «День Победы».

Люсе и Шурке ролей не досталось, но Олег сказал, что у Люси и так много забот: объявлять все номера концерта и заведовать театральным имуществом. А Шурке придётся отвечать за звуковое оформление. Во время схватки со шпионом он должен уронить груды ящиков — это будет изображать разрыв гранаты. А в самом конце спектакля Шурка включит патефон с пластинкой «Торжественный марш»...

— Если не уронит ящики на патефон или не сядет на пластинку, — заметил Мишка. Олег его одёрнул и сообщил, что на Шурку он надеется: робингуд Ревский за последнее время заметно подтянулся...

Репетировать начали тут же, на веранде. Слова запомнили быстро, их не так уж много было. Главное — не в словах, а в той сцене, когда мальчишки дерутся со шпионом, выхватывают у него пистолет, а он швыряет в них гранату. Нужно было отработать все приёмы.

Отрабатывали два часа подряд. Мама Олега выглядывала из за двери и покачивала головой. Люся держала наготове медную крышку от самовара: чтобы прикладывать к шишкам и синякам. Дважды она мазала йодом на актёрах нешуточные ссадины... Шурка изображал гранатные взрывы — вдохновенно швырял на пол фанерный лист.

Рафик наконец сказал:

— Ты поосторожней с фанеройто. Мне на ней афишу рисовать.

Афишу Рафик лихо намалевал масляными красками: белой, красной и синей. Она сообщала, что 20 июля 1948 года в саду на Ямской улице тимуровский отряд «Красные робингуды» даст для местных жителей пионерский концерт.

Лучше всего на афише получился клоун: с белой смеющейся рожёй, с красными волосами, в клетчатых штанах и громадных ботинках. В программе концерта никакого клоуна не было, и Шурка робко заметил, что получается обман. Олег возразил:

—Клоун просто означает, что концерт будет весёлый. И все согласились.

Но, по правде говоря, веселья в концерте не ожидалось. Схватка со шпионом — дело опасное, что же тут смешного? Остальные номера тоже серьёзные. Музыка «Раскинулось море широко», Витькины песни про пограничника и крейсер «Варяг», стихи про юного героя Ваню Андрианова, которые взялась прочитать Люся. Шурка тоже вызвался читать героические стихи — про Севастопольский камень. И, надо сказать, читал неплохо. Может, слишком тонким голосом, но с выражением.

Но лучше всех декламировал, конечно, Олег:

По синим волнам океана,
Лишь звёзды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несётся,
Несётся на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Олег читал эти стихи каждый раз в конце репетиции. Робингуды рассаживались по углам пустой веранды, Олег выходил на середину, секунды две стоял молча, потом откидывал волосы, смотрел вверх голов и говорил первую строчку негромко, задумчиво, будто сам с собой разговаривал. Потом голос его звучал крепче, но оставался печальным.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Стихи были длинные, но каждый слушали внимательно, не дышали громко и не ворочались. Лишь однажды Мишка Гельман отсидел ногу и шумно зашевелился. Люся на него цыкнула. Олег оборвал чтение. Толик сказал:

— Ну, тихо вы. Дайте дослушать.

Мишка огрызнулся, потирая колено:

- Чего про него десять раз слушать? Всё равно он был враг.
- Кто? — удивился Семён.
- «Кто»! Наполеон!

— Разве это про Наполеона стихи? — не поверил Семён. — Ты чего врешьто?

Мишка, услышав такое невежество, невоспитанно плюнул.

- Это же всё равно будто сказка, — заступилась за стихи Люся.
- Про волшебный корабль.
- А Наполеон тогда уже и не враг был, — сказал Олег. — Он пленный был. Пленные врагами не бывают.
- Ага, «не бывают»! Он Москву сжёт, — сказал Мишка. — Может, вы и с Гитлером целоваться стали бы, если война кончилась?

— Дурак ты! — сказала Люся.

Шурка повозил ботинками по полу и неуверенно проговорил:

— Наполеон всётаки не Гитлер. Он, конечно, враг был, но всё таки не такой. Он благородный был...

— Сам ты благородный, — хмыкнул Мишка. — Попал бы ты к нему в лапы...

— Ну и попал бы, — отозвался Шурка. — Тогда пленных не пытали и не расстреливали, потому что война была по правилам.

— Тоже расстреливали, я книжку читал, — сказал Витя. — Но всётаки не так сильно. Тогда фашистов не было.

Рафик вставил своё слово:

— Если бы Наполеон был совсем уж враг, тогда про него стихи не печатали бы...

— Да тут дело не в Наполеоне, — сказал Толик.

—А в чём? — оживился Олег. Ему нужна была поддержка.

Толик засмутился и вздохнул:

— Я не знаю, как объяснить словами... При чём тут Наполеон? Это стихи про одинокое настроение, когда человека все бросили. Потому что остров такой...

— Какой? — спросил Рафик.

— Это же остров Святой Елены. Он вообще печальный... На нём наш моряк, лейтенант Головачёв, тоже погиб. Там его могила...

— Разве наши на том острове воевали? — удивился Мишка.

— Да не воевали... Это давно было, когда Крузенштерн плывал.

— А почему он погиб? — спросил Шурка. — Дикари убили?

— Да не было там дикарей, что ты!.. Он сам застрелился...

— Почему? — У Шурки жалобно приоткрылся рот.

— Я ещё не знаю точно, я не дочитал. Но, помоему, тоже от этого... от одиночества.

—А какая это книжка? — спросил Олег. — Дашь почитать?

Толик устоял перед соблазном: не стал рассказывать о

Курганове и его повести. Не знал, имеет ли право. Он только

объяснил, что мама перепечатывает для редакции одну рукопись и даёт ему почитать. Когда он всё прочитает — пожалуйста, расскажет подробно. А пока... если, конечно, они хотят... он может прочитать свои стихи про плавание, про Крузенштерна.

Как это у него вырвалось? Отчего? Может, оттого, что вспомнились вечера у камина, тиканье хронометра, карта на стене и ощущение, будто совсем рядом, за окнами, море? Сейчас тоже был хороший вечер и рядом сидели друзья, и Толику захотелось разделить с ними настроение морской таинственности...

Но дело, наверно, не только в этом. Хотелось ещё... нет, не похвастаться, а просто показать, что он не хуже других. Олег пёсу написал, а он, Толик, вот... тоже умеет...

А может, просто бес под язык толкнул. Так или иначе, слова сорвались, не поймаешь. Конечно, у Толика тут же запыльхали уши, да было поздно.

— Давай, выходи на середину, — велел Олег.

— Да нет, я здесь...

— Выходи, выходи. Чтобы как следует.

Ох, зачем он сболтнул? Хоть бы провалиться сквозь веранду. Толик жалобно сказал:

— Но они ведь не как у Лермонтова. Они... самодельные.

— Давай, давай, — сказал Олег.

Толик вышел, помигал, чтобы не так щипало в глазах от смущения, покашлял... ну и ничего, прочитал. Внятно и без торопливости. Потому что, раз уж напросился, куда деваться?

Ребята помолчали, посмотрели друг на друга, и Люся неожиданно захлопала. Тогда и другие захлопали. И у Толика опять затеплели уши, а Олег сказал:

— Мы и не знали, что ты поэт.

— Да никакой я не поэт! Это я случайно сочинил.

— И больше никогда ничего не писал? — удивился Олег.

— Никогда! — Про стихи о месяце Толик опасливо умолчал.

У Олега мелькнуло на лице то ли облегчение, то ли удовольствие. Но тут же опять он стал командиром:

- Эти стихи ты обязательно прочитаешь на концерте.
- Я?! — ужаснулся Толик.
- Конечно. Чего им пропадать?
- Но... это же не Лермонтов, — опять жалобно сказал Толик.
- Как это будет? По сравнению с ним...
- Зато это твои собственные стихи. У нас так и называется — самодеятельность... В общем, это тебе боевое задание.

- Толик успокоился. Если задание — никуда не денешься. Олег — командир, а Толик — рядовой робингуд.
- И ещё задание, — сказал Олег. — Попроси маму напечатать для концерта пригласительные билеты. Сто штук.

Мама сказала, что напечатать билеты Толик мог бы и сам: не маленький, знает, как управляться с машинкой.

- Даа... А сколько я провожусь!

Мама смиловилась и напечатала. И оставила два билета — себе и Варе:

- Посмотрим, что вы за артисты.

У Толика от волнения засосало в животе, как в начале первого экзамена. И привычно зачесался рубчик под коленом...

В день концерта мама выгладила Толику галстук и белую рубашку и достала из шкафа полузабытый вельветовый костюм. Лишь тогда Толик понял, что он и правда вырос за эту половину лета. Жилет еле прикрывал пряжку на поясе, а чтобы застегнуть под коленками манжеты штанов, пришлось изо всех сил натягивать их вниз. И тем не менее, глянувши в зеркало, Толик остался доволен. Он, как и раньше, показался себе похожим на юного капитана из жюльверновской книжки. Тем более что волосы отросли, а лицо покрылось крепким, как густой чай, загаром.

От Дика Сэнда и Жюля Верна мысли скользнули к другим парусам, к Крузенштерну, к острову Святой Елены. К печальным стихам о воздушном корабле... К своим стихам.

Правильно ли, что он согласился их прочитать? Задание заданием, но можно было и упереться. Наверно, Олег не стал бы

приказывать по всей строгости... И зачем Олег вообще такое задание дал? О концерте заботился? Или...

Впервые у Толика мелькнуло недоброе подозрение о командире робингутов. Олег пьесу сочинил, значит, считает себя немножко писателем. Его за такой талант стали ещё больше уважать. И вдруг появляется ещё один «писатель». Вроде как соперник... И не нарочно ли Олег Наклонов Толика с его самодеятельными стихами выставляет рядом с собой? То есть с Лермонтовым, с «Воздушным кораблём»? Может, думает: «Пусть все увидят, что у Толика Нечаева стихи — просто детский лепет...»

Но... разве Олег такой? Разве он когданибудь когонибудь подводил? И Толик разозлился на себя. Особенно когда вспомнил ясное лицо Олега и то, как он красиво подымает голову и откидывает волосы, начиная читать «Воздушный корабль»...

...Он так и читал на концерте. И когда кончил, ему здорово хлопали. Шум стоял по всему саду, потому что на прогнивших скамейках перед эстрадой и прямо на лужайках собралось не меньше ста человек. Это и понятно: билеты робингуды побросали в домашние почтовые ящики на всех ближних улицах. Толик в глубине души это легкомыслие не одобрял. Он побаивался, что могут прийти и такие зрители, которые будут не смотреть и слушать, а свистеть и кукарекать, издеваться над артистами. Особенно если появятся пацаны с Ишимской во главе с известным второгодником и шпаной по кличке Баня... Однако Баня с компанией не явился, а пришли нормальные ребяташки из ближних кварталов. А ещё — домохозяйки с мелюзгойдошколятами. Было несколько тётенок, похожих на инспекторш горono, и два солдатаотпускника. И родственники артистов. В том числе и мама с Варей...

И вот теперь все хлопали Олегу за то, как он здорово прочитал печальные и смелые стихи...

А потом читал Толик.

Он понимал, что его стихам большого успеха ждать нечего, и словно отвечал урок: раз вызвали, надо рассказывать. Правда, когда Толик начал четвёртый куплет (он сочинил его позже и на портрете не писал), голос вдруг зазвенел. И увидел Толик острые скалы в сумрачном море, и почемуто представилось, как у стоящих на беспокойном, взволнованном рейде кораблей качаются под реями скрипучие фонари...

Теперь Земля уже почти что вся открыта.
Остались тайны только в синей глубине.
Они — как старый клад, на острове зарытый.
Но, может быть, одна откроется и мне...

Толику тоже хлопали хорошо. Однако он чувствовал: эти аплодисменты не за стихи, а просто за выступление, за старание. Из вежливости. На маму и на Варю он не смотрел. И ещё раз порадовался, что нет здесь Курганова.

Мама перед концертом спросила:

— А разве Арсения Викторовича ты не пригласил?

Она и накануне напоминала: надо позвать. Но Толика холодом продирало по позвоночнику от одной мысли об этом. И тут уже дело не в простой стеснительности. Арсений Викторович мог обидеться: сперва Толик подарил стихи ему, Курганову, а теперь читает всем, направоналево. Стихи эти стали частичкой книги, а книгато не Толика, она Арсения Викторовича. Спросить разрешения? Но получится, будто просишь назад подарок.

На мамин вопрос Толик с перепугу ответил отчаянным и потому правдоподобным враньём:

— Маа! Я к нему десять раз заходил, а его всё дома нету и нету!

После чтения стихов, криво кивнув публике, Толик бежал с подмостков и укрылся в кустах позади эстрады. Там готовились к пьесе участники спектакля. Олег натягивал офицерское обмундирование. Он сказал снисходительно:

— Ничего выступил. Вполне...

Толик не ответил. Он сел в траву и мысленно дал себе честное пионерское, честное робингудовское, честное морское и всякое всякое честное слово никогда больше не писать стихов. Чтобы не страдать потом... А если стихи придумаются сами собой, никогда никому их не рассказывать.

А эпиграф к «Островам в океане» пускай остаётся, раз Курганову именно такие стихи нужны — от мальчишки, который мечтает о дальних морях, не от поэта.

Как хорошо, что Курганова не было на концерте!

«Но ведь всётаки тебе хотелось выступить! Что ты вертишься?» — мстительно укорила Толика совесть. И он покраснел.

Впрочем, для переживаний времени не было. Начался спектакль. Он прошёл с неожиданным и громовым успехом, который затмил прежние номера, в том числе и стихи об острове Святой Елены. Заключительная схватка со шпионом потрясла зрителей своим драматизмом. Диверсант отбивался как зверь, пистолет его грохнул охотничьим капсюлем, будто настоящий маузер. А когда пришло время взрываться гранате, Шурка за сценой не прозевал и лихо обрушил гору пустых ящиков и ржавых вёдер...

После концерта Шурка, посасывая палец (придавило ведром), снял артистов своим «Фотокором». И сам сфотографировался вместе со всеми: протянул от спуска нитку и дёрнул.

— Можно было бы сегодня сделать карточки, да нет проявителя, — пожаловался он.

Люся выдала ему пять рублей из собранных за концерт денег.

...Иzza этих денег у Толика с мамой вышел разговор.

— Концерт хороший, — сказала мама, — всё мне там понравилось. Кроме одного. Зачем эта девочка (Люся, кажется?) сидела у входа и собирала с тех, кто пришёл, по двадцать копеек? Двугривенный, конечно, не деньги, но както некрасиво...

По совести говоря, Толику и самому это не нравилось. Но маме Толик сказал то, что говорил ребятам Олег:

- Мы же трудились? Трудились. Значит, заработали. Эти деньги не на глупости пойдут, а для отряда. На проявитель для Шурки, на подготовку к походу.
- К какому ещё походу? — сразу заволновалась мама.
- Да к небольшому, недалеко. На один день...

Самолёт без крыльев

Туча была не просто чёрная, а с жутковатым булатным отливом. Она обложила горизонт с флангов и сейчас неторопливо — очень неторопливо, но уверенно — подтягивалась к середине беспомощноглубого неба.

Перед тучей кудрявились несколько светлосерых облачных обрывков. Они быстро меняли форму. От этого тяжесть и непроницаемость тучи казалась ещё беспощадней.

На фоне тьмы, обступившей края земли, любая травинка, любая головка цветка была видна очень ярко и отчётливо. И кусты у горизонта. И аэродромный домик на дальнем краю поля, и указатель ветра, похожий на полосатый повисший сачок. И два самолётика в траве, издали похожие на присевших кузнечиков. Всё это виделось, как сквозь особое, хрустальночистое стекло. Необычно ярко белели стволы берёзок на дальней опушке.

В застывшей чёткости, в неподвижности воздуха, травы и листьев тоже была угроза.

Солнце уже ушло за тучу, но духота не стала меньше. От дюралевых листов самолёта несло металлическим теплом.

Собственно, это был не самолёт, а лишь каркас фюзеляжа — без крыльев и наполовину без обшивки. Оставшиеся коегде листы щетинились рваными краями. В них светились пунктирные швы дырочек от выпавших заклёпок. Коегде заклёпки сохранились; когда лист задевали, они звонко дребезжали в гнёздах — напоминали, что сделаны из металла. Всё в самолёте было из металла.

«Неужели они этого не понимают?» — с тоскливой досадой думал Толик о ребятах.

Он сидел ниже всех, в траве, рядом с уцелевшим самолётным колесом (оно было похоже на резиновый бублик). Сквозь дюралевые рёбра он видел над собой робингулов, рассеявшихся кто где, и край тучи, которая медленно заглатывает голубизну.

— Толик, иди сюда, — сказал сверху Шурка. — Здесь в носу будто шалаш, а там тебя зальёт, когда дождь начнётся.

— Помоему, лучше пойти домой, — отозвался Толик. Он говорил спокойно, почти лениво, но страх звенел, дрожал в нём частыми струнками. — Если быстро, мы ещё успели бы.

— Чего смеяться, — отозвался Олег. — И полпути не пробежим, гроза догонит.

— Ну, до навесов на лесопилке успели бы, — возразил Толик.

— А какая разница? — беззаботно сказал Рафик и попрыгал на пружинистом шпангоуте. — Навесы тоже дырявые.

— Они хотя бы деревянные! — вырвалось у Толика.

— Ну и что? — лениво спросил глупый Семён.

— А то, что дерево молнии не притягивает, а здесь для них всё равно что магнит! — опять не выдержал Толик.

Мишка Гельман, который сидел выше всех, ядовито хмыкнул и засвистел. А Олег снисходительно сказал Толику:

— Да брось ты. Смотри, даже Шурка не боится.

«Они и правда не боятся, — с досадливой завистью подумал Толик. — Но они же просто не понимают...»

...А начиналось путешествие хорошо. Вышли ранорано, тени от заборов были длинные, и в этих тенях висели на травинках шарики росы (Шуркины ботинки от неё заблестели как лаковые). Было прохладно, пахло тополями, и ноги сами шагали по упругим тротуарам окраины. В поход, в поход!

Одно огорчало Толика: не взял он Султана. Не догадался. А теперь увидел, что с Люсей и Семёном отправилась их рыжая собачонка Пальма, и его грызла совесть перед Султаном.

Но зато в самом начале пути Толик сделал открытие. Там, где строили рельсовую ветку, в грудях камней и щебёнки Толик разглядел золотистые кристаллы. Они были впаяны в большие куски грязносерой породы. Не то пирит, не то колчедан.

— Смотрите!

Командир Наклонов похвалил Толика. И сказал всем:

— Поздравляю, ребята. Найдена новая порода. Правда, он тут же насупил лоб и неуверенно добавил:

— Хотя нет. У нас уже есть такие образцы.

— Таких нету! — заспорила Люся. — Там зёрнышки мелкие, а здесь — как самородки.

— Да, — великодушно кивнул Олег. — Это новая разновидность. Молодец, робингуд Нечаев. Зоркий глаз.

Нести в рюкзаке камень с золотистыми кристаллами Олег доверил робингуду Ревскому.

Путь лежал вдоль новой насыпи, потом через луг, мимо МТС с красной башенкой водокачки, затем через берёзовую рощу. На опушке сделали привал для завтрака.

Расстелили на траве клеёнку, выложили на неё всякую снедь.

Чего здесь только не оказалось! Огурцы, варёные яйца, банка с тушёнкой, бутерброды со всякой всячиной, печенье, конфеты. Даже свежие помидоры. У Толика запасы были скромные. Мама дала бутерброды с маргарином, пересыпанные сахарным песком, пару огурцов и несколько крупных картофелин. «Вы ведь обязательно будете печь картошку на привале...»

Но Олег сказал, что с картошкой возиться некогда. Маршрут длинный, на долгие привалы и костры времени нет. И он, красиво размахиваясь, запустил картофелины за берёзы. А бутерброды Толика отдал Пальме. Сказал между прочим:

— Чего маргарин глотать, когда и так всего хватает.

Толика ощутимо царапнула совесть. Мама старалась, собирала ему походный паёк, а теперь — картошка в кусты, бутерброды собаке. А кто виноват, что дома с едой совсем не густо? До зарплаты ещё неделя, а денег почти не осталось.

Но Олег не виноват, он не знал... В конце концов, собаку тоже надо кормить, и уж лучше отдать ей маргарин, чем тушёнку.

У тушёнки был такой запах, что слюни просто пузырились во рту. Люся накладывала её на ломти белой булки, покрытые слоем желтоватого свежего масла. Толик вздохнул и вцепился в кусок зубами. Голод не тётка... И вдруг он услышал:

— Я не буду...

Это Рафик сказал.

— Почему? — удивилась Люся.

— Да не хочу я. Давай без мяса.

Мишка Гельман хмыкнул:

— Тушёнкато свиная. Магомет не велит свинину трескать.

Толик впервые увидел, как Рафик недобро сузил глаза.

— Я с Магометом про это не разговаривал. И ты вообще... Не говори, про что не понимаешь.

— А я понимаю, — крупно жуя, сказал Мишка. — С религиозными заблуждениями надо бороться.

— Сам ты заблуждение! Магомет и рисовать не разрешал — ни людей, ни зверей. А я, что ли, не рисую? Мне мать с отцом никогда не запрещают. А свинину они не едят, и я не буду. Потому что такой обычай! И всё.

Витя, сердито махая ресницами на Гельмана, сказал:

— Твоя бабушка ведь тоже не ест свинину. И по субботам дома ничего не делает, говорит, что в этот день Бог работать не велит. А над ней разве ктонибудь смеётся?

— Это же бабушка, а не я, — огрызнулся Мишка.

Толик хмуро бросил:

— Вот её и воспитывай.

Он был чертовски раздосадован. На себя. Почему он не отстоял свой хлеб с маргарином и картошку? Поссориться боялся? А Рафик вот не испугался — не дал в обиду ни себя, ни родителей, ни обычай. Ну, пускай это заблуждение, что нельзя есть свинину, а всё равно твёрдость у Рафика правильная...

Олег молча жевал, почемуто не вмешивался в спор.

Толик сказал ему:

- Зря ты мою картошку покидал. У нас дома продуктов и без того кот наплакал, у мамы зарплата не директорская. — Он встал и пошёл искать в траве картофелины.

Олег догнал его через пять шагов.

- Толик, извини, я не подумал.

Олег один умел так извиняться: честно и без смущения. И человеку становилось приятно, будто ему сделали подарок.

Хотя Олег и говорил, что на долгие привалы нет времени, у озера застряли на два часа.

Озеро было небольшое, неглубокое и чистое. На восточном берегу стоял дом отдыха Рыбкоопа, а с другой стороны подступал молодой лесок. На этом, диком, берегу был пляж с мелким прогретым песком. Когда бултыхаешься в озере, а потом валяешься на песке, кажется, что время замерло — так же, как замерли жёлтые кучевые облака в безмятежной высоте...

Наконец Олег скомандовал:

- Подъём.

Все поднялись. Кроме Мишки. Он только потянулся.

- Гельман... — сдержанно сказал Олег.

- А, успеется, — зевнул Мишка. — Пока Шурка со своими пуговицами справится, полчаса пройдёт.

Шурка всегда после купанья одевался дольше всех. Особенно много возни было у него с бумазейным лифчиком, к которому прицеплялись резинки для чулок. Застёгивался лифчик на спине, и Шурка сопел, закидывая назад руки и пытаясь дотянуться до пуговиц. Иногда ему помогали, но Олег не одобрял этого. Говорил, что Ревскому надо приучаться жить без нянек. А Мишка добавлял, что пора уже расстаться с детсадовской сбруей. Толику эти дразнилки не нравились. Когда были помладше, всё такую сбрую носили, чего смеятьсято? Шурка не виноват, что дома его до сих пор считают за маленького.

Толик подошёл к Шурке сзади.

— Давай застегну.

Пуговицы были большие и твёрдые, костяные. Толик поморщился от болезненной догадки:

— Ой, Шурка, они же тебе спину под рюкзаком давят!

— Да ничего... — сказал терпеливый Шурка и вздохнул.

— Как ничего? Нука, покажи... — Толик задрал на Шурке майку. На острых позвонках кожа была натёрта до кровавых точек. Между лопатками — ссадина. Когда купались, никто этого не заметил, а вблизи сразу видно.

— Сними ты эту лишнюю амуницию, — жалостливо сказал Толик. — Зачем ты в ней жарись?

— Я сниму. Я просто не догадался.

Толик повернулся к Наклонову:

— Олег, давай Шуркины вещи раскидаем по всем рюкзакам.

Он спину натёр.

— Отставить, — возразил Олег. — Он клятву давал не стонать.

Он сам свой рюкзак собирал, пусть несёт.

— Не сам он, ему дома натолкали...

— Будет в другой раз умнее. Научится маме доказывать.

— У него же камень ещё! — вспомнил Толик.

— Да ничего, я донесу, — с храброй покорностью сказал Шурка.

— Теперь легче.

Ботинки он надел на босу ногу, и от этого они стали казаться ещё больше и тяжелее. И чаще цеплялись за траву и корни.

Путь вёл теперь через вырубку, потом через поле с овсом и через лесок, за которым лежал учебный аэродром. А от него шла к городу дорога — прямая и потому не длинная.

Но до аэродрома ещё надо было дошагать. Жарко стало, донимали оводы. И в каждой жилке гудела усталость. Будто и не отдыхали недавно, и не купались. Наконец вошли в лесок, в тень.

Тропинка привела к заросшему оврагу, через него был перекинут ствол ели — голый и скользкий. Ствол оцетинивался метровыми сучьями (тоже голыми). Сучья только и выручали

при переправе. Но Шурку они не спасли. Когда ботинки сорвались, ухватиться за сук «этот бестолковый Ревский» не успел.

Люся, которая шла за Шуркой и несла под мышкой Пальму, тонко завопила.

Шурка не долетел до дна. Лямкой рюкзака он зацепился за короткий горизонтальный сук и повис, как парашютист. Качался, поджимал над зарослями тощие белые ноги и попискивал.

Хватаясь друг за друга, за сучья, за Шуркин рюкзак и за самого Шурку, его вытащили. Лишь панамка, которую Шурке дали в поход вместо тубетейки, канула в заросшую глубину. Люська охала и хныкала. Пальма тьякала. Олег сказал:

—С этим человеком не заскучаешь.

Но, видимо, он и сам был испуган.

Остальные молчали. Шурка виновато мигал. На ноге его была длинная царапина.

Царапину промокнули подорожником, а Толик сказал:

— Шурка, давай твой рюкзак. И бери мой, он легче. — И добавил, вызываяще глянув на Олега: — Каждый имеет право выбирать рюкзак, какой хочет. Нет, что ли?

Олег пожал плечами. И Шурка подчинился Толику.

Но тащил Шуркин рюкзак Толик недолго. Скоро вышли из леса, прошагали метров сто по кустам и лужайкам и на краю аэродрома наткнулись на разбитый самолёт без крыльев. Все забыли про усталость. Побросали рюкзаки и полезли на решётчатый фюзеляж.

Это были останки двухместного самолёта. Наверно, учебного. Два сиденья друг за другом, перед каждым — приборная доска с круглыми дырами от снятых циферблатов. Семён сказал, что это «По2». Мишка сказал, что Семён дурак: «По2» — биплан, а у этого была одна пара крыльев, вон видны остатки. Спросили Олега. Олег ответил, что неважно, какой это был раньше самолёт, а теперь он будет десантный. Себя Олег назначил главным пилотом, Мишку — стрелкомрадистом, а остальных (в



том числе и Пальму) — десантниками. Велел прыгать в траву — будто с парашютами — и брать с бою ближние кусты.

...Поиграли в десантников. Люська кому понарошке, а кому всерьёз перевязала раны (Рафик порезал руку о край обшивки). Потом Шурка вытащил из рюкзака аппарат и штатив и всех сфотографировал на самолёте. Нитки не нашлось, и сам он на этот снимок не попал. Чтобы Шурке не было обидно, Толик сказал:

— Теперь ты лезь на самолёт, а я сниму.

И вот тогда, глядя поверх фотоаппарата на самолёт и ребят, он вдруг почувствовал, что солнечный свет стал немного другим, тревожным. И увидел над горизонтом тучу.

Толик щёлкнул спуском аппарата и сказал небрежно:

— Нам бы поторопиться. Вроде гроза подходит.

Все отнеслись к его известию легкомысленно. Семён заявил, что это вовсе не гроза, а просто тёмная тучка. Мишка добавил, что она пройдёт стороной. А Рафик обрадовался:

— Пускай гроза! Мы здесь отсидимся! — Он полез в нос самолёта. На капоте обшивка сохранилась почти полностью, и там в самом деле можно было коекак спрятаться от дождя.

А от молний?

Но не мог же Толик признаться, что с младенческих лет не переносит грозу. Что готов залезть в любую нору от трескучих электрических вспышек.

Сейчас он пересиливал себя, сколько мог. Даже играл вместе со всеми, когда Олег сказал, что теперь самолёт — тяжёлый бомбардировщик и летит бомбить вражескую эскадру.

Побомбили и расселись на фюзеляже кто где. Просто так. Болтали, будто и не было близко никакой тучи, в которой тысяча молний, и в каждой по миллиону вольт...

Толик наконец снова напомнил, что пора домой. Можно ещё успеть! И Олег Толику ответил:

— Да брось ты. Смотри, даже Шурка не боится.

— А я, что ли, боюсь? — жалобно сказал Толик. — Просто я дома обещал, что к шести часам обязательно вернусь. А здесь до темноты можно застрять.

- Не надо было обещать, — холодно возразил Олег. — Может, нам изза твоего обещания теперь галопом до города мчаться?
- А может, изза твоей лени до ночи тут сидеть? — огрызнулся Толик.

Это уже очень напоминало ссору. Но Олег ответил спокойно:

- Кто хочет, пусть идёт. Силой никого не держат. Дорога известная. Верно, ребята?

Дорога в самом деле была знакомая: мимо лесопилки, потом вдоль насыпи, а там и улицы. Толик встал. Теперь он почти верил, что мама и правда ждёт его к шести. Кажется, был утром такой разговор. А раз так, идти просто необходимо.

Глядя в сторону, Толик проговорил сердито:

- Если бы вас ждали дома, вы бы тоже...
- Да ты не стесняйся, — сказал Олег. — У нас же полная добровольность. Каждый идёт, куда хочет, каждый несёт рюкзак, какой хочет...

Вспомнил! Ну и ладно...

- Шурка, может, пойдёшь со мной?
- Нет, что ты. Я с ребятами, — испуганно откликнулся Шурка.
- Ну, тогда я твой рюкзак возьму. А завтра принесу. Хорошо?
- Нет, я сам, — так же испуганно сказал Шурка.
- Он сам, — сказал Олег.

А гроза надвигалась, торопила. Молния беззвучно зажглась в глубине тучи.

Толик, не глядя на ребят, бросил на плечо свой рюкзачок.

- Я пошёл... Потому что я обещал...
- Не заблудись, — с ехидной лаской пожелала ему Люська. Пальма у неё на руках вдруг тонко тьякнула...

Гроза догнала его за лесопилкой. Пригибаясь под упругими струями, Толик бросился к домику, что стоял рядом с насыпью. Заколотил в дверь, она отошла от толчков. Толик боязливо, но быстро шагнул через порог. Он попал в полутёмную комнату с

большой печью и непокрытым столом. Высокая неприветливая тётка — то ли стрелочница, то ли сторожиха — молча глянула на мокрого мальчишку.

— Здравствуйте... — жалобно выдохнул Толик. — Я посижу здесь, пока гроза, ладно?

Тётка опять ничего не сказала и ушла за грязную цветастую занавеску. Толик присел на табурет у двери, рядом с кадушкой, от которой пахло кислой капустой.

За окнами грохотало и вспыхивало — иногда очень сильно (Толик вздрагивал). Но тугое гуденье ливня смягчало грозовые взрывы. Стены и крыша, а за ними плотная завеса дождя — это всётаки защита. Толик передохнул, обнял себя за мокрые плечи. И впервые подумал: «А как же — там?»

Каково теперь в просвистанном бурею решётчатом фюзеляже за несколькими дрожащими листьями дюралья?

«Сами виноваты», — сказал себе Толик, но легче не стало.

От порога дуло. Толик поджал ноги в раскисших сандалиях, поставил пятки на перекладину табурета. И подумал, что в самолёте дует ойейей насколько сильнее. Тётка вышла изза ситцевой шторки, глянула на Толика, будто всё про него знала, и сердито скрылась опять. Запах кислой капусты смешивался с запахом гнилой тряпки, что лежала на полу у двери. От этого запаха было муторно и тоскливо.

Гроза шумела недолго. Минут через двадцать в ней послышалось утомление, и почти сразу ливень ослабел, будто в небе наполовину прикрутили краны. Грохотало часто, но уже без вспышек и в отдалении. Дождь стал мелким. И вдруг на залитом окне зажглись солнечные искры.

Неужели кончается? А казалось, что мрак, молнии и ливень — на долгие часы.

Толик приоткрыл дверь. Ещё сеял похожий на пыль дождик, но край уходящей тучи горел расплавленной медью. Толик зажмурился и оглянулся. Тётка стояла посреди сумрачной комнаты.

— Я пойду. До свиданья...

Толик думал, что хмурая женщина отмолчится и сейчас. Но она сказала неожиданно звучно:

— Иди, иди. За всю жизнь не отсидишься.

И опять показалось Толику, что она знает, как он ушёл с самолёта...

Толик забрался на скользкую насыпь и пошёл по мокрым шпалам к городу. На рельсах сияли солнечные зайчики. Трава и кусты сверкали. Воздух был такой, что зажмуривайся от счастья и дыши изо всех сил. Но у Толика к небу и горлу словно прилипла кислая гниль из той грязной комнаты. Это был запах трусливого убежища и вины...

Когда Толик вернулся домой, мама сказала:

— Слава Богу! Такая гроза... Вы под неё не попали?

Толик был уже сухой.

- Я переждал... мы переждали, — хмуро проговорил он. Запах гнили никак не отвязывался. Толик поморщился и глотнул молока из литровой банки, что стояла на подоконнике.
- Не хватай еду впопыхах. Мой руки и садись за стол. Я котлеты приготовила.
- А откуда мясо? Ты деньги получила? — без особого интереса спросил Толик (думалось совсем о другом).
- Заходил Арсений Викторович, взял то, что я успела напечатать, и сразу расплатился.
- Ты все три экземпляра отдала? Я же не дочитал. Мама сделалась строгой.
- Отдала два. Но не потому, что ты не дочитал, а потому, что насчёт третьего объясняйся сам. Стыдно, что ты до сих пор этого не сделал.
- Я много раз ходил, а *ещё* дома нет...
- Помоему, не его дома нет, а совести у тебя нет. Заварил кашу, а расхлебать боишься. Нельзя быть трусом.

Бриг «Мария» уходит

Нельзя быть трусом. Толик это понимал. Но, конечно, мысли его были не о рукописи Курганова. С рукописью — ничего страшного. Отнесёт он Арсению Викторовичу третий экземпляр, объяснит, как это получилось, — вот и всё. Курганов поймёт.

А как быть с тем, что он, Толик, ушёл с самолёта?

Сейчас он уже сто раз пожалел, что не остался с ребятами. Ничего бы не случилось. А если и случилось бы... Всё равно, наверно, лучше, чем вот так маяться!

Как теперь посмотрят робингуды, когда он придёт в штаб? Да и не придёт он. Зачем? Олег всё равно не простит...

Мама с Варей куда-то ушли, Толик бухнулся на кровать и разглядывал потолок. Гроза не изменила погоду, было опять душно, в комнате с ноющим звоном летала липкая тяжёлая муха.

И мысли были тоскливые, как этот звон, лишние и противные, как эта муха.

...Олег не простит. Он никому ничего не прощает. Потому что справедливость для него сильнее жалости. Вот и Шурке не хотел помочь... «А разве это правильно? — подумал Толик. — Ведь Шурка совсем вымотался! Это уже не справедливость, а издевательство... А ещё командир!»

Но тут же Толик одёрнул себя: «Ну и что? Пускай Олег такой и сякой, а ты... А ты всё равно трус!»

Он как бы разделился на двух Толиков. Один хмуро и безжалостно рассуждал про вину другого, а тот, другой, почти не оправдывался, лишь иногда слабо огрызался.

Беспощадный к себе Толик заставил себя встать. Подмёл и без того чистый пол, притащил с колонки почти полное ведро, покормил остатками супа Султана, аккуратно расставил на этажерке книги.

Потом он увидел рядом с машинкой новые листы с повестью Курганова — мама сегодня напечатала. Увидел и... не сразу решился их взять. Испытал боязливую неуверенность, даже

стыд: словно после трусливого ухода с самолёта он потерял право читать книгу о хороших и смелых людях.

Но всётаки взял. Положил листы перед собой на подушку.

«...Фёдор Иванович Шемелин был тяжело и привычно озабочен. Разгрузка затягивалась. Не было уже и речи о том, чтобы выгрузить шесть тысяч пудов злополучного железа, которое лежало в трюмах на месте балласта. Но необходимо было свезти на берег сарачинскую крупу, привезённую из Японии, а также и соль, которую упрямые в дипломатии, но любезные при прощании японцы преподнесли в виде подарка всем офицерам и матросам. Надо отдать справедливость господину капитану Крузенштерну: это по его убедительному слову все господа офицеры и все служители „Надежды“ порешили не продавать соль для своей выгоды, а передать её на склады Петропавловска для общей пользы.

Но забота господина Крузенштерна о Компании на сих границах и кончилась. Отдавши распоряжение начать разгрузку, матросов на оное предприятие посылал без охоты, говоря, что опасается, как бы не занесли они на берег оспу, от которой может случиться среди местных жителей великий мор, как то было уже в 1767 году.

В словах господина капитана можно было найти известную справедливость, ежели бы осторожность его не казалась чрезмерною.

Заболевший на „Надежде“ солдат давно поправился, койка его, бельё, платье и все вещи брошены в море, койки служителей, да и весь корабль, окурены солёными кислотами. Доктор господин Эспенберг твёрдо уверял, что опасности уже нет. Однако капитан в ответ на замечание Шемелина, что опять страдают интересы Компании, сказал, обращаясь не столько к нему, сколько к окружающим господам офицерам:

— Пришла же охота господину камергеру набирать телохранителей столь поспешно, что не поинтересовался, была ли у каждого из них прежде оспа. Знал же, что угроза сей болезни в японских и китайских водах весьма велика...

Господин капитанлейтенант Ратманов, офицер хотя и заслуженный, но на всякие непристойные шутки способный, тут же высказался о Николае Петровиче Резанове, что якобы страх того перед бунтом на борту „Надежды“ сильнее был, нежели оспа, и чума, и холера, взятые в совокупности. Господин же лейтенант Головачёв, человек совестливый, тихо сказал:

— Право же, Макар Иванович, вы опять за своё... Скоро он оставит нас, к чему вспоминать прошлое...

Господин Крузенштерн с равнодушным лицом стоял у фальшборта и в разговор более не вступал.

Шемелин пожал плечами и съехал на берег, от которого „Надежда“, стоя на якоре, была в близости.

В том, что гн Крузенштерн не имеет желания предпринимать ни малейших подвигов в пользу Компании, Шемелин убеждался всё более. „И не последняя тому причина — ссора его с Начальником“, — думал Фёдор Иванович.

По справедливости говоря, и господин Резанов не раз подавал поводы для взаимных обид. Однако же не его, купца Фёдора Шемелина, дело судить прямого начальника своего. Тем более что за главное дело экспедиции — интерес Российско-Американской компании — радеет Николай Петрович всей душой.

А господин Крузенштерн последнее время не стесняется даже и открыто говорить о Компании обидные слова. Недавно, увидав на пристани промышленников с компанейского брига „Мария“, капитан „Надежды“ сказал господам Ромбергу и Ратманову:

— Когда мы слышали в Петербурге о богатствах Компании и благородных её устремлениях, мыслимо ли было предположить, что увидим здесь сие убожество и небрежение начальства к простым её служителям?

Лейтенант Ромберг, человек воспитанный и малословный, на речь эту лишь развёл руками, а Ратманов громко сообщил, что от здешних комиссионеров иного и не ждал, поскольку известно, что „каков поп, таков и приход“. Тут же раздался смех среди матросов. Они хотя и стояли в стороне и к разговору

командиров касательства не имели, но острый на слух и на язык квартирмейстер Курганов сказал товарищам что-то о приказчиках здешних явно непристойное.

Промышленные же с „Марии“ и правда были частью больны цингою и язвами, а частью грязны и в одних лохмотьях. Но отнести это следовало не Компании, а собственной их нерадивости, а также небрежению со стороны лейтенанта Машкина, коему поручено было всех этих людей отправить на своём бриге в Америку ещё осенью. Убоясь несильной течи в трюме и осенних непогод, Машкин зазимовал в Петропавловске, чем причинил Компании великие убытки...

Слыша обидные слова капитана, главный комиссионер Компании Фёдор Иванович Шемелин осмелился вступить в спор:

- Как можете вы, Иван Фёдорович, судить о деле всей Компании по виду нескольких несчастных, которые и промысломто заняты не были, а волею случая провели здесь зиму в безделии?

Гн Крузенштерн ответил, что судит не только по сей встрече и что посмотрелся он уже на компанейские порядки достаточно, а слышал от верных людей и того более. Несчастные промышленники, коих приказчики кормят вонючей солониной и сухарями с плесенью, настрадавшись и ожесточившись здесь без меры, столь же бесчеловечно будут мучить потом невинных туземцев. И есть тому тоже немалые доказательства.

Шемелин сказал почтительно, однако же с долею досады:

- Странно, господин капитан, слышать такое от человека, которому Компания доверила командование кораблями и свои интересы. Всем ведомо, что вы сами были среди первых, кто замыслил эту экспедицию.
- Думая о плавании, я не ждал, что главная цель его будет одна лишь выгода акционеров Компании, — резко ответил Крузенштерн. — Кроме того, компанейские интересы теперь всецело в руках господина Резанова, поскольку угодно ему было объявить себя начальником экспедиции, а мне оставить лишь управление парусами.

— Однако же Николай Петрович отправляются в Америку, и мне ли напоминать вам, что ваш долг закончить предприятие с наилучшей пользой для Компании, у которой вы на службе. Светлые глаза Крузенштерна под глубокой треуголкой нехорошо блеснули.

— Господин главный комиссионер! Офицеру Российского флота действительно нет нужды выслушивать от купцов напоминания о долге. Смею заверить вас, что я не оставлю экспедицию, как это делает господин Резанов, измыслив для сего пустые причины.

Шемелин сказал, что оговаривать решения его превосходительства Николая Петровича, который поставлен над ними государем императором, возможным не считает. К тому же господин Резанов, как известно, не отдыхать едет, а в нелёгкое плавание отправляется для обследования компанейских поселений.

Крузенштерн помолчал и сказал мягко:

— Фёдор Иванович, мы с вами на одном корабле немало общей каши съели, и я вижу давно, что человек вы умный, просвещённый и обязанности свои исправляете отменно. Жаль только, что ваши должности понуждают вас не видеть ничего далее сугубых выгод компанейских... Но посудите сами, может ли моряк, впервые пошедший кругом Земли, интересы плавания ограничить пользой торговой компании? Новые открытия в науках и описания неизвестных земель — не в пример ли важнее для отечества?

— Так и я, Иван Фёдорович, пекусь о том же, — нашёлся Шемелин. — Коль скорее закончим выгрузку, больше времени останется для плавания около Сахалина.

Крузенштерн добродушно, однако с некоторой неохотой, посмеялся и сказал, что ранее, чем прибудет из Нижне камчатска губернатор генерал Кошелев, отправляться всё равно нельзя, поскольку у капитана с губернатором важные дела.

Это был ещё один шаг против Резанова. Тот инструкцией своею торопил капитана „Надежды“ с отходом к Сахалину, а

Крузенштерн тянул, ожидая встречи с губернатором. Он надеялся, что Кошелев во всём разберётся справедливо и доложит в Петербург: Резанов не пожелал идти в Америку на „Надежде“ без всякого к тому повода со стороны корабельных офицеров. Без такого свидетельства возвращение в Россию могло быть просто опасным.

...Про всё это думал Шемелин в то тёплое и пасмурное утро на пристани, глядя, как подходит очередной баркас с „Надежды“. Здесь нашёл Ивана Фёдоровича солдат и сообщил, что его превосходительство требует господина Шемелина к себе.

Как и в прошлый приход на Камчатку, Резанов квартировал в доме коменданта порта. Шемелина он встретил в приземистом зале с тёсаными столбиками-колоннами, которые придавали деревянному помещению некоторую европейскую торжественность.

Шемелин поклонился. Резанов встал изза широкого, крытого зелёным сукном с кистями стола. Он был в мундире и при шпаге.

— Господин Шемелин, — проговорил Резанов с неожиданной ноткой волнения. — Как вам уже известно, дальнейшее пребывание моё на корабле „Надежда“ в обществе господина Крузенштерна и других господ офицеров, ему подчинённых, счёл я для себя несообразным и посему хотел отказаться от дальнейшего плавания, закончив свою миссию обозрением Камчатской области. Но счастливый случай, доставивший в Петропавловск бриг „Марию“, даёт мне возможность до конца выполнить высочайшее предназначение посетить и американские владения. Вам же наши после „Надежды“ к Сахалину отправиться ~~к~~ ~~на~~ ~~одном~~ ~~Крузенштерном~~ ~~в~~ ~~Кантон~~ ~~с~~ ~~компанейскими~~ ~~мехами~~, где и произвести коммерцию со всевозможной для Компании выгодой...

Шемелин почтительно молчал, но в молчании пряталось удивление. Зачем его превосходительство повторяет то, что всем уже известно, да ещё с такой торжественностью?

Резанов же плавно протянул к столу руку и открыл окованную серебром шкатулку, в которой держал свои важные бумаги.

— Господин Шемелин... — Голос его сделался ласковее, но торжественность не пропала. — Судьба велит нам расстаться после того, как мы столько были вместе среди трудов и опасностей. Но, прежде чем это случится, я хочу изъяснить вам сердечную признательность за поведение ваше и службу и возложить на вас отличие, которое вы заслужили...

После того вынул он из шкатулки золотую медаль, тяжело повисшую на голубой кавалерской ленте ордена Святого Андрея. Однако же на смущённого Шемелина не надел, а положил на край стола. А из шкатулки достал шелестящий лист и начал читать, сам увлекаясь всё более высотой слога и важностью минуты:

— Его императорское величество, обращая высокомонаршее внимание к трудам, на пользу отечества подъятым, высочайше уполномочить меня соизволили отличать наградами тех, коих заслуги окажутся оных достойными.

И так далее. Он долго читал, а Шемелин слушал без радости и даже со страхом. Что и говорить, награда высокая, но разве один он её достоин? Какие бы раздоры ни случались у посланника с моряками, но без умелых офицеров и матросов никакого плавания, никаких открытий и заслуг не было бы вообще. А господа учёные! Разве мало сделали они для пользы науки российской в этой экспедиции? Господин же Резанов наградою отмечает одного главного приказчика, явно показать желая, что у иных участников экспедиции заслуг не видит и не признаёт.

Конечно, на то воля Начальника. Однако же его превосходительство отбудет скоро к островам американским, а ему, Фёдору Шемелину, с Крузенштерном и другими моряками плыть вместе до самой России. Как посмотрят спутники на эту медаль?

— Ваше превосходительство... — осторожно начал Шемелин.

— Мне и слов не найти, чтобы в полной мере выразить чувствительную благодарность за ваши милости. Потому что

одним только вашим милостям я и обязан столь высокою наградою. Ежели взглянуть беспристрастно, то всё, что я делал до сих пор, были только самые обыкновенные труды, кои я и без всякой награды исполнять был обязан. Посему, не заслужа, стыжусь принять и носить сие отличие. Не лучше бы, ваше превосходительство, получить мне его, когда экспедиция благополучно положит якори в Кронштадтской гавани? И за особое счастье почёл бы я тогда получить награду эту из собственных рук вашего превосходительства. Пока же предприятие сие не закончено...

Говорить Шемелин умел, в жизни немало пришлось иметь дел с высокоучеными господами, да и книг умных прочёл он множество. Сейчас, однако, понял, что речь свою затянул чрезмерно.

Резанов смотрел на него с изумлением, с досадою, а потом и с гневом. Лицо посланника пошло малиновыми пятнами.

— Что это говорите вы, сударь! — наконец закричал он. — Предприятие не закончено! Что это значит? Хотите ли вы сказать, как некоторые, что я экспедицию оставляю раньше срока и тем долг свой исполняю недостаточно? Не предписано ли мне государем императором выбирать средства наилучшему завершению дел по своему усмотрению?!
От многих людей здесь мог я ожидать непонимания от вас... Любой на вашем месте счастлив был бы такой наградою! Скажите, сударь, что стало причиною такой неблагодарности и грубости вашей?!

Он долго кричал ещё, гневно топоча тонкими шёлковыми ногами и теребя красные обшлага мундира. Паричок сбился. В глазах блестели капельки слёз.

Навернулись слёзы и у Шемелина. Он понял, что далеко зашёл в своей щепетильности. Единого слова Резанова достаточно, чтобы обрушить на главного комиссионера Компании великие немилости и несчастья. Но пуще страха была обида. Может, подвиг он и не совершал, но не служил ли разве всей душою Компании? Не был ли Резанову надёжным помощником?

Теперь одна оставалась надежда, что при своём переменчивом нраве Резанов гнев изольёт быстро и успокоится.

Когда его превосходительство, часто дыша и утирая лицо, замолчал, Шемелин сказал тихо, но с достаточной твёрдостью:

— Воля ваша, Николай Петрович, как в милости, так и в немилости. Простите, если огорчил вас. Но одно скажу ещё: в преданности моей и усердии вам сомневаться не должно.

Резанов скомкал и затолкал за обшлаг кружевной платочек, постоял, наклоня голову, потом поднял лицо и... улыбнулся. И, шмыгнув носом, будто дитя виноватое, сказал негромко:

— Прости и ты меня, Фёдор Иванович. — Шагнул, встал на цыпочки, поцеловал его, большого и бородатого, в щёку. — Столько досад со мною приключилось, что иногда себя не помню и забываю, кто мне истинный друг...

Шемелин стоял смущённый и растроганный.

Резанов отошёл опять на шаг и проговорил потвёрже, но и здесь не без ласковости:

— Пусть будет повашему, Фёдор Иванович, оставим до Петербурга, хотя не находил я никаких препятствий, чтобы здесь оказать вам справедливость. Вы, господин Шемелин, человек редкий...

Утром 24 июня 1805 года офицеры „Надежды“ беседовали на шканцах и смотрели, как вытягивается к выходу из гавани бриг „Мария“. Матросы компанейского судна, вразной махая вёслами, завозили на сотню сажень якорьверп и бултыхали его со шлюпки. На бриге скрипел на всю гавань шпиль — мотал якорный канат, и судно ползло по серой с проблесками солнечной ряби воде.

— Что ни говорите, господа, а камергер Резанов — человек храбрости небывалой, — заметил Рагманов. — Иначе как решился бы он идти в плавание на судне с такой командой? — И Макар Иванович кивнул на шлюпку. — Ну да от нас, конечно, хоть куда сбежишь...

- Напрасно смеётесь, Макар Иванович, — сказал Крузенштерн.
— Здешние жители не виноваты, что среди них недостаёт искусных моряков. Дело в будущем поправимое, если возьмутся за него умелые люди.

Ратманов хотел возразить, что коли и смеётся, то не над командою брига... Но в тот момент с левого борта подошёл комендантский баркас и на палубу поднялся гарнизонный офицер.

- Господин капитан! Господа! Поручено мне комендантом сообщить, что его превосходительство Николай Петрович сегодня отбывают. Комендант просит всех пожаловать к обеду, проводить его превосходительство...

Офицеры смотрели на Крузенштерна. Он сказал:

- Я уже имел честь обговорить с господином Резановым всё, что касается дальнейшего нашего плавания, и не смею более отнимать его время. Что же касается обеда, то как раз в этот час должно мне быть на корабле по крайней служебной надобности. Принесите господину коменданту мои извинения.

- А... другие господа офицеры? — спросил простодушный пехотный поручик.

- Что до господ офицеров, то сие на их усмотрение.

Офицеры один за другим сослались на неотложные дела. Только лейтенант Головачёв молчал. И все в конце концов взглянули на него. Он покраснел и голосом, в котором чуть ли не слезинки перезванивались, но твёрдо проговорил:

- Ежели господин капитан не укажет мне на твёрдую необходимость быть по службе на корабле, я не вижу причины не поехать проводить Николая Петровича Резанова.

Всем стало жаль его. Мичман Беллинсгаузен даже закашлялся от неловкости, а Ратманов сказал с непривычной мягкостью:

- Да и мы не видим причины. Что вы, в самом деле, Пётр Трофимыч? Езжайте, коли есть желание...

В этой мягкости, однако, опять почудилась Головачёву усмешка, и он, резко отвернувшись, сказал посланцу коменданта:

- Едем, господин поручик.

Головачёв ехал на берег с грустью. И с досадою на весь белый свет: на офицеров — товарищей своих по кораблю, на себя (непонятно отчего) и даже на Николая Петровича. Но сильнее досады была затаённая надежда на чудо.

Умом Головачёв понимал, что мысли его — вроде тех сказок, которыми утешал он себя в детские годы, в бытность в корпусе, когда подкрадывалась нестерпимая тоска по дому или закипали слёзы обиды на бойких и насмешливых товарищей по роте. Ночью, утыкаясь мокрым лицом в казённую подушку, мечтал тогда Петя, что однажды посетит их Морской шляхетный корпус матушкаимператрица Екатерина Великая. И, проходя перед линией выстроившихся во фронт воспитанников, заметит небольшого роста, но на диво подтянутого и ясного лицом кадета из младших классов.

— Как твоё имя? — ласково спросит государыня.

— Головачёв Пётр, ваше императорское величество!

— Молодец... А скажика, голубчик, — обратится государыня к директору корпуса ГоленищевуКутузову. — Каковы успехи Головачёва Петра? Радеет ли?

Кутузов — вицепрезидент адмиралтействколлегии и прочая, и прочая, — бывающий в своём корпусе не многим чаще самой императрицы, растерянно смотрит на инспектора классов Николая Гаврилыча Курганова. Тот поспешно делает шаг вперёд:

— Успехи отменные, ваше императорское величество! В изучении всех наук показал изрядные способности и прилежание. Поведения также весьма похвального.

— Отрадно сие... Однако же... — Матушкаимператрица глядит в лицо замершему от сладкого страха кадету Головачёву.

— При таком расположении и душа должна радоваться. Отчего же глаза у тебя, Петя, невесёлые?.. Далеко ли твои родители?

— Так точно, ваше императорское величество, — сипловатым от набежавших слёз голосом говорит он. — В Калужской губернии. Батюшка в отставке уже... Я полгода не видел его и маменьку...

ГоленищевКутузов бледнеет при столь неприличном и дерзком многословии кадета, но государыня кладёт Пете на голову мягкую ладонь и кивает ласково. А затем строго спрашивает директора:

— Не чинит ли кто Петру Головачёву обид?

Его высокопревосходительство лепечет, что «никак нет, даже и невозможно сие», но от матушкиимператрицы скрыть ничего нельзя, каждого она видит до самой души, и побледневшие Филипп Кушелев и Евлампий Левенгарц, кои вчера отобрали посланные из дому сласти да ещё смеялись обидно и обзывали неженкой, опускают в великом смущении головы. Да и братья (старший — Андрей и двоюродный — Пётр Головачёвпервый), вспомнив, как не хотели заступиться за Петю, чтобы не ссориться с товарищами, теперь белы от страха.

И говорит великая государыня директору:

— С обидчиками учинить разбирательство, и всех, кто виновен, наказать примерно...

Тогда Петя вытягивает шею, смотрит на матушкугосударыню во все глаза и говорит умоляюще:

— Простите их, ваше императорское величество! Вы же такая добрая! А они ведь не со злости, они просто по неразумению. Я им дурного не хочу, только пусть больше не пристают!

— Ну, коли так... — улыбается государыня. А на тех смотрит строго: — Но смотрите у меня...

А потом говорит она директору корпуса:

— Ведомо ли тебе, генерал, что есть у меня мысль устроить в Ораниенбауме отдельный класс для особо прилежных и к навигаторскому и военному на море делу способных мальчиков? С тем чтобы из них выходили скорее других славные офицеры для моих кораблей? Вот и решила я, что Пётр Головачёв будет там среди первых воспитанников. А чтобы беспокойство о родителях не мешало его учению, надлежит им переехать в СанктПетербург, для чего жалую я отцу Петра Головачёва добавочный пенсион и в столице каменный дом со службами...

...Ох, сказки, сказки. Хоть и понимал всю их несбыточность, а на какого время утешали.

Но стоит ли сейчас утешаться пустыми мечтаниями? Не дитя уже. Двадцать пять лет прожил и повидал немало. Пороху успел понюхать в девяносто восьмом году, когда наши корабли вместе с англичанами блокировали берег Голландии. В штормах бывал и ураганах, причём в таких, когда многие не робкого десятка люди прощались с жизнью, а он страха не показывал. И теперь вот обошёл полсвета и дело своё исправлял не хуже других, капитан Крузенштерн подтвердить это может по совести.

Хотя и молод лейтенант Головачёв, но позавидовать его морскому умению могут старые служаки, которые за всю жизнь не видели ничего, кроме Кронштадта, Ревеля и ближних балтийских берегов. Пора бы лейтенанту и внутри себя обрести твёрдость. Но до сих пор, когда он в тесной каюте своей не спит после вахты и вспоминает всё твердосердечие людей друг к другу, все неясности в жизни и обиды, приходит жалость к себе. И, как в детстве, хочется, чтобы случилось чудо.

Вот и сейчас, под равномерное повизгивание уключин, под ровное покачивание зыби, накатывают мысли о невозможном.

...Резанов улыбнётся навстречу ласковой своей улыбкой:

— Пётр Трофимович, голубчик, после всего, что проплыли мы вместе, зачем же расставаться? Отчего не отправиться вам со мною на Кадьяк и далее к американским берегам, а господин Крузенштерн пусть возьмёт вместо вас господина Давыдова или господина Хвостова, коих назначил я вначале своими попутчиками. Тоже офицеры, и тоже моряки отменные... Ваше же возвращение в СанктПетербург хотя и задержится, но зато польза от совместного нашего вояжа в Америку будет немалая...

Нет, несбыточно это.

А почему несбыточно?

Да потому, что ежели бы хотел того Резанов, то высказал бы такое предложение сразу, как решил плыть на «Марии».

Но, может, сперва недосуг было думать о Головачёве, а сейчас вспомнил? Можно ли помыслить, что совсем не помнит

Николай Петрович того доброго, что было между ними в плавании после Нукагивы?

Отчего так тянуло Головачёва к Резанову? Может быть, кто-то незнакомый с ними обоими подумает впоследствии, что лестно было молодому лейтенанту дружеское знакомство с близким царю вельможею? Или, чего доброго, придёт мысль, что боялся Головачёв быть замешанным среди других офицеров в дерзком неповиновении посланнику? Но все, кто знает второго лейтенанта «Надежды», не могут, не покрывив душой, обвинить его в трусости или подобострастии начальству. Известно на корабле и в Петропавловске, что в прошлом пребывании на Камчатке, когда Резанов обвинял Крузенштерна в бунте, объявил его лишённым капитанской должности и предлагал всем по очереди офицерам принять начальствование над кораблём, Головачёв ответил, как и прочие:

— Ваше превосходительство, кроме господина Крузенштерна, никого представить капитаном на «Надежде» невозможно. В нём одном офицеры и служители видят командира. Не мне судить о его вине перед вами, он капитан мой, и принять ваше предложение для чести офицера флота было бы немыслимо.

Не разгневался тогда Резанов, не кричал, как на других, не укорял, а только сказал печально:

— Ну, что же, Пётр Трофимович, мне ведомо, что вы всегда поступаете по совести.

И кто знает, может быть, и эта беседа, а не только уговоры губернатора Кошелева повернули Резанова к миру с Крузенштерном. Непрочным, правда, оказался мир, хватило его лишь на плавание в Японию. Сейчас Резанов ушёл с «Надежды» окончательно. И забыл лейтенанта, который душевно сочувствовал ему в тяжёлые месяцы.

Почему сочувствовал? Потому что казалось ему, Петру Головачёву, что чемто похожи они с Резановым мыслями и характерами. Похожи, несмотря на разницу в годах и званиях. Чудилось Головачёву, что угадал он в Резанове незащищённую душу, понял его одиночество и тоску по искреннему другу.

А где взять такого друга на маленьком корабле посреди громадного и неведомого океана? Офицеры были врагами, в свите оказались люди пустые и к душевным терзаниям начальника своего равнодушные. Только Шемелин оставался надёжен, но в своём звании приказчика был Фёдор Иванович скорее на положении слуги, нежели товарища. Вот и потянулся Резанов к Головачёву, видя в нём одном сердечного собеседника и понимающего человека.

А потом, обретя силу и уверенность, утвердивши своё звание Начальника, забыл о том, кто не побоялся пойти против товарищей ради его, Резанова, защиты.

Но забыл ли? А может быть, сегодня всётаки скажет: «Господин Головачёв, зачем же расставаться нам?»

Резанов ничего не сказал. Ничего, что изменило бы судьбу лейтенанта Головачёва. Он улыбался ласково, подержал Петра Трофимовича за руки, говоря, что трогательно рад его приезду и дружеской верности. Но... вот и всё. После Резанов не выделял уже Головачёва из числа провожающих.

С частью из них Резанов чувствительно обнялся и расцеловался на берегу, другие же поехали провожать его на „Марию“, которая стояла уже за пределами гавани, в губе. День был тихий и нежаркий, с влажностью в воздухе и горами облаков, изза которых солнце опускало на зеленоватую воду косые столбы лучей. Со шлюпки поднялись все на палубу «Марии», где его превосходительству рапортовал по форме командир брига лейтенант Машкин — человек малообразованный, со злым землистым лицом, известный тем, что недавно люто наказал своего матроса кошками и того в беспамятстве свезли на берег. Резанов, однако, кивнул ему с любезностью, а затем опять пошли объятия и поцелуи с провожающими.

— Прощайте, прощайте, друзья мои, — говорил Резанов. Голос его дрожал, и все ощущали искреннюю горечь. У Шемелина в бороде запуталась искристая капелька, остальные тоже вытирали слёзы. — Коли судьба разрешит, свидимся в

Санкт-Петербурге по окончании всех путешествий наших. Ежели кто не вернётся, на то воля Божия. Будем же помнить друг друга до конца дней. Прощайте...

Через день Шемелин записал в своём журнале:

„Прощайте», — твердил он и тогда, когда мы, оставя уже его, были на шлюпе и находились на довольной от судна отдалённости, — отголосок поразительный для сердец, любящих сего Начальника. С полудня в 5 часов 14 числа «Мария», пользуясь попутным ветром, подняла якорь и скоро скрылась из глаз наших“.

Головачёв растроган был при прощании не менее остальных. Он уже не мечтал о чуде и обиды на Резанова не чувствовал. Всё заслонила горечь расставания.

Но когда шлюпка подходила к „Надежде“, новая, непохожая на прежнюю печаль тоска сдавила Головачёву грудь.

Это был первый приступ той скручивающей душу тоски, которая потом не раз чёрной гостьей приходила к Головачёву...»

Тоскливо снова сделалось и Толику. До слёз.

Подошёл Султан, ткнул Толика носом под локоть: ты чего?

А чего он, в самом деле?

Будто наяву, Толик видит невысокую корму с решётчатыми окнами и надписью «Мария», человека на этой корме. Человек поднял треугольную шляпу и повторяет с горечью: «Прощайте, прощайте...» И печальное эхо разносится над водой. И здесь, сейчас, отдаётся в комнате. В ушах у Толика отзывается.

Это слово не Резанов говорит друзьям. И не Головачёв ему отвечает. Это, видимо, Толик прощается с робингудами.

Он, Толик, тоже оставил экспедицию на полпути...

«Ну, что я такого сделал?! Никаких важных дел там не было, никто изза моего ухода не пострадал! И я же не начальник был... Я объяснил, что домой надо, и они сказали: „Иди“...»

«И ты пошёл, потому что боялся. И все это видели».

«Если бы сказали: „Не ходи“, я бы остался».

«А они не сказали, хотели испытать тебя. И поняли, что ты трус».

«...А может, всётаки не поняли?» — с горькой надеждой подумал Толик.

Выстрел

Около восьми часов пришли мама и Варя. Весёлые. Похвалили Толика за порядок в комнате, а на хмурый вид его не обратили внимания. Были они заняты разговором о какомто своём деле. Что за дело — Толика сейчас не интересовало. Его грызли всё те же мысли: о робингудах и о своём дезертирстве.

Грызли и тогда, когда все уже легли спать.

Шторки были задёрнуты, но светлая июльская ночь сочилась в щели и сквозь тонкую ткань. Мама и Варя тихо дышали во сне, а Толику думалось, думалось... Наконец, чтобы уйти от своих мыслей, Толик опять взялся за «Острова в океане». Сделал из одеяла шатёр и включил фонарик.

...И ушёл Толик от своей печали и тревог в другое время, к печалям и тревогам других людей, которые жили давным давно. Но оттого, что людей этих нет уже на свете, их тревоги не казались маленькими и далёкими.

Толик прочитал о плавании Крузенштерна вдоль берегов Сахалина и о том, как ошибся капитан «Надежды», решив, что Сахалин — полуостров. О том, как вернулись моряки на Камчатку, исправили корабль, выгрузили наконец злополучное полосное железо и получили долгожданные письма с родины. Как Крузенштерн вздохнул с облегчением, узнав, что жалобы Резанова и обвинения в бунте действия в Петербурге не возымели и можно со спокойной душой плыть в Китай, а затем и домой.

Настроение у моряков было радостное. У всех, кроме лейтенанта Головачёва. Лейтенант чувствовал себя нездоровым, и на душе лежала тяжесть. Службу Головачёв нёс исправно, но в свободные часы был один в своей каюте или рассеянно бродил по кораблю, избегая разговоров.

Однажды, когда шли уже вблизи китайских берегов, зашёл Головачёв в каюткомпанию, где астроном Горнер на столе раскладывал широкие листы — наброски будущих карт. Оглянувшись на Головачёва, Горнер ласково сказал:

- Вот и ваше имя на карте, Пётр Трофимович. Мыс Головачёва на Сахалине. Не правда ли, сие греет душу?
- Теперь, как бы рано ни кончилась моя жизнь, какойто след на белом свете я оставляю, — серьёзно ответил Головачёв.
- Зачем же вам думать об окончании жизни? Она у вас ещё вся впереди!

Лейтенант покачал головой.

Горнер участливо сказал:

- Пётр Трофимович, с некоторых пор замечаю я, да и не только я, вашу странную задумчивость. Неужели причина её те давние прискорбные события, о которых пора забыть?
- Может быть, и пора, да ведь не получается, — тихо сказал Головачёв. — Как забыть, если вижу каждый день людей, которые считают меня отступником чести?
- Помилуйте, кто же так считает? — воскликнул Горнер. — Господа офицеры искренне озабочены вашим печальным состоянием.
- Так ли? — усмехнулся Головачёв. — А не вернее ли думать, что озабочены они другим? Не исключено, что при возвращении нашем будет разбор того случая в Нукагиве, и господа офицеры опасаются, что я покажу против них.
- Кто же так думает?.. Да и какой может быть разбор, когда государь уже прислал господину Крузенштерну высочайшие рескрипты с наградами? Случай тот давно предан забвению, а о вас товарищи никогда не могли помышлять ничего худого. А если уж вы так мучаетесь, не проще ли всё выяснить в честном разговоре с господином Крузенштерном?

Головачёв недовольно пожал плечом, отчего эполет его приподнялся, как крылышко. В разговоре с капитаном не было надобности, потому что такая беседа уже состоялась два дня назад.

- Пётр Трофимович, — напрямик сказал тогда Крузенштерн.
- Я догадываюсь о причинах вашего расстроенного состояния. Вам кажется, что несогласие с товарищами в том деле вызывает к вам скрытую нелюбовь и неуважение офицеров. Ну, честное же слово, это не так. Защищая господина Резанова, вы были искренни, и одно это уже оправдывает вас...
- Я не ищу оправданий, господин капитан, — сухо отозвался Головачёв, но в сухости этой отчётливо проступила жалоба.
- Пётр Трофимыч... Все считают вас прекрасным моряком и достойным товарищем. И, право же, не стоит больше об этом...
- Вы правы, об этом не стоит, — отозвался Головачёв. Но о другой причине своего удручённого состояния он говорить и вовсе не мог. Причина эта — предательство Резанова.

Много раз приказывал себе Головачёв не думать о Резанове. Но мыслям не прикажешь. Обида не исчезала. Тоска приходила всё чаще. «Отчего так устроена жизнь, — думал он, — что люди не могут положиться друг на друга и не ведают ни привязанностей, ни благодарности?»

«...В китайский порт Макао „Надежда“ пришла 20 ноября 1805 года. Встали на рейде гавани Тейпу. Ждали теперь „Неву“.

Лисянский должен был вернуться от берегов Америки с грузом. Предстояло заняться торговыми делами, дабы исполнены были планы РоссийскоАмериканской компании.

Но не все верили, что «Нева» придёт. Капитанлейтенант Крузенштерн не верил. Капитанлейтенант Ратманов не верил. И другие офицеры не верили. Конечно, они не сомневались в своём товарище Юрии Лисянском, но думали, что Резанов, повстречавши „Неву“ в американских гаванях, оставит корабль там для своих нужд. А посему склонялись многие к плану, чтобы, подождав ещё немного, отправляться к родным берегам, по которым все стосковались без меры.

Но главный комиссионер Компании Шемелин не мог допустить мысли, что экспедиция вернётся, не совершив торгового оборота. Ради чего стоило тогда идти кругом света,

подвергать корабли, людей и компанейское имущество всяким опасностям?

Шемелин упорно спорил с офицерами и старался не пропускать ни одного разговора, где можно было бы доказать, что «Неву» следует ждать хоть год, хоть два.

Один разговор такой был утром на палубе „Надежды“, когда матросы занимались уборкою, а офицеры вышли из кают, чтобы хоть немного глотнуть свежего воздуха.

Но не было свежести. С утра над жёлтой водой гавани Тейпу, над бамбуковыми парусами джонок, над береговыми крепостями, над изогнутыми по краям крышами Макао растекалась липкая духота. С запахом гнили от воды и чадом береговых таверен.

Ратманов, дёргая расстёгнутый воротник мундира, помянул всех чертей (морских и сухопутных). Затем, обращаясь к офицерам и более всего к капитану, сказал:

— У господ купцов одни прибыли на уме. А мы здесь варимся заживо.

Шемелин, оказавшийся тут же, вздохнул вроде бы спокойно, однако со спрятанной большой тревогой:

— Опять вы, Макар Иванович, купцов поносите. А о чём же купцам думать, как не о прибылях? Что здесь худого?

— Худое то, что ради выгоды вашей множество народу страдает. В Америке — промышленные люди в бедности мрут, а здесь — мы от жары подышаем и ждём неизвестно чего...

— Подождём ещё две недели, как уговаривались, — покладисто сказал Крузенштерн. — Ежели и тогда не будет „Невы“, подыдем якоря. На „Надежде“ товару почти нет, нечего и начинать торговлю.

— Да не будет «Невы», не пустит её Резанов! — с досадою воскликнул Макар Иванович. — Хотите пари? Любые тысячи готов заложить, да и голову свою заодно!

Осторожно смеясь, Шемелин сказал:

— Вы, Макар Иванович, столь великим zakładом всех уверить хотите, что „Нева“ не придёт. Но как вам о сём знать с точностью? А вдруг случится не повашему? И большие деньги,

да и голова, есть вещи немаловажные, зачем же рисковать... Вот ежели бы пари заключить поменьше да попроще, на то я пошёл бы с охотою.

— На какое же? — усмехнулся Ратманов.

— Давайте так. Если придёт „Нева“, ставите вы дюжину бутылок мадеры, дабы поздравить господина Лисянского с благополучным прибытием. Ну а не придёт — тем же расплачиваюсь я.

— Охотно! А кто ещё спорит со мною? — с хмурым какимто азартом отозвался Ратманов.

Крузенштерн, странно глянув на приказчика, вдруг сказал:

— Я согласен с господином Шемелиным, что „Нева“ должна вот вот быть в Макао. Ставлю на том лисицу. Согласны, Макар Иванович?

Другие офицеры, увлѣкшись, тоже заключили пари — кто за приход „Невы“, кто против. С Ратмановым, с Шемелиным и друг с другом.

— Ну а вы, Пётр Трофимыч? — оборотился Ратманов к лейтенанту Головачёву.

— Уверен, что „Нева“ будет, — негромко отозвался Головачёв.

— Господин Резанов не тот человек, чтобы ради личных удобств задержать корабль и навредить многим людям...

— Ну, каков господин Резанов, нам ведомо... — начал Макар Иванович, но под взглядом Крузенштерна сменил тон. — Ну, так заключаем пари с вами? Что ставите?

— Что угодно, — равнодушно сказал Головачёв. — Хоть все меха, что купил на Камчатке.

— Проиграть не боитесь?

— Ежели и проиграю, что за беда? В том ли богатство?

Поспорили каждый на сшитую из куниц парку и на десяток лисиц.

Шемелин был доволен. Ему казалось, что пари между офицерами заставит их не так настаивать на скором отходе.

...„Нева“ пришла в ночь на 3 декабря, через неделю после спора на палубе „Надежды“.

Ратманов подошёл к Шемелину, поздравил с прибытием долгожданного корабля и подал письмо, которое привезла с подходившей «Невы» лодка португальских купцов. Письмо было от приказчика Коробицына, ходившего в Америку с Лисянским. Шемелин прочитал его на юте при свете гакабортного фонаря.

Из письма ясно стало, что „Нева“ в Америке даже и не встречалась с Резановым.

Не скрывая торжества, Шемелин сказал Ратманову:

- Если бы мы не дождались «Неву» несколько дней и ушли бы в Россию, то, признайтесь, Макар Иванович, не послужили бы уверения ваши к великому вреду интересам Компании?

Потом Шемелин записал в своём „Журнале“ со смесью удовольствия и досады: „От сих слов хотя заря румяная и показалась на щеках его, но он скоро отверг от себя всякую стыдливость и закрыл громким хохотом с непристойной бранью: «Чёрт её знал (то есть „Неву“)! Я так думал!» Оставим на совести приказчика Шемелина эту сцену. Трудно поверить, что при свете жёлтого фонаря он смог различить на щеках Макара Ивановича „румяную зарю“, если бы такая и появилась. И едва ли Ратманов мог страдать оттого, что едва не причинил убытков комиссионерам, которых терпеть не мог.

- Что касаето вашей Компании, то я о её интересах при споре и не помышлял, — сказал он Шемелину.
- Что вы помышляли, а что нет, Макар Иванович, теперь неважно... Чьи ж пари?
- Ваши, ваши! Завтра же расплачусь.

И Ратманов заплатил всем свой проигрыш немедля, только Шемелина просил подождать, поскольку за мадерой надо было ехать на берег. Отдавая кунью парку и десять лисицогнёвок Головачёву, он хмуро сказал:

- Шемелин вне себя от счастья... Дело в том, что Лисянскому просто повезло: не встретил он Резанова. А то, без сомненья, зимовала бы „Нева“ на Кадыке...

Головачёв спорить не стал. Выигранные меха ногой отодвинул в угол каюты. Лёг на койку. При упоминании о

Резанове опять пришла глухая тоска и не отпускала до утра. А утром сделалась тяжелее прежней — липкая, как жёлтая духота над гаванью Тейпу. Тоска и обида: не на Резанова уже, а скорее на всю жизнь, в которой есть место измене и равнодушию.

Оставаться на корабле было выше сил. Головачёв рад был случаю съехать с другими офицерами на берег. Под предлогом нездоровья отказался он обедать вместе со всеми в богатой португальской таверне и незаметно оставил шумную компанию. Пока шли в таверне разговоры и обмен новостями, пока спорил Шемелин с Крузенштерном и Лисянским о торговых делах, Головачёв один бродил по городу.

Полдня ходил он без цели среди больших зданий португальской колониальной постройки и среди кривых лачуг, по набережной и рынку с дымом жаровен и криками торговцев. На диковинки и редкости, что продавались в лавках, смотрел без прежнего интереса, на богатство — без зависти, на нищенство — без сочувствия. Лишь в те минуты, когда видел голых, копошащихся среди мусора и мух ребятишек, просыпалась колющая душу жалость. С детства не выносил, когда страдают маленькие. В корпусе несколько раз шёл под розги, взявши на себя вину младших кадетов...

Сейчас дал несколько монет согнувшимся до земли родителям голодных детишек и ушёл поскорее из нищего квартала. Бежал со стыдом. Какой монетою откупишься от страданий человеческих?

Любил о сём предмете говорить и Резанов, когда беседовали они вдвоём. Сетовал Николай Петрович на жестокосердие людское, от которого много на свете боли и несправедливостей. Верил тогда ему Головачёв... А сейчас? Сделает ли Резанов что доброе для облегчения жизни промышленных людей и жителей островов американских, как обещал? Или правду говорил Ратманов, что печётся его превосходительство лишь о прибылях, потому что сам вложил свои капиталы в дела Компании?

Верилось, что сделает. Николай Петрович — человек добрый и честный. Но... вспоминалось и другое. Как не отпустил



Резанов на родину японских рыбаков, принесённых бурей к берегам Камчатки. Не отпустил, несмотря на просьбу Крузенштерна. Объявил, что якобы сделать сего без дозволения государя императора не может... Рыбаки, обманувши сторожей, без пищи и воды, на утлой байдаре уплыли с Камчатки. По слухам, они благополучно добрались до родины, Господь был к ним милостив... Но почему не мог быть милостив Резанов? Срывал на бедняках досаду за своё неудачное посольство в Нагасаки?

Ну, в конце концов, что Резанову какието незнакомые японцы? Не ощутил он сердцем их несчастий и тоски по дому... Но как он мог бросить Петра Головачёва? Оставил, будто случайного надоевшего попутчика... И обиды этой не изжить, потому что нет ничего более предательства...

В лавчонке под бамбуковым навесом сидел старый китаец, крутил в руках кусок жёлтого дерева и кривой нож. Сыпалась из под ножа мелкая, как пыль, стружка. Полки были уставлены деревянными драконами, фигурками неведомых зверей, куклами, идолами всяких размеров и бюстами портретами, что в отличие от идолов и зверей вид имели человеческий и живой.

Два английских матроса вертели в руках бюст и сдержанно гоготали. Были, видимо, довольны сходством. Сходство с одним из матросов и вправду было явное...

Неясная ещё мысль мелькнула у Головачёва. Постоял он, криво усмехнулся, спросил у резчика поанглийски:

— А меня сделать можешь?

Китаец заулыбался беззубо, закивал, выдернул изпод себя лист картона, макнул в пузырёк с тушью бамбуковую палочку. Пристально и твёрдо, несмотря на улыбку, глянул на офицера глазами щёлками и фантастически быстро набросал на шероховатом листе его черты — анфас и в профиль.

Головачёв, узнавши себя как в зеркале, поразился сходству. Испугался даже. И сразу подумал: „Значит, судьба“.

Пришётпывая, на ломаном английском языке китаец сказал, что господин может прийти вечером, заказ будет готов.

Головачёв кинул ему в задаток португальский пиастр и до вечера бродил среди разноязычного многолюдья или сидел на берегу, где от воды пахло гнилью и человеческим потом. Зашёл в таверну, выпил кислого тёплого вина, хотя раньше не пил даже в праздники за обеденным столом.

Ближе к сумеркам пришёл он в лавку китайца. Бюст был готов, и Головачёв опять вздрогнул, уловивши живое сходство.

„Меня не будет, а он останется... Ну, что же, так и надо. Пусть помнит...“»

На этом Толик уснул.

Проснулся он поздно. Тупо болела голова, скребло горло. Но Толик жаловаться не стал и поднялся сразу. Аккуратно застелил постель и стал делать всё, что велят мама и Варя: сходил за водой и за хлебом, помыл после завтрака тарелки, помог Варе выжать и развесить на дворе выстиранное бельё... Хмурой покорностью он как бы казнил себя за вчерашнее.

Мама печатала. Перед обедом она закончила предпоследнюю главу и сказала, чтобы Толик проложил копиркой новые листы. Последнюю порцию. А сама пошла к знакомой машинистке — просить свежую ленту к своему «Ундервуду».

Варя окликнула Толика из кухни:

- Ты не забыл, что хотел сходить на рынок за картошкой?
- Ужасно хотел. Аж вспотел весь, — буркнул Толик. Но сложил в пачку готовую к работе бумагу и пошёл.

Когда он вернулся, дома не было ни мамы, ни Вари.

Толик снова сел читать. Царапанье в горле прошло, голова тоже почти не болела, лишь кружилась немного.

Глава называлась «Выстрел».

Толик прочитал полстраницы и услышал, что в наружную дверь стучат. Так размеренно и аккуратно стучал лишь Витя Ярцев — когда приходил с поручением от Олега. У Толика замерло и часто застреляло сердце. Он выскочил в коридор.

- Здравствуй, — привычно сказал Витя. И сбился. Виновато махнул ресницами и стал смотреть в пол. Он держал сломанный

пополам деревянный меч и разорванный до половины картонный щит. Его, Толика, меч. Его щит.

- Вот, — проговорил Витя. — Олег велел отдать... Потому что мы так решили.
- Что решили? — тихо спросил Толик. Хотя всё, конечно, понял. Ох как тошно ему сейчас было...

Витя поднял наконец глаза. И сказал твёрже:

- Потому что мы тебя исключаем. Раз ты бросил нас в опасный момент.

Толик молчал. Стоял прямо и спокойно. Этим внешним спокойствием, этим молчанием он только и мог защитить себя от стыда и горя. Хоть чутьчуть защитить.

- Ну... вот. Всё, — опять виновато сказал Витя. И положил картон и обломки к Толькиным сандалиям. — Я пошёл...
- Хорошо, — отозвался Толик.
- А может... ты чтото сказать хочешь?
- Нет. Зачем?

Это было для Вити уже непонятно. Кажется, он ждал, что станет Толик оправдываться. Не дождался. Повторил растерянно:

- Тогда я пошёл.
- Иди.

Витя неловко двинулся по коридору. Толику очень захотелось заплакать. Он даже подумал, как придёт в комнату и уткнётся носом в подушку... Но сейчас плакать было ещё нельзя. И он смотрел в спину робингуду Ярцеву и вдруг вспомнил, как шли они друг за другом по сучковатому стволу.

- Подожди, — сказал он, и Витя быстро обернулся.
- Что?
- Скажи... вашему командиру... — Толик переглотнул. — Он, конечно, смелый и вообще... И все вы тоже. Но если человек тяжесть несёт, ему надо помогать, чтобы не сорвался.
- Ты не сорвался, а просто сбежал, — тихо возразил Витя.
- Я не про себя, а про Шурку.

Нет, он не стал плакать, когда вернулся в комнату. Сделалось немного легче от того, что он сумел в чёмто упрекнуть робингуудов. Он, Толик, плохой, но и они тоже виноваты... Это было хотя и чахленькое, но всётаки утешение...

Сломанный меч Толик отправил в печку: всё равно не починишь, да и зачем он теперь? Хотел сунуть туда же и порванный щит. Не нужна ему теперь эта рыцарская эмблема.

Но в последний момент он передумал.

Увидел в углу щита звёздочку и передумал.

Такая звёздочка... Как на рукаве гимнастёрки... Если сжечь, значит, он, Толик, совсем уже никто? Хуже всех?

Он всхлипнул наконец и начал с сумрачным упорством искать по ящикам конторский клей. Нашёл пузырёк. Склеил щит по разрыву, придавил к полу, подождал, когда высохнет. Потом, стискивая зубы, прибил щит к сыпучей штукатурке над своей кроватью. Назло робингуудам. Назло себе. Назло слезам.

Затем он снова потянулся к листам с главой «Выстрел».

«...Корабль мягко качало. В ящике стола, царапая дерево, ездил тудасюда пистолет со свинченным курком. Курок испортился ещё на Камчатке, когда были на охоте. Давно следовало отдать в починку слесарю Звягину или заняться самому, да всё недоставало времени.

Головачёв уже который день подряд писал письма. Родным, капитану и даже государю. Чтобы объяснить, почему же такое случилось с ним, с лейтенантом Петром Головачёвым... Вначале слова находились с трудом, а потом словно что-то открылось в душе, и фраза за фразой потекли на бумагу.

Качка не мешала привычной руке. Трудно было только попадать пером в горлышко пузырька с чернилами, а затем перо быстро бежало по бумаге, выводя слова боли и упреков.

В самом деле! Разве не виноват капитан, что затевал ссоры с Резановым? Не будь тех ссор, не ожесточилась бы душа Резанова, не покинул бы он „Надежду“, не оставил бы Головачёва.

А офицеры? Разве за добрыми словами не прятали они затаённой злости? А господа учёные? Разве на пути в Зондском архипелаге не ощутил однажды Головачёв в своей тарелке едкой горечи, какая бывает в отравленной еде? Кто, кроме доктора Эспенберга, мог подсыпать порошок? Сумасшедшая мысль? Как знать...

Отрывочные воспоминания о случайных словах и непонятных взглядах, о подозрительных фразах теперь складывались в ясную картину. Он, Головачёв, был лишний на корабле, его ненавидели и боялись. И дружбы с Резановым простить не могли.

Что же, господа, вы увидите, как поступает в таких случаях человек чести. Пусть будет вам это и упрёком и возмездием. И ему тоже.

Испытывая облегчение, будто кончил тяжёлую работу, Головачёв надписал конверты, перевязал и положил в ящик с пистолетом. Затем вышел на палубу.

Здесь он увидел Шемелина.

- Слава Богу, я всё теперь кончил, — сказал он, улыбаясь.
- Что же такое вы кончили? — спросил Шемелин. — Конечно, писали чтонибудь?
- Да, писал. Но теперь уже устал и больше писать не буду... — Головачёв опять улыбнулся.
- Как же не будете? — засмеялся Шемелин. — Вот почти перед глазами нашими лежит остров Святой Елены. Там вы, без сомненья, найдёте новые предметы, достойные вашего пера.
- Может быть, и так, — вздохнул лейтенант и отошёл.

Шемелин смотрел вслед ему с беспокойством. Он помнил вечер, когда корабль находился против мыса Доброй Надежды. Тогда Головачёв передал Фёдору Ивановичу пакет с бумагами и просил сохранить до Кронштадта. Сказал, что здоровье его расстроено и мало надежды вернуться домой.

Шемелин упрекнул его за столь печальные фантазии, но Головачёв ответил, что передал пакет лишь на всякий случай.

- А бюст свой мне отдали тоже на всякий случай? Кстати, что за странная приписка на пакете? „Бюст мой старшему по чину принадлежит“. Кому же это?
- А вы не догадались?
- Уж коли вы, не дай Бог, в самом деле умерли бы, то кому же его отдать, как не вашим родителям?
Головачёв покачал головой. Шемелин высказал ещё несколько догадок, затем недоумённо развёл руками.
- Он — для Николая Петровича Резанова, — тихо сказал Головачёв.
Шемелин изумился:
- Да емуто на что? Неужели думаете вы, что записаны в вельможеские друзья?
- Не думаю, — усмехнулся Головачёв. — Но он поймёт.

Николай Петрович Резанов не узнал об этом разговоре и не получил бюста. Зимой 1807 года, после плаваний и приключений в Русской Америке и Калифорнии, он возвращался в СанктПетербург через Сибирь, простудился и умер. Могила его в Красноярске. Далекодалеко от другой русской могилы, что затерялась на острове Святой Елены.

...Остров встал из моря суровым нагромождением утёсов, и среди этих громадных и сумрачных скал городок СентДжеймс, лежащий в узкой долине, казался милым и уютным.

Увидев его, Головачёв ощутил спокойствие и даже беззаботность. словно маленький кадет, которому судьба подарила лишний день каникул. Как будто сперва решено было ехать из родного дома в корпус сегодня и вдруг перенесли отъезд на завтра. Вещи уложены, забот никаких, а впереди ещё целый день. Можно не спеша побродить по любимым местам, осмотреть всё с ласковой грустью, посидеть в гостиной, где громко тикают на камине старые часы с бронзовыми завитушками. Полистать в отцовском кабинете тяжёлые, похрустывающие от старости книги...

Так и сейчас.

Съехав на берег, ходил Головачёв по тихим улицам один и со спутниками: с офицерами, с Шемелиным, с доктором Эспенбергом (забывши недавнюю ссору с ним и упрёки в попытке отравления). Был спокойновесел. С улыбкой рассказал Фёдору Ивановичу, как видел в окно одного дома молодую мать, которая забавно играла с девочкой-малюткой. Признался, что детей он очень любит. В доме у майора Сайла, где Крузенштерн снял квартиру и офицеры были в гостях, Головачёв, как мальчик, возился с хозяйскими ребятами, бегал с ними по комнатам, играл в прятки. Особенно много веселился он с пятилетней девчушкой Джесси: вертел её на руках, болтал с ней, угощал конфетами...

Следующим утром, в последнем письме, написал он, что именно эта девочка подарила ему ещё день жизни...

Когда ясное небо уже было испещрено звёздами и тёплый ветер мягко трогал деревья, Головачёв вернулся на „Надежду“. Попрежнему спокойный и ласковый со всеми. С ночи заступил он на вахту и был на ней до восьми утра.

Утром седьмого мая, когда многие уже поднялись на палубу, а Крузенштерн съехал на берег, Головачёв весело разговаривал со всеми, кого видел, шутил с Шемелиным, подталкивая его под бока.

— Да полно вам, — добродушно ворчал Фёдор Иванович. — Идите играйте вон с молодыми.

Головачёв смеялся.

В восемь часов он прошёл к себе в каюту.

День каникул был окончен, ночь тоже прошла, наступило утро прощания. И тяжёлая тоска разом упала на Головачёва. Как в давние времена при прощании кадета Пети с домом.

...Остались считанные минуты. Лошади уже поданы к крыльцу, и, чтобы сократить неизбежную и давящую до слёз печаль, Петя начинает торопить время. Пусть уж скорее всё кончится. И тоска эта кончится... Он уныло топчется на крыльце, пока дворня укладывает в бричку баулы. Брат, которому надоела деревня и который рвётся в корпус к товарищам, устроился уже в коляске. Пора и ему, Пете. Скорее уж — проглотить комок слёз — и в путь...

Он вынул из ящика пистолет.

Тяжёлый кремнёвый пистолет был заряжен ещё со времён Камчатки. Так и не выстрелил, когда отвалился курок. Но сейчас курок был не нужен. Фитиль надёжнее, не случится осечки».

...«Не надо!» — отчаянно подумал Толик.

Он знал, что это случится. Случилось сто сорок два года назад. Но всётаки надеялся на чудо.

«Не надо»...

«Не надо!» — мысленно крикнул себе Головачёв.

Тот маленький Петя крикнул на крыльце: „Не хочу уезжать!“

Он качнулся назад, к двери.

Вбежать в родные комнаты, остаться в них навсегда! Вцепиться в столбики перил на лестнице, в шкаф, в кровать. Стиснуть закаменевшие пальцы, чтобы не оторвали, не увели!..

Но всё равно уведут. Уговорят, заставят. Скажут: „Надо“. Никуда не спрячешься, никуда не уйдёшь от этого железного „надо“. Он, задержав всхлипы, последний раз обнимает маменьку и отца, на секунду утыкается лицом в грудь старой няньке и деревянным шагом идёт к бричке...

Непослушными пальцами Головачёв оторвал от платка полоску и скрутил в жгут. Выбил из кремня искру. Фитиль затлел. Головачёв помахал им в воздухе. Появилось странное ощущение: будто не он всё это делает, а кто-то другой. Он же смотрит на этого другого и снисходительно усмехается.

С этой усмешкою Головачёв сел на стул между койкой и комодом. Голова гудела от торопливо выпитой бутылки ликёра.

Головачёв упёрся правым локтем в комод, а ствол поднёс к губам.левой рукой придвинул фитиль к затравке...»

...Толик будто ощутил на губах вкус холодного, пахнувшего пороховым нагаром железа (так пахли стволы у охотничьего ружья Дмитрия Ивановича).

«Не надо! Не...»

Толик полчаса лежал ничком, и в ушах звенело от тишины, как от прогремевшего выстрела.

Потом он сказал лейтенанту Головачёву:

«Зачем ты это сделал?»

Головачёв ответить не мог.

«Запутался, да? — зло спросил Толик. — Значит, если человек запутался, сразу пулю себе в глотку?»

Молчал лейтенант, похороненный с воинскими почестями на острове Святой Елены. Не было его. И не было тех, кто его знал и мог хоть что-то объяснить.

Что поймёт посетитель старого островного кладбища, когда прочитает надпись на камне?

ИЗНЕМОГ ПОДЪ ГОРЕСТНОЙ СВОЕЙ СУДЬБОЮ
ПЁТРЪ ГОЛОВАЧЁВЪ, ВТОРОЙ ЛЕЙТЕНАНТ
РУССКАГО ФРЕГАТА НАДЕЖДЫ.
МАЙЯ 7ГО ДНЯ 1806 ГОДА. ВОЗРАСТА 26ТИ Л ТЪ.
ДА ПОЧИЕТЬ ПРАХЪ ЕГО В МИВЪ И ТИШИН Ъ

«Ну а ято при чём?!» — крикнул себе Толик. Но едкое чувство виноватости не прошло.

«Я тоже запутался, — понял Толик. — Этим мы похожи...»

Подошёл Султан, вопросительно махнул хвостом.

— Нет, — сказал Толик, — не бойся. Я стреляться не буду.

Чёрта с два...

Но что же всётаки делать? Как снять с души эту ржавую корку вины? С кем посоветоваться?

«С Кургановым, — подумал Толик. — Отнесу ему повесть и заодно всё расскажу. Он поймёт...»

Стало легче. Толик встал. Поднял с пола молоток и ещё раз ударил по гвоздям, которые держали на стене щит с эмблемой. Так ударил, что вдавил картон в штукатурку.

Потом он взял Султана и пошёл с ним купаться. Не на Военку, а к другой запруде, у моста. Здесь он повстречал вернувшегося в город Назарьяна. Они долго болтыхались в тёплой мутноватой воде.

Феникс

Вернулся Толик поздно. Получил за это от мамы лёгкую нахлобучку, подурачился с Варей и почувствовал, что всё в жизни встаёт на свои места. Не такая уж она плохая, жизньто...

Но когда он лёг, опять подкрались беспокойные мысли. Они боятся подползать, пока человек движется, занимается делами. А как ляжет — опутывают клейкой паутиной...

И пускай бы тревожные, но отчётливые, такие, чтобы можно было разобраться. А то ведь путаница. Про грозу и самолёт, про пистолет без курка, про порванный картон с эмблемой. Про Головачёва, про Шуркин рюкзак. И весь этот клубок ворочается, как в густом киселе, в ощущении вины и смутного страха.

Сон иногда накрывал Толика, но и во сне было не легче. Толик видел, как вдоль строя английских солдат, опустивших к земле штыки, движется чёрный бархатный балдахин. Позади идут офицеры «Надежды», держа под мышками треуголки. Лысый, с белыми бакенбардами доктор Эспенберг тихо говорит Крузенштерну:

— Иван Фёдорович, вы же ни в чём не виноваты. Он был болен, вот и написал такое письмо. И не вам одному... Можно скорбеть о гибели, но обвинять себя нет никакой причины...

Крузенштерн молчит. Он знает, что причина есть, хотя ещё и не разобрался в ней. И оттого, что не разобрался, особенно тяжело. Тот же клубок мыслей, что и у Толика.

Крузенштерн оборачивается к Толику:

— Ладно, я виноват. Но онто зачем так? Тоже бросил экспедицию. Резанов бросил, он бросил...

Толик сжимается — сейчас Крузенштерн скажет: «И ты!»

Но Иван Фёдорович ничего не говорит больше, берёт его за руку и ведёт обратно. Они поднимаются на палубу «Надежды». Паруса неподвижно и туго надуты, хотя корабль стоит у пристани... Но он недолго стоит. Крузенштерн кладёт руку на штурвал, и «Надежда» начинает скользить в вечерней тишине.

Она не над водой скользит, а над булыжными мостовыми. Вдоль старых домов, где зажигаются жёлтые окошки. И Толик видит, что это не СентДжеймс, а Новотуринск. Знакомые улицы — Ямская, Уфимская, Запольная. Только жёлтые акации разрослись в громадные деревья. Мачты и реи цепляются за ветки с перистыми листьями и стручками. Подсохшие стручки лопаются, семенагорошины сыплются дождём и стучат по твёрдым выпуклым парусам.

...Это мамина машинка стучит. Маме надо как можно скорее допечатать последние листы «Островов в океане».

Мама печатала и утром. Сквозь сон Толик услышал рассыпчатый треск «Ундервуда».

Просыпаться окончательно и вставать не хотелось. Опять скребло в горле, и тупая боль вдавливала голову в подушку. Толик в полудрёме томился страхом, что его сейчас заставят подняться и пошлют за водой, или в магазин, или на рынок. Нет, не подняли, не послали. Хорошото как...

Лишь в десятом часу, закончив печатать, мама сказала:

— Вставай, всё равно уже не спишь. Мы с Варей уходим, у нас масса дел... Картошка на сковороде, молоко в кухне на подоконнике...

— Угу...

— Поешь, а потом разбери и разложи по экземплярам последние листы, я всё напечатала.

— Ага...

— Не «угу» и не «ага», а вставай... Отнесёшь работу Арсению Викторовичу. Не тьяни, он просил поскорее...

Мама с Варей ушли. Толик побрякал умывальником, смочил глаза и нос. Поковырял вилкой жареную картошку. Есть не хотелось, под желудком тяжёлым комком шевелилась тошнота.

Толик побрёл к столу с машинкой. Здесь лежали последние страницы повести, штук тридцать. Толик брал сложенные вместе три листа, прочитывал верхнюю страницу, убирал копирку и раскладывал листы по трём папкам.

Он зачитался и забыл про боль в горле и тошноту.



«...„Надежда“ вернулась в Кронштадт, где уже стояла пришедшая двумя неделями раньше „Нева“... Пробежали годы... Вышли книги о первом плавании россиян вокруг земного шара. Вышел знаменитый „Атлас Южного моря“, составленный Крузенштерном. Другие русские капитаны уже не единожды совершали кругосветные плавания. Однако первые — всегда первые, им особая слава и честь. Эта слава до конца дней будет с Крузенштерном.

Но слава — она как блеск парадных эполет, более заметна другим, чем самому. А для самого человека важнее славы память.

В памяти же, кроме побед и подвигов, — горькие ошибки и утраты. Есть ошибки, в которых никто не усмотрит вину капитана. Но не будет и оправдания, потому что он не может оправдать себя сам. Да и надо ли оправдываться? Что было, то было. Он не привык прятаться ни от опасностей, ни от чужих упрёков, ни от собственной совести.

А в памяти — острова. Тенерифе и Святая Екатерина, Нукагива и легендарный, так и не найденный (но столько раз словно виденный наяву) Огивапотто... Гавайи, Япония, Курилы, Сахалин... И остров Святой Елены, где на маленьком кладбище камень с непривычными для местных жителей русскими буквами. Самая горькая память, самый тяжёлый упрёк.

Ну а разве он, капитан Крузенштерн, мог знать, что всё так кончится? Разве не пытался утешить и успокоить второго лейтенанта „Надежды“?

„Вы всётаки оправдываетесь, господин капитанлейтенант... господин контрадмирал! Зачем?“

„Я не оправдываюсь. Я просто до сих пор не могу понять причину...“

Острова — как люди. Люди — как острова. Мало увидеть остров в океане и обозначить его координаты. Надо знать, что в его глубине. Надо изучать долго и старательно. Лишь тогда можно сказать: открыл.

А всегда ли есть на это время? Мир велик, путь далёк, и ветер гонит корабли мимо новых островов. Зачем? Так ли уж важно

обойти вокруг света? Не важнее ли одинединственный остров изучить до конца? А то получится, как с Сахалином: до сих пор в глубине души гложет сомнение — есть там песчаный перешеек или нет его?

Это потом узнают в точности другие капитаны. А он? Ему уже не водить корабли. Седает голова, болят глаза, тяжкими пере боями заходится иногда сердце... Особенно как сегодня... О чём печалиться, разве мало плавал? Но порою приходит тоска по ту го надутым парусам — белым с голубыми отблесками от синевы южного моря и неба. И по штормовому свисту в такелаже.

И, несмотря на все горечи и ошибки, вновь зовут к себе дальние острова — те, что встают изза горизонта острыми утёсами, вырастают на глазах и плывут, плывут навстречу...

Нет, всё это позади. Другие теперь заботы. И другой у него „корабль“ — вот этот корпус, где полтысячи мальчишек готовятся стать новой славой Российского флота. Каждый из них — словно остров неразгаданный. Не пройти бы мимо, не просмотреть, не ошибиться. Чтобы не случилось беды... И чтобы не болела потом душа, как болит сегодня изза Егора Алабышева, который получил нынче первый горький урок несправедливости и боли.

Малыш... Как он сказал о Фогте: „Да! Вызову“».

„Дуэлями фогтов не уничтожишь, Егорушка. Их много... Они крепко напустили себе в штаны два года назад, когда мятежные офицеры вывели на Сенатскую площадь свои полки и гвардейский флотский экипаж, но быстро эти фогты осмелели опять. Повстанцами — храбрыми и чистыми душою людьми — будет потом гордиться Россия, однако они не добились пользы. Кто же добьётся? И что надо делать?.. Я не знаю. Может быть, Егор Алабышев будет знать, когда вырастет? Или не он, а только внуки его?

В одном я уверен: вырастет Егор Алабышев смелым и честным человеком. И добрым. Никогда никого не предаст. Будет опорой многим людям и защитником своей стране. Для того я здесь. И на то положу свои силы.

Расти, мальчик. У тебя свои острова...»

Толик закончил главу — это были страницы, которые в июне читал ему Курганов. Но это был ещё не конец. На следующем листе увидел Толик слово «Эпилог».

Толик прочитал начало эпилога, удивляясь, что речь идёт совсем о других временах и людях. Нетерпеливо отложил прочитанный лист, снял со второго экземпляра копирку... и обомлел.

Бумага была чистой. Зато изнанка отложенного листа чернела отпечатанными строчками! Перевернутыми, как в зеркале... Значит, вчера он разложил копирку не той стороной! О, идиот!

Так уже случилось однажды, но тогда мама это быстро заметила. А сегодня торопилась, и вот...

Ох, что будет! Впервых, от мамы влетит (и правильно, так ему и надо!). Вовторых, мама сказала, что придёт только вечером; когда же Арсений Викторович получит конец повести? Ведь копиркато у всех листов перевернута, до самого конца!

Сколько их до концато?.. Ой, полтора десятка! Для мамы — почти три часа работы...

Вот уж правда: если пошли несчастья, то одно за другим.

Но ведь он же вчера решил не поддаваться. И щит прибил к стене с такой силой... Пятнадцать страниц перепечатать — это, конечно, нелёгкая работа. Он не умеет быстро, как мама. Но... ведь впереди целый день. Лишь бы успеть до маминого прихода и не наделать ошибок...

Нет, он стучал на машинке не так уж медленно. Каждая буква отдавалась в голове болезненным толчком, а в горле словно засел шероховатый кубик (сколько ни глотай — не исчезает), и всё же Толик печатал с увлечением: он одновременно и дочитывал повесть. Он специально не разрешил себе читать в обгон перепечатанных строчек, чтобы не терять потом интереса. И пальцы, торопясь за словами, метались по трескучим кнопкам всё быстрее...

К пяти часам он кончил. Посидел, опустив руки.

Исправил карандашом на последней странице ошибки...

Перечитал последние строчки. Было грустно, потому что конец повести оказался суровым. Но в суровости была гордость —оттого, что есть сильные и бесстрашные люди... И в печали у Толика не было тоски, а было упрямство.

Он опять постарался проглотить деревянный кубик. Толчком поднялся со стула. Готовые листы разложил по трём папкам. А испорченные... Улыбнувшись, он отодвинул в подставке «Ундервуда» тугую планку, согнул листы пополам и сунул в щель. Когданибудь он достанет их и покажет маме: «Смотри, что получилось. И допечатал я „Острова в океане“ сам...»

Сейчас надо отнести конец повести Арсению Викторовичу. Но сначала — полежать. Недолго, минут пятнадцать. Чтобы ноги стали не такие вялые, а в голове так не стреляло. А то прикрошь глаза, и по векам скачут чёрные мячики и лопаются с оранжевыми вспышками.словно круглые орудийные бомбы на севастопольских бастионах, только беззвучно, как в немом кино...

Пришла мама, тронула Толькин лоб, ахнула.

— Я сейчас, — пробормотал он. — Я быстро встану...

— Варя, дай градусник!

Ничего страшного не случилось. Ни дифтерита, ни воспаления, ни тифа, ни даже кори... Температура держалась два дня, а потом болезнь пропала, словно и не было её.

Ольга Сергеевна, знакомый врач из детской поликлиники, приходила дважды. Во второй раз она сказала:

— Перекупался, перегрелся. Такое с мальчишками бывает. А возможно, ещё и перенервничал изза чегото. Было?

— Кажется, не было, — с сомнением отозвалась мама. И посмотрела на Толика. Он молчал.

Когда Ольга Сергеевна ушла, Толик сказал:

— Ой, а повестьто надо отнести Арсению Викторовичу!

— Здравсте! Я ещё вчера отнесла.

— Три экземпляра?

- Как ты надоел мне с этим третьим экземпляром! Я тебе сказала: разбирайся с ним сам. Вот поправишься — и неси.
- Я уже поправился!
- Но мама на всякий случай ещё два дня держала его дома.

Нет, не считал Толик большим грехом, что вместо двух экземпляров повести получилось три. И когда шёл к Арсению Викторовичу, успокаивал себя: «Что тут плохого? Я же отдам и всё объясню...» Но объяснятьто придётся про обман. А даже самый маленький обман — всё равно свинство. Всё равно за него стыдно. Особенно сейчас, когда всякую свою вину Толик почему то связывает с тем случаем. С проклятым самолётом без крыльев... Будто всё, что он, Толик, делает плохого, валится в одну большую чёрную копилку. И даже то, что никогда не делал. То, что было давнымдавно... Думаешь о «Надежде» и острове Святой Елены, а в какието щёлки лезут мысли о самолёте...

И Толик даже не удивился, когда встретил на своём пути, в квартале от дома Курганова, робингудов. Это было как бы продолжение его мыслей.

Робингуды шли шеренгой. По всей ширине крепкого дощатого тротуара. У Толика на секунду радостно затеплело сердце. Будто ничего не случилось! Будто он спешит к своим робингудам и повстречал их так удачно, и всё сейчас будет хорошо.

Но тут же увидел он прищуренные глаза Наклонова, ухмылки Мишки и Семёна, ехидное лицо Люськи. И Рафика, глядевшего с какимто охотничьим любопытством (или показалось?).

Витька смотрел виновато и напряжённо. А Шурка — тот вообще не глядел на Толика: потупился и водил ботинком по доскам, когда вся шеренга остановилась.

Толик тоже остановился. Не пробиваться же через робингудовский строй! Это будет уже драка. А обходить их по канаве с застоявшейся зелёной жижей или лезть голыми ногами в чертополох у забора — противно и унижительно.

Олег сказал холодно и лениво:

- А, Липкин...
- Почему Липкин? — хмуро спросил Толик.
- А кто же ты? Когда мы тебя первый раз поймали, ты что сказал с перепугу? «Я Липкин...» И сейчас такой же, опять с папочкой идёшь.
- А вы опять думаете, что в ней секретные сведения про вас, — не удержался Толик, хотя и понимал: дразнить бывших друзей опасно.
- Нет, не думаем, — сказал Наклонов. — Из тебя даже и шпион не получится. Для этого тоже смелость нужна...
- А из тебя она вся вытекла, когда ты трусы замочил в самолёте, — закончил Семён и гоготнул.

У Толика в глазах защипало от стыда и бессильной злости. Но он постарался остаться спокойным. Это всё, что он сейчас мог.

- Зато вы храбрые, — сказал Толик. — Шестеро на одного.
 - На тебя, что ли? — искренне удивился Олег. — Кому ты нужен? Пожалуйста, гражданин Липкин, идите своей дорогой.
- Он сделал плавный жест, и шеренга расступилась. Встали в два ряда по краям тротуара.

И Толик, закусив губу и глядя перед собой, прошёл сквозь строй.

Он был уже в пяти шагах от робингудов, когда услышал тонкий Шуркин голос:

- Толик, а ты разве не к нам шёл?
- Цыц! — тут же сказала Шурке Люська. Но Толик уже обернулся. Со смесью обиды, стыда и... надежды.
- Я?.. К вам?

Олег с коротким зевком проговорил:

- Вообще-то, если ты придёшь, мы можем рассмотреть твой вопрос.
- Ага... — ухмыльнулся Мишка Гельман. — Только пускай клятву даст больше не дрейфить и не подводить. Как Шурка...
- Клятву? Это, что ли, с кирпичом над макушкой? — понимая, что всё кончено, сказал Толик. — Много хотите. Я к вам в рабы не записывался.

— Ну и гарцуй отсюда, — подвёл итог Олег.

Толик сделал равнодушнопрезрительное лицо и пошёл, не оглядываясь. И прижимал к боку изо всех сил папку.

Сзади вдруг поразбойничьи свистнули (видимо, Семён: он только и умел одно делать хорошо — свистеть вот так). Толик вздрогнул в душе, но не оглянулся, не ускорил шага.

Арсений Викторович долго не открывал. Постучав третий раз, Толик с огорчением решил, что Курганова нет дома. И лишь тогда услышал за дверью шаркающие шаги.

Курганов показался Толику больным. Был он в свитере и шлёпанцах из обрезанных валенок. С помятым лицом и сумрачнорассеянными глазами.

— А, Толик Нечаев... — сказал Курганов странно, с медленным вздохом. — Заходи. Я недавно про тебя думал.

Толик встревожился. Сперва решил даже, что Курганов опять выпил. Но нет, запаха не ощущалось нисколечко.

Настроение Курганова было непонятное, и Толик не решился сразу говорить о третьем экземпляре. Он оставил его в сенях — незаметно сунул за кадушку у дверей. И сразу подумал, что это глупо: Арсений Викторович мог заметить папку, ещё когда отпирал дверь. Теперь спросит: «Что ты мне принёс?»

Нет, ничего он не спросил. Кивнул на табурет:

— Садись... — И сам тяжело сел на заскрипевшую кровать.

В непонятнобеспокойном молчании Толик оглядывал комнату. Всё было как раньше: солнечно, просторно. Смотрел со стены Крузенштерн, привычно стучал хронометр. И всё же чувствовалось что-то неуютное. Толик скоро понял что! Пахло остывшими углями и золой. И точно — в камине чернели головешки и светлел серый пепел. Изпод пепла блестело стеклянное доньшко. Наверно, Курганов не спал ночь, сидел у огня. Может, не давали покоя всякие мысли? О дочери Лене вспоминал, которая не пишет? Или разные тяжёлые случаи из своей жизни? Толик догадывался, что случаев таких было немало.

Словно услышав мысли Толика, Курганов сказал глуховато:

- Ты на меня не обращай внимания, сегодня я такой... невыспавшийся и хворый. Видно, стариковская бессонница...
- Я понимаю, — кивнул Толик. Догадка его оказалась правильной, и от этого тревога за Курганова сделалась менее понятной? — ласково и грустно улыбнулся Курганов. и мысли разные... Как колючая с
- Ну, когда не спится проволока в голове. чего? — тихо сказал Арсений
- Господи, а у тебя то Викторovich.
- А изза всего... Это трудно... Я не знаю, как сказать.
- А ты скажи, как получится. Как думаешь...
- Но... я думаю совсем глупо, — жалобно усмехнулся Толик. Курганов молчал.
- Ну, совсем глупо, — прошептал Толик. — Мне такое кажется... Будто я виноват, что Головачёв застрелился. Курганов мигнул. Нахмурился. Потискал подбородок.
- Это не глупо. Так бывает... Может быть, ты и в самом деле в чём-то виноват?
- Ну... в чём-то, наверно... — насупленно признался Толик (раз уж пришло время признаваться!). — А Головачёв-то при чём?
- Кто знает... Может быть, твоя вина похожа на его вину?
- На его вину? А разве он виноват?
- А разве нет? Ты подумай. И про него, и... про себя.
- Я и так всё время думаю, — пробормотал Толик. — Я запутался. Можно, я расскажу?
- Курганов кивнул. И Толик рассказал всё, что с ним случилось в походе и потом. Иногда он просто давился от стыда и замолкал. Курганов не торопил. И было слышно, как тикает хронометр. От его уверенного стука делалось легче, и Толик продолжал. И проговорил в конце концов:
- Ну вот, видите... до чего я докатился...
- Курганов опять потискал жёлтыми пальцами подбородок.

— Не буду я тебя успокаивать. Ты виноват, сам это знаешь... Но ты скорее перед собой виноват, чем перед ребятами.

— Почему?

— Потому что робингуды твои тебя не удерживали. Никто ведь не говорил: «Оставайся, нам с тобой будет лучше». Верно?

— Олег сказал: «Кто хочет, пусть идёт...»

— Ты и ушёл...

Толик выдавил, запинаясь от беспощадности к себе:

— Да... Но я же не потому, что он сказал... Я... потому, что я струсил.

Курганов обошёл Толика, встал сзади. Большую ладонь положил ему на темя.

— Не только поэтому... Потому, что ты был один.

— Один? — Толик удивлённо шевельнулся.

— Конечно. Между ребятами и тобой трещина прошла... Как у Головачёва между ним и другими моряками. Видишь, он тоже... ушёл. Ты — домой, а он — насовсем.

— Но он же не изза трусости. Изза обиды. Вообще... изза горя своего.

— А другим он своей смертью сколько горя принёс! Товарищам своим, родителям, братьям... Ты спрашивал: в чём его вина? Вот в этом. В том, что он сделал непоправимое... Ты, Толик, запомни одно: самая страшная беда, когда человек делает непоправимое. Такое, что уже не исправишь. Этого надо бояться больше всего... Понял?

Толик не знал, понял ли. Насчёт непоправимого, кажется, понял. А насчёт Головачёва и себя?.. Что у них одинакового? Что сделал он такого, чего совсем нельзя исправить? Может, Курганов считает, что он, Толик, законченный трус и дезертир?

Толик так и спросил горьким и стыдливым полушёпотом:

— Значит, я... совсем?

Рука Курганова дёрнулась, он отозвался почти испуганно:

— Да что ты, малыш! У тебя всё поправимо.

— Как поправимо? — вздохнул Толик. — Мне к робингудам теперь всё равно дороги нет...

— Я не про это. Я про характер. Ты, помоему, трусить больше никогда не будешь, у тебя теперь зарубка на характере.

— Я не знаю, — опять вздохнул Толик.

— А я знаю, — возразил Курганов и отошёл к столу... — Я в тебя, Толик, верю. Недаром ты такие славные стихи написал... Я вот оставил тебе на память...

С верхней полки он взял листок, протянул Толику. Толик встал с табурета. Лист был началом повести — первая страница первого экземпляра.

— А... как же вы без него? Разве вам не надо?

— Мне уже ничего не надо, — глухо сказал Курганов и отвернулся к окну. — Сжёт я всё к чертям...

— Зачем?! — выдохнул Толик.

Спина Курганова сердито дёрнулась под обвисшим свитером.

— Потому что прочёл перепечатанное свежими глазами. И понял: всё чушь и мура... Кроме твоих стихов... Ну и вот...

Толик посмотрел на камин. На пепел и угли.

— Оба экземпляра сожгли? — шёпотом спросил он.

— Да! И черновик! — раздражённо ответил Курганов. — Чтобы больше не мучиться... Зачем оно, беспомощное бумагомарание? Бред!

— Не бред! Это хорошая повесть!

— Чушь...

— Нет, хорошая. Зачем вы...

Курганов сел к столу, охватил голову растопыренными ладонями. Тихо сказал:

— Хорошая, плохая... Теперь, слава Богу, никто решать не будет. Нету «Островов в океане».

Толик смотрел сумрачно и строго.

— Вы теперь сами жалеете, что сожгли...

— Да, — неожиданно обмякнув, согласился Курганов. — Жалею. Столько лет потратил. Смысл в этом видел... И вот —

ударило в башку. Тоже, безумный гений нашёлся! Николай Васильевич Гоголь... Но всё равно правильно. Она бы меня не отпустила, эта писанина, измучила бы до смерти. А я уже не могу...

— А без неё... можете? — спросил Толик негромко, но жёстко.

Курганов посмотрел на него исподлобья. Блестящие голубые глазки его тонули в морщинистых впадинах. Он сказал с беззащитностью:

— Ты меня будто добить хочешь. Толик, ты зачем так?

— А вы зачем так? Сами говорите, что нельзя делать что непоправимое! сделали? Всё равно что в себя бы вы

А жили, если б не остался третий

выстрелили!.. Как

экзкурса» Журналист некрасиво приоткрыл рот и, грудью ложась на стол, весь потянулся к Толику. Молча. А в глазах — тоска и просьба о чуде. Обжегшись этим взглядом, ужаснувшись — «Что же я его мучаю?!» — Толик метнулся в сени и ворвался в комнату с папкой. Курганов потянул к ней похожие на грабли пальцы, и лицо его умоляло: только не обмани... Но Толик отшатнулся.

— Нет! Сначала дайте честное слово, самое страшное... что не сожжёте больше. Поклянитесь чемнибудь...

Курганов с облегчением уронил на стол руки.

— Чем хочешь.

— Жизнью своей, — жалобно попросил Толик.

Курганов сказал, слабо улыбаясь:

— Толик... мне моя жизнь — что! Я твоей клянусь, если веришь: никогда не сожгу.

Толик положил папку на край стола. Курганов дотянулся, оборвал тесёмки, стал лихорадочно перекидывать листы. Уронил их, медленно вздохнул, упёрся в стол руками. Согнувшись, смотрел на Толика. Лицо Арсения Викторовича, пожалуй, не было счастливым. Было серьёзно. Оно торжественным.

— Феникс... — проговорил он.

— Что? — растерянно пробормотал Толик.

- Птица Феникс. Она сгорает, а потом возрождается из пепла. Живая. Слышал такую легенду?
- Не... — сказал Толик. — Арсений Викторович, вы теперь берегите повесть. Единственный экземпляр ведь.
- Обещаю... А правду я говорил: Толик Нечаев приносит мне счастье... — Наверно, хотел Курганов улыбнуться, но лицо скомкалось, он закрыл его ладонями и быстро сел.
Толик впервые увидел, как плачет взрослый мужчина.
- Я пойду, — тихонько сказал он.



ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЧЁРНАЯ РЕЧКА

Т. О. Л. И. К.

Пруд был крошечный, размером с отрядную спальню. По краям он зарос камышом и осокой. Чтобы попасть к воде, нужно было пробраться по тропинке в зарослях и по шатким мосткам.

Толик пробрался. Поставил на доски тяжёлый акваскоп (мостки вздрогнули). Встал на четвереньки, заглянул в воду. Здесь было неглубоко, но на поверхности дрожала солнечная рябь и прятала под собой дно с нехитрым подводным миром. Без аппарата не разглядишь, что там делается...

Толик опустил с мостков узкий дощатый ящик с застеклённым доньшком. Упругая сила воды толкнула самодельный прибор назад, вверх, но Толик придержал его. Заглянул внутрь.

Стеклянное дно акваскопа зеленовато мерцало, будто квадратный экранчик. Стала видна путаница мёртвых, полузатянутых илом водорослей, блеснул рубчатый краешек пивной пробки, выбрался изпод неё подводный жук неизвестной Толику породы и тут же закопался в ил. Толик его понял: если увидишь, что нависла над тобой стеклянная крыша, а сквозь неё смотрит громадная рожа, — ещё не так закопаешься...

Несколько пузырьков поднялись со дна и прилипли к стеклу. «Капли воздуха, — подумал Толик. — У нас, на земле, бывают капли воды, а там, в глубине, — воздушные капли».

Внутри одного такого шарика суетливо перебирала волосяными ножками какая-то букашка.

«Тоже живёт, — без усмешки подумал Толик. — Наверно, удивляется: куда я попала?.. Не бойся, ничего с тобой не будет».

Нахально проплыла под акваскопом жирная пиявка. Такая неприятная, что у Толика зачесался под коленом рубчик. Потом... Потом Толику повезло! Появились две сверкающие рыбёшки длиной в мизинец. Остановились, изумлённые. Взглянули на Толика булавочными глазками и — раз! — стрельнули в сторону...

Толик дышал затаённо, как разведчик на границе незнакомого мира...

Сделать акваскоп надоумил Толика Арсений Викторович.

Перед лагерем Толик зашёл к нему попрощаться. Курганов его встретил весело, хотя весёлость была немного нервной.

— Едешь? Хорошо... А я тоже еду, в Среднекамск. Там областное издательство, там покажу повесть. А что? Пора уже! Что скажут, пусть... Будь что будет... Впрочем, я надеюсь. Да, на лучшее надеюсь. Потому что без этого как? А?

- Да всё будет хорошо, — сказал Толик бодро и слегка покровительственно. Потому что в самом деле был уверен.
- Да? Мне бы такую уверенность...
- Вы не бойтесь. Повестьто хорошая получилась!
- Ох, не знаю... Видишь ли, мне кажется, ты меня просто захваливаешь. Ты мне ни про один недостаток не сказал, а так не бывает, чтобы рукопись без недостатков.
- Толик лихорадочно стал думать: какой бы найти недостаток?
- Мне, пожалуй, там одно немножко непонятно, — сказал он.
- Эпилог. Он както не очень связан с Крузенштерном...
- Да? Жаль, что непонятно. Значит, я намудрил... Я что пытался показать? Вопервых, как Крузенштерн воспитал будущих моряков. Хотелось мне соединить начало и конец...
- Ну, это то понятно, — вставил Толик.
- Вот... А ещё такая мысль. Хотелось сказать, что люди должны не только жить как следует, но и умирать не по пустому, не зря. А то обидно, если как Головачёв...
- Я, в общемто, так и понял, — поспешил успокоить Курганова Толик. И не выдержал, спросил: — Ещё одно немного неясно — был всётаки Крузенштерн виноват или нет?
- В гибели Головачёва?.. Это нерешённый вопрос. Ни для меня, ни для тебя. Ни для самого Крузенштерна... С одной стороны, в чём он виноват? Не он предал Головачёва. Не он ему душу разбередил... К тому же Головачёв был явно болен, утомлён... Ты имей в виду, что плавание было тяжёлое, у многих здоровье расшаталось. Хладнокровнейший надворный советник Фосс, например, начал страдать нервными припадками. Любимец всей команды Иван Курганов, весельчак и заводила, перед островом Святой Елены слёг с непонятной болезнью: жаловался на слабость, на тоску, плакал даже. Это я к тому говорю, что нервы у многих были измотаны. А у Головачёва — тем более. Вот он и сорвался... При чём здесь Крузенштерн? Кто посмел бы его обвинить?.. Другое дело, когда он сам себя...
- Что сам себя? — тихо переспросил Толик.

- Сам он, конечно, казнил себя в душе. Так и жил с этой виной. Только другим не показывал. Это нельзя.
- Почему нельзя?
- Как бы тебе объяснить... Одно дело, когда человек виноват перед людьми, другое — когда перед собой. У Крузенштерна была именно вина. Не ради заботы могут наказать, но такая, что грызёт душу... Но, Толик, ведь, наверно, каждый человек в чём-то виноват, без ошибок никто не проживёт. Надо помнить про свою вину, чтобы не повторить. Но надо и уметь держать её за горло, иначе пропадёшь.
- Почему? — спросил Толик. Ему было зябко и неудобно.
- Ты посуди, что было бы, если бы Крузенштерн только терзался? Не воспитал бы он тысяч моряков, не составил бы знаменитого «Атласа», не написал бы своих книг. Не помог бы новым кругосветным экспедициям... Не боролся бы с тупыми адмиралами, с офицерами-держимордами, с чиновниками. Представляешь, Крузенштерн бы изводил себя и жил с опущенной головой, а они бы радовались и делали что хотели...
- Но он всё равно себя изводил. Когда один оставался.
- Что ж, наверно... Я ведь про это написал.
- Я потому и говорю.
- Были, конечно, горькие мысли. Корил себя, что недосмотрел, не успел, не разобрался... А потом, может, и оправдывал себя: «Как в чужую душу заглянешь?» В самом деле
- как? Вроде бы вот он, человек, рядом, а что у него в мыслях?.. Это, знаешь, как поверхность воды. Рябит, блестит, а что там чуть поглубже — не разглядишь без акваскопа...
- Без чего?
- Без акваскопа... — Арсений Викторович улыбнулся. Кажется, обрадовался, что может изменить разговор. — Вспомнил один самодельный прибор, я им в мальчишеские годы развлекался. Вычитал про него в тогдашнем детском журнале — не то в «Светлячке», не то ещё в каком-то... Это простая штука, легко сделать. Тебе интересно?

—Конечно. Я, может быть, в лагере сделаю...

Курганов на листке за минуту набросал чертёж.

— А что это ты так неожиданно в лагерь собрался? Вроде бы речи не было...

— Маминой знакомой сыну путёвку дали, а у него что-то с анализами не получилось. Вот маме и сказали, чтобы я ехал.

— Рад?

— Ага... — не очень уверенно сказал Толик.

Ещё ни разу в жизни он не покидал надолго свой дом. Ездил к Варе в Среднекамск, но всего на несколько дней и с мамой. В больнице лежал со скарлатиной, но это в двух кварталах от дома, и мама приходила под окно палаты чуть не каждый день... Хочется ли ему в лагерь? Если верить «Пионерской зорьке» и «Пионерской правде», лагерь — это сплошные походы, палатки, костры и приключения. А знакомые ребята рассказывали всякое. В том числе и такое, что вожатые бывают разные, некоторые не пускают купаться, орут на ребят, могут и подзатыльник дать. А ещё Толик знал, что иногда в отряде находят тихого, слабого мальчишку и начинают его «доводить». Кличка у такого — Лагерный придурок, хотя он вовсе не глупый, а просто боится дать сдачи.

А если и с ним, с Толиком, случится такое?

Ну уж дудки! Если он один раз испугался, теперь, что ли, до старости жить зажмурившись?

Нет, лагерь — это всётаки хорошо. Толик чувствовал, что после разрыва с робингудами в жизни его — какойто перелом. И впереди ждёт его что-то новое. Что именно, пока не понять, но такое, чего ещё не было... Может быть, лагерь — начало этого нового?

Да, надо ехать. От жизни не спрячешься. Да и вообще всё одно к одному сложилось: мама сказала, что ей и Варе дозарезу нужно дней на десять в Среднекамск. По важным делам, насчёт Вариной работы. Варю после института зовут в лабораторию при Сельмаше, надо всё заранее прикинуть, посмотреть...

- У тебя же отпуск кончается, — напомнил Толик.
- Редактор разрешил дополнительный, я много работала сверхурочно.

Толик намекнул, что он тоже не прочь съездить в Среднекамск. Но оказалось, что, во первых, не найти столько денег на билеты, а во вторых — где жить? Маму Варя устроит в общежитии, а с Толиком на этот раз фокус не пройдёт: новая строгая комендантша не пустит его в комнату к девушкам...

—И вообще пора тебе привыкать к самостоятельности.

Толик храбро ответил:

—Я разве против?

Если бы он знал...

Если бы он знал, что в том же лагере «Рассвет» окажутся на третьей смене сразу три робингуда: сам Олег Наклонов, Семён Кудымов и Шурка Ревский.

Ну, Шурку можно не считать, от него никакого вреда. Но Олег и Семён... Особенно Олег!

Олега здесь знали все, он в «Рассвет» каждый год приезжал. Лагерьто папиного треста. И, конечно, сразу Олег оказался в совете дружины. А самая большая беда, что в одном отряде с Толиком, во втором. И Семён тоже (а Шурка в третьем, но всё равно ходил за Олегом по пятам).

В первый день, увидев Толика, Олег лишь усмехнулся. Не подошёл, ничего не сказал, будто незнакомы. Толик даже слегка успокоился: может, и дальше так будет?

Назавтра Олег и Семён тоже не обращали на Толика Нечаева никакого внимания (а Шурка, встретившись, неловко сказал «здравствуй»). Но к концу дня Толик заметил, что мальчишки от него отворачиваются. Те, кто утром ещё вели себя как друзья приятели. И прошелестело гнусное слово «дезертир»...

А на третий день случилось то, чего Толик боялся больше всего.

Отряд собрался в палате, чтобы выбрать редколлегию стенгазеты. Вожатый Геннадий Павлович (он был студент

пединститута и проходил сейчас практику) командирским голосом установил тишину:

— Погалдели — и молчок! Всё! Передохнули и задумались... А теперь — какие будут предложения?

И встал Олег.

— Я, — сказал он, — предложил бы Толю Нечаева. Он пишет стихи и вообще... Но я боюсь, что меня не поддержат. У Нечаева нет авторитета: про него известны не очень красивые дела.

— Он чё, в постель прудит? — спросил туповатый, похожий на Семёна Юрка Махнев. Гыкнул и примолк под взглядом Геннадия Павловича.

А Олег разъяснил:

— Нет, гораздо хуже. Раз уж начался разговор, я скажу.

Нечаев бросил товарищей и сбежал в трудный момент.

«Вот и всё», — подумал Толик. И не шевельнулся. Лишь сильнее вцепился в спинку кровати, на которой сидел.

Никто не зашумел: что за момент, кого Нечаев бросил?

Видимо, все уже про всё знали. Кроме Геннадия Павловича.

— Когда это случилось? — спросил он очень спокойно.

— Это не здесь, не в лагере. Мы с ребятами были в походе, и нас гроза настигла. Мы спрятались в старом самолёте на краю аэродрома, а Нечаев бежал.

Да, Олег умел говорить коротко и чётко.

Но в этой чёткости была неправда!

— Врёшь! Гроза была ещё далеко, и я всё время говорил, что надо идти домой! Самолёт из металла, в нём опасно!

— Так бы и сознался сразу, что струсил. А то «меня мамочка ждёт», — противно сказал Семён.

— Потому что она правда ждала!

— А на фронте ты бы тоже к маме убежал? — спросил Олег.

— На фронте не убежал бы, — ответил Толик ровным от ненависти голосом. Неужели ещё недавно Олег ему казался благородным и справедливым?

— Геннадий Павлович, а правда, что вы на фронте были? — спросила веснушчатая Лариска Скворцова.

Молодой, скуластый, темноволосый Геннадий Павлович сказал неохотно:

— Ну, был... Я недолго был, успел в Германии повоевать в сорок пятом... При чём тут это?

Вертлявый Жорка Линютин (он всё время липнул к Олегу) тонким голосом разъяснил:

— Как это «при чём»? Вы скажите: разве на фронте прощали, если человек убегает в трудный момент?

— Фронт — дело суровое, я вам такого не пожелаю... Я не понимаю, от какого трудного момента убежал Нечаев?

— Ну, гроза же была! Он сам говорит — опасность! — воскликнул Олег.

Геннадий Павлович прямо глянул на Олега:

— Ну а зачем она, такая опасность? Кстати, командиров, которые людей под опасность зря подставляют, на фронте по головке не гладили.

Олег порозовел. Проговорил сквозь зубы:

— Это не зря. Это было испытание.

— А матери Нечаева за что такое испытание? Сын обещал вернуться, на улице гроза, а его нет... Вы вообще когданибуть о матерях думаете?

Примолкли. А у Толика даже перехватило горло — от благодарности к водителю, от мысли о маме. Оттого, что сейчас Наклонов потерпел наконец поражение. И Толик добавил Олегу от себя:

— Ты не за то придираешься, что я ушёл с самолёта! Ты злишься, что я с тобой спорить начал! Что Шурке помог!

Эта догадка раньше была неясной и лишь сейчас превратилась в чёткую мысль. Толик бросил её в Олега как гранату.

— Врёшь ты! — крикнул раскрасневшийся Олег. — Больно ты мне нужен! И Шурке!

— А тогда чего тебе надо? Ну ушёл я с самолёта, что случилось? Вамто хуже не стало!

Олег воткнул в него злорадный взгляд:

— Намто хуже не стало. Хуже тебе. Ты — дезертир!

Толик сжался. И запах гнилого тряпья опять появился во рту.

— При чём тут дезертир, если ему домой надо было? — сказала веснушчатая Лариска, глядя на Толика с жалобным сочувствием. И остальные смотрели: кто с любопытством, кто вроде бы тоже с жалостью, кто с ехидством.

Толика поднял с кровати толчок злости. Злости на себя, на Олега, на тех, кто слушает и ухмыляется. И на тех, кто смотрит жалостно. Бывают минуты, когда ничего не страшно. Можно тогда и в любую драку кинуться, и сказать всё без утайки.

— Да, меня мама ждала, это правда! Но то, что я струсил, тоже правда! Я боялся грозы! Я знаю, что виноват! Но Наклонову то что теперь от меня надо?

Кажется, все растерялись. Олег мигал удивлённо и даже боязливо. Толик сказал звенящим голосом:

— Я ведь не перед тобой виноват, Наклонов, а перед собой. А на тебя мне теперь наплевать, раз ты меня так... тоже бросил! Я знаю, чего ты хочешь!

— Чего? — щуря злые глаза, спросил Олег.

— Чтобы я всё время ходил виноватый! А ты будешь командовать всеми!.. И над такими, как Шурка, издеваться... И надо мной, да?! Хочешь меня лагерным придурком сделать?

Никогда не знаешь, где скажешь не то слово. Только что слушали Толика в тишине, а тут вдруг засмеялись, задвигались. Олег поклоунски развёл руками: видите, мол, какой он?

И Толик не выдержал, выскочил из палаты, из дощатой гулкой дачки второго отряда...

Нет, его не «доводили» открыто. И в редколлегию выбрали (он там дважды раскрашивал заголовок стенгазеты), и даже назначили ассистентом к дружинному знамени. Но если, скажем, дежурит Толик по палате и требует, чтобы все заправили койки и подобрали мусор, никто не спорит, старательно кивают, а потом разбегаются — а постели мягые и на полу бумажки, сосновые шишки и грязь с подошв.

Или заходит Толик в палату перед мёртвым часом, а на кровати стоит Жорка Линютин и с дурацким видом декламирует:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
И от него я убегаю
Бегом, бегом, бегом, бегом...

Можно сказать, что стихи глупые, как сам Жорка. Но тогда получится, что принял Толик их на свой счёт! И все загогочат открыто (а пока хихикают в подушки). Можно сказать, что Жорка гад и все гады (пусть кидаются на Толика, он сейчас готов хоть с тысячей сцепиться). Но... все уже притихли и старательно сопят. А Наклонов заботливо говорит:

— Ложись и ты, Толя. Пионеры должны соблюдать режим.

Толик, сцепив зубы, шагает к кровати, но ложиться сразу нельзя. Он знает, что под простынёй могут быть замаскированы колючие шишки или сапожные щётки, а то и прикрытое целлофаном блюдо с водой. И тогда Наклонов скажет:

— Чьи это опять шуточки? Чтобы такого больше не было, а то вызову на совет дружины.

Или собирается тайная компания, чтобы пробраться в соседний лагерь у деревни Падерино и стащить у них мачтовый флаг, и Толик просит записать в «разведгруппу» и его. Все отводят глаза, а Семён Кудымов говорит, сопя и хмыкая:

— Тебя возьмём, а ты вдруг к маме сбежишь...

К маме он не сбежит. До города всего двадцать километров, и дорога известна, но мама в Среднекамске. Это — во первых. А во вторых... Получится, что он опять струсил?

К тому же не всё было плохо. По вечерам на площадке за лагерьем раскладывали костёр, и тогда ребята словно забывали про дневную вражду и обиды (по крайней мере, Толик забывал). Пели песни про «Варяга», про «дальнюю сторожку на краю пути», про пограничника (ту, что Витька Ярцев любил)... А по утрам Толику нравилось шагать рядом со знаменосцем на линейку. Нравилось, хотя горнист Нинка Сухотина (влюблённая в Наклонова — это все знали), топя позади, назло дудела свой марш Толику прямо в ухо...

И ходить в бор за черникой ему нравилось.

И не все ребята были плохие. Например, с Валеркой Рюхиным у Толика вполне приятельские сложились отношения. И с веснушчатой Лариской, которую тоже выбрали в редколлегию...

Но всё же компания Наклонова была в отряде главная. Да, пожалуй, и во всём лагере — маленьком, состоящем всего из трёх отрядов. И Валерка Рюхин с этой компанией не спорил, обрадовался, когда его записали в команду «охотников за флагом».

А Геннадия Павловича перевели из вожатых в начальники лагеря, потому что прежняя начальница по какойто причине уехала в город.

Именно к Геннадию Павловичу поволокла Толика новая вожатая Марина, когда случилась та история с малышом Вовкой. Скверная история, что и говорить...

Восьмилетний Вовка (из третьего отряда) притащил Толику железный прут и, невинно лупая глазами, сказал:

— Вот, ребята велели тебе отдать. Поскорее.

— Зачем?

— Чтобы ты громоотвод сделал. Потому что скоро гроза будет, а кровати железные. Ребята говорят, что...

Ну и не выдержал Толик. Вовка даже на ногах не устоял. И всё это на глазах у Марины. Та — в рёв и крик пуще Вовки...

Геннадий Павлович шевельнул острыми скулами.

— Я думал, ты честный парень, а ты... За что ты его? Он же кроха... Знаешь, что за это бывает?

Толик не опустил мокрых глаз.

— Знаю! Хоть что! Выгоняйте к чертям!.. Надоело... — И подумал: «Поживу один, пока мама не вернётся, не пропаду».

— Что тебе надоело? — уже спокойнее спросил Геннадий Павлович.

— Всё! Вы тут все заодно...

— Расскажи, что случилось.

— Не буду!

Рассказала Марина — то, что видела и слышала. Геннадий Павлович потемнел лицом. Велел позвать Олега.

— Думаешь, это Нечаев ударил Вовку? Это ты его с ног сбил... Подставил под удар, а сам в кусты.

Олег встал навытяжку. Даже побледнел (или показалось?).

— Геннадий Павлович, извините. Но мы же не хотели, честное пионерское. Это просто шутка была. А Нечаев тоже... Ничего не понял — и руками...

— Почему вы в отряде так относитесь к Нечаеву?

«Сейчас отобрётся, гад, — подумал Толик. — Начнёт: мы к нему нормально относимся, он сам...»

Наклонов встал ещё прямее.

— Я понимаю, что это не потоварищески, Геннадий Павло вич. Мы исправим. Надо Нечаева больше в общественные дела втягивать, чтобы он не оставался в стороне... Вот скоро концерт будет, мы его попросим свои стихи почитать. Хорошо, Толя?

Толик не смог даже разозлиться. Какого-то утомление на него навалилось, на всё стало наплевать. Пожалуй, одно чувство у него и осталось: жалость к маленькому Вовке. Может, попросить прощения? Не мог Толик, не умел, как Наклонов, извиняться с ясными глазами. Стыдно...

Он молча ушёл из комнаты начальника лагеря. И с того момента стал жить один.

Нет, он не прятался, маршировал со всеми на линейках, ходил на костры и в лес, но был теперь поодаль от остальных и первый ни с кем не заговаривал. А при удобном случае уходил на луга за лагерем.

Лежишь в траве, а облака над тобой плывут, плывут. Как паруса, «когда Земля ещё вся тайнами дышала»...

Может быть, надолго Толика и не хватило бы для такой жизни, но через дватри дня увидел он на мусорной куче за мастерской ровный кусок стекла размером с тетрадку. Аккуратный такой (наверно, вырезали для форточки, да ошиблись размером и выкинули). И вспомнил Толик про акваскоп Курганова. Даже рисунок его отыскал в глубоченных

карманах широких хлопчатобумажных брюк, которые мама купила Толику перед лагерем для защиты от комаровлюдоедов. Потом нашёл он за мастерской и подходящую доску. Попросил у завхоза ножовку, распилил доску на четыре части и сколотил квадратную трубу — кожух акваскопа.

Швы кожуха Толик замазал смолой, которую собрал на стволах сосен. Стекло тоже прилепил смолой и укрепил по краям гвоздиками. При первых испытаниях вода просачивалась между стеклом и досками. Тогда Толик сбегал на задворки местной МТС, нашёл там рваную автомобильную камеру, вырезал из неё кольцо и натянул тугую резину на стык прозрачного экрана и кожуха. И теперь — воды ни капли.

На маленьком, укрытом за старыми деревьями пруду всегда было безлюдно. Купаться и рыбачить ходили на озеро с чистым песчаным дном. А здесь что? Осока, тина да головастики. И никто не мешал Толику заниматься исследованием глубины.

Глубина была так себе, да и акваскопа хватало всего на полметра. И подводный мир, прямо скажем, был небогат. Но всё равно! Когда на стеклянном экране появлялись водоросли, когда срывались с них вверх цепочки пузырьков, проплывали мальки и личинки, Толик задерживал дыхание. Стекло акваскопа было как окошко в «Наутилусе». Или в подводной лодке «Пионер» из книжки «Тайна двух океанов»...

Может, со временем Толик окажется у настоящего иллюминатора в настоящей подводной лодке, которая пойдёт на изучение глубин. Потому что если где-то на планете Земля остались тайны, то это прежде всего на дне океанов... И «Пионер» с Толиком до этих тайн доберётся... Нет, лучше не «Пионер», а «Крузенштерн». Иван Фёдорович Крузенштерн ведь тоже изучал океанские глубины. Он опускал в море разные приборы с палубы корабля, потому что подводных лодок тогда ещё не строили... А теперь наверняка построят! Специальные научные, глубоководные. Длинные, серебристые, похожие на стремительных акул. Рыбы про такую лодку, наверно, и будут думать, что акула... Но ведь тогда они будут пугаться!

...А если сделать не лодку, а небольшой аппарат, замаскированный под обычную рыбу? Можно управлять им по радио (говорят, учёные уже придумали способ, чтобы управлять по радио разными машинами). В такой аппарат легко вставить кинокамеру... А можно, наверно, и так сделать, чтобы прибор передавал всё, что видит, сразу на корабль. Тоже по радиоволнам. Толик читал в «Пионерской правде», что уже изобретены радиоприёмники с экранами, на них можно будет видеть дикторов, которые читают последние известия. И даже кино смотреть! Не выходя из дома!.. Если придумали такое для сухопутной жизни, для подводной разведки тоже можно приспособить.

Толик уже ясно представлял себе чудесный подводный аппарат. Плывёт такая серебристая рыба, шевелит рулями плавниками и усиками антенн, поблёскивает глазами объективами. Еле слышно шуршат внутри шестерёнки моторов. Мигает лампочка радиосигналов... Рыба осторожно огибаёт обросшую подводным кустарником скалу, «обнюхивает» крупную раковину (нет ли жемчужины), заглядывает в иллюминатор давно потонувшего парусника... Потом радиолампочка вспыхивает ярче, рыба устремляется вверх, к зеленоватому пятну солнца, пробивает волнистую поверхность, взлетает над фальшбортом белого корабля с большими буквами названия — «Крузенштерн». И прыгает — мокрая, ловкая, послушная — в ладони Анатолию Нечаеву, своему изобретателю.

Толик поправляет антенны, меняет аккумуляторы, протирает объективы... И опять плывёт в глубине открыватель подводных миров — Тайный Океанский Лазутчик Имени Крузенштерна.

«Лазутчик» — слово не очень удачное. Лучше бы — «разведчик» или «исследователь». Но хочется, чтобы начиналось с «Л». Тогда первые буквы всех слов сливаются в имя — Т. О. Л. И. К.

Скажите, что хвастовство, да? Но ведь многие изобретения носят имена тех, кто их сделал. А здесь даже и не его имя, а Крузенштерна. А «ТОЛИК» получилось почти случайно...

Толик пристроил акваскоп поудобнее и радостно замер: прямо в середине экрана остановился крошечный, как пятак, карасик — уставился на Толика весёлым глазом... Но в этот миг запрыгали, захлюпали по воде от твёрдого топота доски. Вода из щелей длинными языками выплеснулась Толику на брюки.

Толик судорожно толкнул акваскоп на глубину — он забурлил, заглатывая воду. Рывком Толик отправил его под мостик (знал, что сейчас тяжёлый деревянный кожух нехотя всплывёт и притаится под досками). Потом оглянулся.

Можно было и не пугаться, опасности не было.

А был Шурка Ревский...

Волчья яма

Конечно, Шурка из наклоновской компании, даже вроде адъютанта у Олега, но всё равно он не такой, чтобы подлости делать. Когда он встречал Толика на лагерных дорожках, то бормотал «здравствуй» и смотрел виновато своими широко рассажеными жёлтозелёными (такими Шуркиными) глазами.

Он и сейчас так смотрел. И нетерпеливо переступал на досках коекак зашнурованными, надетыми на босу ногу ботинками. А на икрах и коленях — тонкие порезы. Видно, не зная тропинки, продирался сюда напрямик через осоку.

Быстро, но очень серьёзно Шурка произнёс:

- Толик, нам надо поговорить.
- Ну... говори, — небрежно сказал Толик. Не показывать же Шурке, что встревожился. Он усмехнулся с сочувствием: — Исцарапалсято как...
- Толик, это пустяки. Тебе гораздо больше достанется, если ты меня не станешь слушать.
- Я слушаю, — опять усмехнулся Толик, и холодным червячком шевельнулся в нём страх: Шурка зря не прибежал бы.
- Толик, тебе готовят ловушку.



- Кто? Наклонов, что ли? Подумаешь... Он мне и раньше каждый день их подстраивал. Он же у нас самый остроумный...
- Да нет! Они настоящую ловушку готовят! Он, и Семён, и Жорка, и ещё несколько человек.
 - И Валерка Рюхин? — тихо спросил Толик.
 - Да... — понимающе сказал Шурка.
 - Ну и пусть...
 - Они хотят заманить тебя в волчью яму.
 - Многого хотят. Я им не слепой телёнок... А что за яма?
- Она в лесу. Тайная. И такое устройство из волейбольных сеток. Ты идёшь, ступаешь туда, и — трах! — сразу как в большой авоське. И висешь в ней над ямой на перекладине.
 - Они что, на тебе испытывали? — догадался Толик.
- Да... Это очень неудобно так висеть, весь запутанный. А с тобой что хотят, то и сделают.
- Ничего не сделают. Я не дурак, чтобы на их приманки клевать.
 - Но если бы ты не знал про яму, ты бы клюнул.
 - Фиг!
- Нет, клюнул бы, — вздохнул Шурка. — Они подложат пись мо: «Приходи после отбоя в лес, к двойной берёзе у родника. Есть важный разговор. Докажи, что ты не трус, и приходи...»
 - Нашли дурака...
 - Я думаю, ты пошёл бы... — тихо сказал Шурка.
- Толик помолчал. С какой стати он должен врать Шурке, который с кровью на ногах примчался предостеречь его?
 - Шурка... Я пошёл бы.
 - Вот. А там западня.
 - Ну а потом что? Оставили бы висеть до утра?
- Нет! Потом самое главное. Олег скажет: «Раз ты не испугался и пришёл, мы принимаем тебя снова в „Красные робингуды“».
- Больно надо!
- Тебе не надо, а они хотят... Он Жорку и других тоже в отряд записал.

- А ято ему зачем снова?
- Ни за чем... Но он скажет, чтобы ты клятву дал.
- Какую?
- Таковую же... как я тогда. Что больше не изменишь отряду.
Толик сцепил зубы. «Больше не изменишь...»
- А если не дам клятву?
- А им этого и надо. Обрежут верёвку — и ты в яму.
- Ну и глупо, — искренне сказал Толик. — Если разобьюсь, они же отвечать будут.
- Не разобьёшься, там неглубоко. Но там... Они коровьи лепёшки навалили. Полнымполно...
Толик передёрнул плечами:
- Сволочи...
- Шурка прошептал, не поднимая головы:
- А если дашь... клятву... всё равно обрежут верёвку. Они так договорились.
Толик молчал с полминуты. Потом почти простонал:
- Шурка, ну скажи: что я им сделал?
- Они говорят, что ты любимчик Геннадия Павловича.
- Подлиза.
- Я?!
- Они так говорят... И это будет месть.
- А тебе?
- Шурка опять поднял глаза. Честные и печальные:
- Что?
- Тебе ведь тоже будет месть. — От жалости к Шурке и от благодарности у Толика сладко заныло в груди. — Шурик... Если Олег узнает, он же тебя... Ты же тогда клятву давал, тебя не простят.
Шурка сказал со спокойным вздохом:
- Конечно, он узнает... Я про клятву целую ночь думал. Нарушать нельзя, а с тобой... тоже так нельзя. Как же быть?
- Шурик... А если бы ты Олегу прямо сказал: «Не делайте ловушку, я всем расскажу!» Он бы не стал. И тебе не пришлось бы клятву ломать.
- Я думал. Ничего не вышло бы.

— Почему?

— Они этот план отменили бы, разумеется. И придумали бы другой, без меня. И тогда было бы совсем плохо. Пускай уж лучше мне попадёт.

«А ведь здорово попадёт», — со страхом за робингуда Ревского подумал Толик. И даже с нежностью к этому растяπισтому, но бесстрашному Шурке. И сказал, поддавшись этой нежности:

— Шурка, я до самой смерти не забуду, как ты изза меня на такую опасность...

Шурка ответил виновато и прямо:

— Толик, я, наверно, не изза тебя. Я изза Олега.

— Как... изза Олега? — остывая, пробормотал Толик.

— Потому что я не хочу, чтобы он так делал. Он всегда честный был, а сейчас не понимает... Он потом поймёт...

Уже досадуя на себя за расслабленность, за признание в благодарности, Толик сказал жёстко:

— Это ты не понимаешь. Он всегда был такой.

— Нет! Я лучше знаю!

— Я тоже знаю. Насмотрелся... Не командир, а... — И Толик выпалил словечко, какие раньше употреблял крайне редко.

У Шурки заалели уши (да и у самого Толика горели тоже).

Шурка произнёс, глядя Толику в глаза:

— Ты не смей так говорить.

— Это почему «не смей»?

— Потому что он мой друг, вот почему...

«Не друг, а рабовладелец», — едва не ответил Толик. Но спохватился: зачем? От этих слов Шурка Олега не разлюбит.

— Друг так друг, — устало сказал Толик. — Его счастье... И твоя беда... Ладно, Шурка, спасибо тебе. Но ты не бойся, Олег про наш разговор не узнает.

— Почему?

— Если они подбросят письмо, думаешь, я не пойду в лес?

Чтобы опять говорили, что трус?

— Но там же яма!

— А наплевать.

Конечно, Толик не собирался попадать в ловушку. Он придумает свою хитрость. Ответный боевой приём!

Разговор с Шуркой случился под вечер, после полдника, и до самого отбоя Толик размышлял: как же обмануть Олега и компанию? Как выйти победителем и отомстить?

Можно стащить на кухне похожий на саблю ножхлеборез и на клочки распластать сетку, когда окажешься в западне. Но... ведь ямыто всё равно тогда не избежать.

А может, подобраться осторожно, ухватить Олега и самого его толкнуть в западню? И потом по верёвке — жжик ножом! Пусть летит... в то, что приготовил. А самому — бежать! Но... выходит, опять бежать! К тому же ясно, что Олеговы союзники Толика всё равно догонят: одному от многих не уйти.

Или сделать проще? Подойти к Олегу сейчас: «Я про вашу подлость уже знаю! Почестномуто не можете, да? Только целой кучей и в темноте храбрые!»

Но ведь отопрутся. И, главное, догадаются про Шурку!

Олег всё продумал и рассчитал. Даже то, что не пойдёт Толик жаловаться вожатой и начальнику. Не захочет быть ябедой, да и рассказывать, как вляпался в зловонную яму, разве охота? Гордость дороже... Но одного Наклонов не учёл! Того, что он, Толик, узнал про яму заранее (спасибо Шурке!). И это преимущество надо использовать!

Но как? Просто голова трещит.

...А может, не будет письма?

После побудки, прыгая в широкие брюки, Толик ощутил в кармане бумагу. Достал сложенный треугольником лист. В письме — всё то, что говорил Шурка.

Ну что ж...

Он пойдёт! Пускай даже ничего не придумает, всё равно пойдёт! Там, на месте, видно будет, что делать. Может, достаточно окажется слов: «Эх вы, а ещё робингуды!» А может, одному придётся кинуться в отчаянный бой (при мысли об этом холодно, но не страшно)... А если окажется всётаки в ловушке — стиснет зубы и будет молчать. Ни на один вопрос не ответит, не застонет даже. Пускай хоть в болоте топят, хоть огнём жгут, хоть щипцами за язык тянут!

Вот тогда они затанцуют! «Что с тобой? Ну, скажи хоть полслова! Ребята, а может, он... может, у него разрыв сердца? Толик! Нечаев! Ну, ты чего? Мы же пошутили!»

Они ещё не знают, что такое стальное молчание...

Приняв гордое решение, Толик почувствовал себя сильнее. Скорей бы ночь!

Но день только начинался. И не простой день, а родительский. На свидание с ребятами спешили из города матери и отцы. А также братья, сёстры и прочие родственники, хотя они вовсе и не родители. Кого-то привёз служебный автобус, кто-то добрался на попутной машине. Несколько старших братьев прикатили на велосипедах. Папу и маму Наклоновых доставила голубая «эмка».

Толику ждать было некого, и он слонялся по лагерю в томительном ожидании вечера.

Потом пришла простая и удачная мысль: пока все (в том числе и наклоновская компания) лопают родительские гостинцы, можно пробраться к двойной берёзе, разведать: готова ли ловушка, какие к ней подступы? А может, и диверсию устроить! Сетку, если она там, стащить и утопить в пруду!

Толик, оглянувшись, нырнул в репейники, отодвинул в заборе доску, протиснулся... И оказался сразу в другом мире — без разноголосого гвалта, воспитательских окриков, распорядка и постоянного ожидания новых коварств от Наклонова и его дружков.

За лагерем начинался некошенный луг. Было позднее августовское утро, жаркое и тихое. Бабочки неслышно махали крыльями над розовым иванчаем. В этом солнечном безмолвии Толику стало хорошо и спокойно. Даже волчья яма казалась теперь чепухой. Дурацкая затея. Как Наклонов этого сам не понимает? И страха у Толика нет, лишь досада берёт, когда он думает о ловушке. Но думать о ней Толик устал. И на разведку идти не хотелось.

Толик свернул на тропинку, что вела к шоссе (оно проходило в километре от лагеря). Вот так идти бы да идти: по тропинкам

среди высокой, до плеча, травы; по обочине тракта, обсаженного вековыми берёзами (их, говорят, посадили ещё ссыльные декабристы); по шпалам узкоколейки через торфяник (шпалы тёплые, на них выступает смола и щекочуще липнет к босым ступням); по светлым березнякам, по высокому бору среди золотистых сосен и дремучих папоротников... Чтобы никто не встречался, не мешал, не расспрашивал...

Нет, не получится. Вот кто-то уже идёт навстречу. Женщина какая-то. Может, свернуть в траву? Не хочется прятаться, будто виноватому... А всё-таки кто это? Хорошо, если посторонняя. А если кто-то из лагеря, сразу придерётся: «Почему ушёл с территории?..» Нет, все работники лагеря сейчас на месте, родителей встречают. А это незнакомая тётенька. Но... нет, кажется, всё-таки знакомая. Удивительно знакомая!

Не может быть...

— Мамаа!

Она прижала Толика к ситцевой кофточке, пропахшей травой и дорожной пылью.

— Толька!.. Ты почему здесь, не в лагере?

— Так... — пробормотал он, скользя губами по ситцу. — Гуляю...

— Тебе попадёт.

— Не... Я же недалеко. А ты... значит, уже приехала?

— Я там быстро управилась. Варя осталась, а я назад...

Толик счастливо потёрся носом о мамин рукав.

Мама смеялась:

— Я тебя не узнала. Сперва решила, что мальчик из деревни. Смотрю... пастушок какой-то шагает...

Толик был босиком, мятые штаны подвёрнуты до щиколоток, рубашка поверх ремня. И волосы отросли (в лагере сначала ворчали: почему нестриженный приехал, потом отступились).

— Я тебя издалека тоже не узнал. А потом... както под сердцем ёкнуло... Ты на чём приехала?

— На попутной машине, в кузове. Очень быстро... А ты здесь как живёшь?

«Хорошо», — чуть не сказал Толик машинально. Однако помолчал секунду и вздохнул:

— Живу повсякому...

— Чтото случилось? — моментально встревожилась мама.

— Да не случилось. Просто... Ну, не бывает же так, чтобы всё хорошо в жизни... — Врать не хотелось, жаловаться — тоже.

— Это верно. Не бывает. — Мама странно опечалилась.

Тогда встревожился Толик:

— А дома всё в порядке?

— Дома всё...

— Эльза Георгиевна Султана не заморила, пока ты ездила?

— Что ты! Они живут душа в душу... Ну, что мы стоим?

Пойдём, покажешь, как тут у вас...

Они зашагали к лагерному забору. Медленно, потому что тропинка была узкая, трава цеплялась за мамино платье и за Толькины брюки. К тому же мама не торопилась, Толик тем более.

— Я пирожков тебе привезла. — Мама качнула авоськой с промасленным свёртком.

— Ага... спасибо.

— Вас хорошо кормят?

— Нормально... Только часто вермишель дают, лучше бы картошки побольше...

— А с ребятами как? Подружился?

— Маа, — сказал Толик. — Значит, дома всё в порядке?

— Что? Дома?.. Домато всё в порядке, Толик... — Мама взяла его за плечо, и он остановился, проколотый тревогой, как ледяной иглой. Сжался. Не знал ещё, что за беда, но приготовился принять её, как брошенную на плечи тяжесть. — Печальная весть, Толик. Арсений Викторович. Вчера похоронили.

Вот так... Вот какие волчьи ямы роет людям судьба. Это не ловушка Олега Наклонова. Ответную хитрость здесь не приду маешь. Ничем не поможешь, ничего не сделаешь. Ничего.

- А почему он умер? — спросил Толик насупленно. — Изза бронхита?
- Видимо, разрыв сердца. Ночью. Утром соседка зашла, а он лежит, словно спит.
- Но ведь... — начал Толик, думая сказать, что на сердце Курганов никогда не жаловался. И замолчал, разом осознав бесполезность слов. Ничего не изменишь, сколько ни говори. Бессмысленно всё. Пусто... Эта пустота начала расти — с такой стремительностью, что в ней уже недоставало воздуха, и пришлось хватануть его остатки широко раскрывшимся ртом.
- Толик... Ты не плачь, не надо.

Что? Он не думает плакать. Только непонятно... Так не бывает! Если закрыть глаза, без всякого усилия можно представить и лицо, и голос, и руки Курганова. Как он касается ладонью Толькиных волос. Вот будто прямо сейчас. А на самом деле этого нет. Совсем нет. Ничего... Пустота...

И Толик понял, что в эту пустоту уходит от него не один Курганов. Уходит всё, что было с ним, — паруса, острова... И люди, которые шли под парусами к этим островам. Рассыпается, исчезает синий мир дальних морей и суровых судеб...

Неужели насовсем?

- Мама, но книжкуто его напечатают? Он успел отвезти её?..
- Мама...
- Не знаю, напечатают ли... Её не приняли.
 - Откуда ты знаешь?
 - От Арсения Викторовича и знаю. Из Среднекамска мы ехали в одном вагоне... Будто нарочно судьба так устроила, чтобы он успел рассказать...
 - А что он рассказал?
 - Сначала ему повезло. Обычно рукописи лежат в издательстве подолгу: пока их прочитают, пока ответят автору... А тут у них чтото с планом случилось, нужно было срочно вставить в него какуюнибудь повесть. Вот один редактор и взялся прочитать за двое суток: вдруг, мол, откроется неизвестный талант...

- Ну а разве не талант?!
- Видишь ли... Арсению Викторовичу не сказали, что повесть плохо написана. Сказали, что не о том...
- О чём «не о том»?
- Сказали: «Вы всё вывёртываете наизнанку. Знаменитого Резанова превратили в отрицательного героя. Вместо того чтобы писать о героизме русских моряков, копаетесь в нетипичных случайностях, выискиваете мелкие недостатки и нацеливаете на них читателя...» Это, мол, очернительство действительности.

Что-то знакомое почудилось Толику в таких словах.

- Так про Зощенко говорили, да? Похоже...
Мама удивилась:
 - А ты откуда про это знаешь?
 - Сама же зимой объясняла.
- А, верно... Не знаю, похоже здесь или нет. Но вот так получилось...
- Но он же написал про то, что было! Всё правильно! И про подвиги у него есть!
- Толик, — осторожно сказала мама. — Не я же вернула Арсению Викторовичу рукопись.

Толик обмяк. Проговорил тихо:

- Значит, он расстроился. И от этого — сердце...
- Не знаю... В вагоне он не казался очень расстроенным. Скорее сердитый был. И решительный. Говорил, что в Среднекамском издательстве сидят невежды и он поедет в Ленинград. Отдаст рукопись какому-то профессору для отзыва. Только, говорит, надо перепечатать заново, а то единственный экземпляр, да и тот изпод копирки... Я дала ему новый номер телефона в нашем машбюро, у нас его сменили недавно... А через день соседка и позвонила по этому номеру, нашла его в блокноте на столе. Больше-то некому было звонить...

«Почему ты мне сразу не сообщила?» — хотел спросить Толик и опять почувствовал бесполезность слов.

Мама что-то говорила: может быть, как раз объясняла, почему не приехала к Толику сразу. Он не слышал, на уши давил

тяжкий гул «Студебекеров» — они вереницей шли за берёзами. Лишь тут сообразил Толик, что он и мама идут не к лагерю, а в другую сторону и оказались уже рядом с трактом.

— Куда это ты? Пойдём в лагерь, мама. Надо кладовщицу разыскать, а то уедет в город, выходной ведь...

— Зачем тебе кладовщица?

— Чемоданто мой на складе. В палате не разрешают держать.

— Постой... Ты что, собрался уезжать?

— А... как ещё? — Толик смотрел недоумённо. Неужели можно ему оставаться в лагере, когда так всё поломалось, перевернулось? Это было бы... ну, всё равно, словно он предал Арсения Викторовича.

Мама не стала уговаривать. Только сказала растерянно:

— А я тебе ножик привезла складной. Помнишь, ты просил купить? Думала, здесь пригодится...

Толик взял ножик на ладонь — тяжёлый, с никелированной рукояткой, похожий на рыбку.

— Спасибо. Он везде пригодится... Мама, тебе надо зайти к Геннадию Павловичу, заявление написать, что забираешь меня.

— И тебе не жаль уезжать?

Толику на минуту стало жаль. Война с Наклоновым и вообще всё плохое показалось сейчас неважным. А хорошее вспомнилось. Но он решительно помотал головой. И вдруг спохватился:

— Я только одно дело не успел... Но это недолго.

Мальша Вовку он разыскал сразу. Тот сидел на лавочке у дачи третьего отряда. Разговаривал с худым весёлым человеком. Они оба смеялись. Левой рукой мужчина обнимал Вовку за острые загорелые плечи. Правый рукав был засунут в карман пиджака.

С полминуты стоял Толик в трёх шагах. Наконец позвал:

— Вов... Можно тебя на минутку?

Мужчина отпустил Вовку. Тот нехотя и удивлённо подошёл.

— Ты на меня не злись, — тихо попросил Толик. — Ладно?

Вовка непонимающе молчал.

— Ну... за то, что я тогда... тебя... Я не нарочно, — выдавил Толик.

Вовка замигал и вдруг улыбнулся:

— Да ладно... Я уж забыл. Толик

проговорил торопливо:

— Я сейчас уеду. Может, мы никогда и не встретимся больше, а ты будешь про меня думать, что я... такой вот...

— Не, я не буду...

Толик вложил ему в ладонь ножик, мамин подарок. И побежал к калитке.

Часы должны идти!

Ещё с улицы, сквозь окно, Толик увидел, что в комнате Курганова кто-то есть. Двери оказались не заперты. Толик вошёл робко, но не постучавшись. Стучать в дверь дома, где не стало хозяина, было как-то... нет, не страшно, но неловко, будто шуметь во время похорон.

Комната была залита солнцем. Но свет казался неудобным, жёстким — наверно, потому, что не было на окнах привычных марлевых занавесок. Кровать стояла голая, даже без матраца. Голыми были и книжные полки, со стены исчезла карта. Лишь портрет Крузенштерна, забытый всеми, висел над камином.

У камина возились с большим чемоданом женщина и мужчина. Женщина была крупная, с большой светлой причёской и пухлыми локтями, которые нетерпеливо двигались. Мужчина — невысокий, лысоватый, в потёртом кителе железнодорожника с новыми серебряными погонами.

— Здравствуйте, — сказал Толик тихонько.

Они, кажется, не расслышали... Но нет, женщина оглянулась, а мужчина поднял голову. Они посмотрели на Толика без удивления, и женщина ответила:

— Здравствуй.

А мужчина кивнул.

Сейчас спросят: «Ты зачем пришёл, мальчик?»

А зачем он пришёл? Толик и себето не мог объяснить, почему, едва приехав из лагеря, поспешил сюда. Даже маме ничего не сказал, сразу заторопился. Кого хотел увидеть, что узнать? Ведь Арсения Викторовича всё равно уже нет...

— Тебе что, мальчик? — спросила женщина. У неё было круглое лицо — усталое и помятое. Это и понятно: горе никому красоты не прибавляет. В глазах её угадывалось еле уловимое сходство с Кургановым, и Толик понял, что это его дочь, Елена Арсеньевна.

А мужчина, видимо, её муж.

Он тоже вопросительно смотрел на Толика.

А что мог Толик объяснить? Колючие крошки уже заскребли горло. И, глядя на Крузенштерна, он шёпотом произнёс:

— Можно, я возьму портрет? Вам он, наверно, не нужен... Дочь Курганова и её муж не ответили. Наверно, не поняли. И

Толик, насупившись, объяснил:

— Это я подарил Арсению Викторовичу на день рождения...

Елена Арсеньевна встряхнулась:

— Ох... ты проходи, мальчик... Ты что, был знаком с Арсением Викторовичем?

Толик кивнул. Сделал шаг от порога, не спуская глаз с портрета. Муж Елены Арсеньевны торопливо поднялся на цыпочки, отколупнул от стены кнопки, подал портрет Толику. У мужчины были светлые, как голубоватое стекло, глаза под выгоревшими бровями. Он смотрел с непонятной виноватостью.

— Вот... Давай свернём в трубку. А потом в газету. Лена, есть у нас газеты?

— Я все бумаги сожгла.

— Ничего, я так донесу, — прошептал Толик.

Ему вдруг захотелось, чтобы Елена Арсеньевна или этот мужчина спросили: откуда Толик знает Арсения Викторовича, часто ли они встречались, о чём говорили?.. Может, он даже не

сдержался бы и заплакал (и растаяли бы в горле сухие комки). Но Елена Арсеньевна опять повернулась к чемодану, а муж подошёл к ней. Чтото сказал на ухо. Она двинула плечом...

Ну, вот и всё. Надо было уходить. И Толик, прощаясь, ещё раз обвёл глазами комнату. Зря. Не надо было смотреть на эту сиротскую пустоту, высвеченную беспощадным солнцем. Надо было запомнить комнату прежней — где всё на месте и нет жутковатой, непривычной приглушённости.

Да, вот в чём дело! Запустение — не потому, что исчезли многие вещи. А потому, что молчит хронометр.

Глаза Толика метнулись по углам и полкам, по подоконникам. И у левого окошка, на табурете, он увидел знакомый ящик с латунными ручками.

Толик шагнул к хронометру. Секундная стрелка не двигалась — как в то февральское утро, когда он опоздал...

Толик опустил перед табуретом на колени. Открыл ящик. Глотком загнал поглубже слёзы и сказал тихо, но решительно:

— Так нельзя.

— Что? — откликнулся муж Елены Арсеньевны.

— Это морской хронометр. Простые часы останавливают, если человек умер, а морские нельзя никогда.

— Но мы и не останавливали, — мягко возразил железнодорожник. — Они, видимо, сами...

Да, конечно. На указателе завода стрелка показывала сорок восемь часов. Как в тот раз... Арсения Викторовича не было уже больше суток, а хронометр всё стучал, стучал. Пока полностью не раскрылась пружина.

— До часов ли тут было... — сказала Елена Арсеньевна.

Муж её негромко объяснил:

— Я хотел завести, да не знаю как... Вертел, скважину искал, а она закрыта... Крутил, щёлкал — стоят.

— Зря щёлкали, — сумрачно ответил Толик. Он вспомнил разговор с Арсением Викторовичем. Перед лагерем. Когда всё таки признался, что сам однажды пустил хронометр.

Арсений Викторович не рассердился. Только покачал головой и с полминуты молча смотрел на Толика. Затем сказал:

— Я же говорил: ты везучий человек. Рука у тебя лёгкая... Ведь цепьто могла слететь.

Толик не понял.

— Когда пружина ослаблена полностью, а на валике ещё остался виток цепи, он может соскочить от толчка, потому что не натянут. Начинаешь заводить — и всё запутывается. Тогда уж без генеральной починки не обойтись.

— Значит, я всётаки аккуратно нёс хронометр, хотя и быстро, — улыбнулся Толик. — И я же потом вынимал механизмто. Видел, что цепочка на месте...

А сейчас?

Толик решительно отвинтил стекло. Уже без страха, не то что в прошлый раз, взял механизм в левую ладонь... Слава Богу, серебристая цепочка была на валике. Лишь чуть съехала, оставив на латуни тёмный пунктирный след. Толик сжал зубы и точным нажимом ногтя подвинул её на место. Затем повернул ключ на один оборот — пока лишь для того, чтобы цепь натянулась...

Толкнул балансир.

«Диньтак, диньтак» — проснулся механизм, и Толик ощутил короткий толчок радости. словно он возвратил капельку жизни не только хронометру, но и его хозяину.

«Диньтак, диньтак...»

Когда секундная стрелка встала на числе 60, он придержал балансир. Спросил, не оглядываясь:

— Сейчас сколько времени?

— Скоро два...

Это хорошо, это удачно... Хотя странно: неужели только середина дня? Казалось, несколько суток прошло, как уехали из лагеря... Они с мамой шли по тракту, голосовали попутным грузовикам. Наконец один остановился. В кузове были пустые ящики, они всё время наезжали на Толика и маму, потому что сильно трясло. Он отпихивал ящики ногами... Ехали, казалось, долгодолго... Потом очень долго шли по городу к дому... Султан

запрыгал от радости вокруг Толика, а он потрепал его по ушам и сказал: «Да подожди ты, глупый!...»

- Скоро два, — ответил Толику муж Елены Арсеньевны.
- Мне надо точно, — резковато сказал Толик.
- Без семи минут.

Толик подошёл к репродуктору, щёлкнул по краю.

И пробилась в заглохшую комнату неожиданная музыка. Беззаботная такая, из фильма «Первая перчатка». Елена Арсеньевна подняла от чемодана голову.

- Это ненадолго, — сказал Толик. — Это надо.

Она пожала плечами. Муж её в углу у двери укладывал в обширную авоську свёртки. Он глянул на Толика быстро и, кажется, с удивлением. Но тут же опять занялся авоськой.

Толик ждал. Минуты еле ползли.

Музыка была сама по себе, а молчание — само по себе. Это молчание давило. Чтобы разбить его, Толик спросил:

- А рукопись Арсения Викторовича теперь у вас?

Дочь Курганова попрежнему колдовала над чемоданом. Пухлые локти её на миг остановились — и опять... Но через несколько секунд Елена Арсеньевна спросила нехотя:

- Какая рукопись?
- Повесть, которую он написал. «Острова в океане». Она не потерялась? — Толик спросил это уже с тревогой.

Муж Елены Арсеньевны распрямылся и смотрел на неё из своего угла. Она ответила, не разгибаясь:

- Впервые слышу.
- Арсений Викторович её столько лет писал!

Елена Арсеньевна сказала со сдержанной досадой — видимо, прежде всего не чужому мальчишке, а мужу:

- Отец всю жизнь что-то писал. И ничего, кроме неприятностей, от этого не было... Здесь у него всякие бумаги хранились, но старые, в беспорядке. Обрывки разные и письма. Я сожгла. А рукопись... не знаю.

«Надо же её найти!» — хотел сказать Толик. Но не посмел. Ощутил натянутыми нервами недовольство, раздражение

женщины. Какоето внутреннее сопротивление разговору. Почему? Не успел задуматься, из репродуктора донеслось:

— Товарищи, проверьте часы...

На этот раз Толику не представились солдаты в шеренгах и шагающий офицер. Сухое «тиктак» было просто щелчками в пустоте. Но пустил хронометр Толик точно. Крутнул при третьем сигнале ящик, увидел, как шевельнулась стрелка, и распрямился.

И заметил, что муж Елены Арсеньевны стоит рядом. Наклонившись, смотрит на ожившие часы. Он был невысокий, и се ребряный погон оказался прямо у лица Толика. И на погоне, по выше капитанских звёздочек, Толик разглядел плоский латунный паровозик. Аккуратный такой, каждое колёсико видно.

...А в хронометре колёсики — диньтак, диньтак...

Глядя на паровозик, Толик сказал:

- Когда повезёте хронометр, не снимайте со стопора, качки в поезде не бывает... А заводить надо каждое утро в восемь часов.
- Не получится, наверно, каждое утро, — сказал муж Елены Арсеньевны. — Я на транспорте работаю, всё время в поездках. Лена... Она тоже занятой человек.
- Но иначе нельзя! — Толик требовательно вскинул глаза. — Ход собьётся. А если хронометр совсем остановится, может упасть цепь. Тогда совсем...

Железнодорожник смотрел пристально и непонятно. Толик отвёл глаза. Стал глядеть на циферблат... «Диньтак, диньтак»

- стрелка обежала полкруга.

Толик прошептал:

- Здесь пружина ослаблена. Я мог бы подтянуть, я знаю как... Но тогда надо снова ход регулировать...

Муж Елены Сергеевны спросил негромко:

- Тебя зовутто как?
- Толик... Анатолий.

- Вы что, друзья были с Арсением Викторовичем?

«Да!» — хотел резко и гордо ответить Толик. Но сумел лишь кивнуть. Елееле... И бывает же так не вовремя — упала на стекло фугляра капля, растеклась прозрачной плёнкой.

- Вот ты и заводи часы каждое утро, — услышал он. Вскинул лицо — так, что брызги с ресниц.
- Невысокий человек в потёртом кителе сказал отчётливо и громко, словно уже не одному Толику:
- У нас дорога дальняя. Мы хронометр целым не довезём. А ты всё про него знаешь: как заводить, как беречь. Вот и береги. Это следствие, Толик.

До той минуты Толик не думал, что хронометр может стать его. Просто в голову не приходило. Но сейчас он не удивился. Решение было самым правильным. Справедливым. Наверно, и сам Арсений Викторович решил бы так же.

...Портрет Крузенштерна Толик свернул вчетверо и засунул под рубашку. А хронометр до самого дома нёс, держа футляр перед грудью. Нёс, как полную кастрюлю, когда нельзя выплеснуть ни капли. Еле слышное «диньтак» доносилось из за толстого стекла.

Небольшой, похожий на Вовку из третьего отряда мальчик доверчиво подошёл сбоку. Глянул сквозь стекло. Удивился:

- Ой... Я думал, там кто-то живой, как в аквариуме...
- Он и так живой, — строго сказал Толик.

Мальчик не обидел хронометр недоверием. Понимающе кивнул и несколько шагов шёл рядом, поглядывая на удивительные часы. Потом убежал, стуча босыми пятками по тротуару.

Прощание

Толик не пошёл на кладбище. Не потому, что оно было далеко за городом, и не потому, что боялся не найти могилу Курганова. Мог бы с мамой сходить. Мог бы сам расспросить и отыскать. Но душа его сопротивлялась мысли о смерти. Он помнил Арсения Викторовича живым и не хотел представлять, что теперь он, неподвижный, закрытый глухой деревянной крышкой, лежит под глиняной толщей.

Всё равно то, что зарыли в землю, было уже не Арсением Викторовичем. А настоящий Курганов снова в памяти Толика шелестел исчёрканными листами и читал свою повесть хриловатым от смущения голосом. И трещали в камине дрова. И стучал хронометр...

Он и сейчас стучал размеренно и неутомимо, словно доказывая, что смерти нет, пока его механизм работает, как сердце.

Но всётаки прогнать мысль, что Арсений Викторович умер, было невозможно. И порой подкатывала такая печаль, словно Толик остался один на свете и ничего хорошего никогда уже не увидит. Он пугался этой печали, встряхивался. Что это такое, в конце концов! Не всё же потеряно в жизни. Вот он, Толик Нечаев, живойздоровый, солнце светит, мама рядом, Назарьян и Юрка Сотин забегают каждый день, зовут купаться. А главное — то, что есть мечта, радость для будущей жизни: Тайный Океанский Лазутчик Имени Крузенштерна.

Стоило вспомнить о приборе по имени «ТОЛИК», и тоска отступала. Но не совсем. Такое настроение, когда особой горечи нет, но не хочется ни смеяться, ни играть, бывало у Толика подолгу. И однажды вечером взяла мама Толика за плечи и усадила с собой рядом на кровати. Тихо спросила:

- Всё печалишься об Арсении Викторовиче?
- Нет... — сказал Толик.
- Но я же вижу.
- Нет, — шёпотом повторил Толик. — Я не только о нём. Иногда я про него и не думаю, а всё равно както... Ну, я не знаю.

Мама погладила его по голове и придвинула к себе поближе.

Словно защитить хотела от неведомого.

- Маа... я вот ещё про что часто думаю. Неужели его повесть совсем никогда не напечатают?

Мама вздохнула:

- Никто даже не знает, где рукопись...
- А может, он её спрятал?
- Где? И зачем?..

«...А если опять сжёт? — подумал Толик. — Нет! Он же поклялся...»

— А если она в издательстве осталась? У того редактора?

— Едва ли. Если рукопись не приняли, какой смысл держать её в редакции? Помоему, он вёз её с собой. Недаром же просил перепечатать.

— Значит, никакой надежды...

— Может быть, и есть надежда. Но слабая... Чтобы добиваться книжки, надо рукопись искать, потом хлопотать, ходить по редакторам... Мыто что здесь можем сделать? У нас никаких прав. Этим должны заниматься родственники. Дочь его...

Толик вспомнил Елену Арсеньевну и понял, что она искать и хлопотать не станет.

— Она будто боится чего-то...

— Это немудрено... У отца было столько неприятностей. Ты ведь, наверно, догадываешься.

Толик даже не догадывался, а протонапросто знал. Коечто сам сообразил, коечто проскользнуло в словах Курганова, да и в маминых разговорах ещё раньше были намёки. С Кургановым случилось то же, что, например, с мужем Эльзы Георгиевны или с отцом Валерки Шумилова — Толькиного соседа по прежней квартире. Ктото шепнул комуто, что человек ведёт неправильные разговоры, а может, и просто вредитель. Перед войной время было суровое, всюду чудились вредители. И оказался Курганов на Севере вовсе не по своей воле и ни в какой не в экспедиции. Ему повезло — не то что отцу Валерки или мужу Эльзы Георгиевны: наверно, в конце концов разобрались, что никакой Курганов не враг народа. Выпустили. Но следто за человеком всё равно тянется, слухи всякие... Понятно, что дочь боялась: не случилось бы чегонибудь опять.

— Ну а сейчаство чего бояться? — хмуро спросил Толик.

— Мало ли... Я думаю, она могла рукопись протонапросто сжечь. Вместе с другими бумагами Арсения Викторовича.

— Зачем?

— Может быть, подумала: вдруг там чтонибудь не то написано? Ктонибудь прочитает, будут и у неё, у дочери Курганова, неприятности!

- У него всё хорошо написано, — упрямо сказал Толик.
- Это кому как покажется... Видишь, и редактор ему говорил: «Не на том внимание заостряете...»
- Потому что дурак он, редактор, — сумрачно подвёл итог Толик. И приготовился услышать, что о взрослых незнакомых людях судить он не имеет права. Но мама только заметила:
- Не обязательно дурак. Скорее просто хочет жить спокойно... Как и дочка Арсения Викторовича.
- Но она же родная дочь!.. Отец столько над повестью работал!

— Знаешь, Толик, — сказала мама задумчиво, — я подозреваю, что дочь и не догадывалась о работе Арсения Викторовича. Или не принимала её всерьёз. Скорее всего, посмотрела мельком рукопись и решила: ненужная писанина какая-то, ну её в печку от греха подальше.

«Наверно, так и было», — понял Толик. И вырвалось у него горько и для себя самого неожиданно:

- Значит, зря жил человек.
- Ну что ты, — осторожно сказала мама и опять придвинула Толика поближе. — Ну, почему же зря? Он много работал. Столько хорошего сделал в жизни...
- А главное дело всё равно пропало.
- Нет... — Мама подумала и заговорила тихо, но решительно:
- Не пропало и главное. Ты же прочитал его повесть. Это тебе в жизни пригодится. А значит, и другим людям, если будет им от твоей жизни польза. Конечно, жаль, что книгу Арсения Викторовича не напечатали, но след она всё же оставила... А может быть, ты вырастешь и сам напишешь повесть про эту экспедицию, а? И посвятишь её памяти Арсения Викторовича Курганова! А в предисловии расскажешь, что это был за человек. Вот и не забудется его имя.

Толику не хотелось спорить. Но он знал, что писателем не станет. Потому что он уже выбрал дело на всю жизнь... Но вообще-то мама правильно говорит. Если бы не Курганов, не додумался бы Толик до прибора — разведчика подводных тайн.

Но он додумался и обязательно построит его. Тайный Океанский Лазутчик Имени... Имени Курганова, вот что! Крузенштерн и так знаменитый. А имя Курганова для морского аппарата — в самый раз. Когда конструктор Нечаева будут спрашивать, откуда оно, это имя, он расскажет про Арсения Викторовича. И тогда в самом деле получится, что всё было не зря! Разве не так?

«Диньтак, диньтак, диньтак» — размеренно говорил хронометр.

И всё же Толика точила совесть, что он никак не попрощался с Арсением Викторовичем. Он попрежнему не хотел ехать на кладбище, но чувствовал: надо что-то сделать, чтобы легче стало на душе. И чтобы Арсений Викторович, когда Толик будет представлять его живым, на него не обижался.

С этой мыслью Толик проснулся рано утром двадцатого августа. В шестом часу. Он пытался вспомнить недавний сон: будто повесть Курганова напечатали и тот принёс книжку в подарок Толику — весёлый, молодой (каким Толик наяву и не видел его) и в старинном зелёном мундире. Быстро пожал Толькину руку, растрепал, смеясь, его волосы. «Маме привет передавай. А мне пора...» И как-то получилось, что они уже не в комнате, а на крыльце. Подошёл грузовик с открытым задним бортом, Курганов легко прыгнул в кузов, и оказалось, что это не кузов, а корма парусного корабля, который отодвигается, уходит в голубоватосерый туман.

— Арсений Викторович, куда вы?! — закричал Толик. — Мама скоро придёт, подождите!

— Мне пора!

— Куда вы?!

— На остров! Меня ждут все наши! Они сейчас все там: и Крузенштерн, и Головачёв, и Резанов! И прадедушка Иван Курганов! Мы теперь больше не ссоримся...

— А вы ещё приплывёте?

Но туман укрыл корабль и Курганова, а из голубых клубов на траву прыгнул Шурка Ревский.

— Тюбетейку мою не видел? Опять улетела, такая неприятность...

...Но всё это вспоминалось Толику слабее и слабее, сон уплывал, оставляя ощущение ласковой грусти.

Мама спала, отвернувшись к стене и укутавшись, видны были только завитки волос на затылке. На них искрился ранний утренний лучик. Толик встал, прихватил со стула одежду и на цыпочках вышел из комнаты. На лестнице натянул штаны и майку и босиком выскочил на крыльцо.

Солнце только что встало и глядело изза ближнего забора, будто весёлый глаз в растопыренных золотых ресницах. Утренняя зябкость ухватила Толика в колючие, с мурашками, ладони. Но он не стал ёжиться от холода и щуриться на весёлое солнце тоже не стал. Настроение у Толика было сразу и задумчивое, и решительное. Он вышел со двора на пустую улицу, прошагал до перекрёстка и там на мокрой искрящейся лужайке нарвал мелких городских ромашек и пунцового клевера. Перевязал маленький букет травяным жгутиком. Сунул цветы под майку и побежал. Через двадцать минут он был на Ямской.

Прохожих не встречалось, некого было стесняться. И Толик в этой утренней солнечной пустоте подошёл к дому номер четырнадцать, к тому краю, где смотрели на улицу два окна бывшей комнаты Курганова. В окнах отражалась улица, и что там сейчас за стёклами, не было видно. Да Толик и не стал заглядывать. Он быстро осмотрелся ещё раз и встал коленями в траву у кирпичного фундамента. Трава уже высохла от росы. Из неё прыгнул кузнечик и затрещал где-то в стороне. Толик пошарил по фундаменту глазами и почти сразу нашёл подходящее место — выемку от выпавшего кирпича.

Тогда Толик медленно вынул букетик, расправил лепестки ромашек и положил цветы в углубление.

Вот так он и попрощался с Арсением Викторовичем. Но скорее даже не с ним, а с частью собственной жизни. С теми вечерами, когда под стук хронометра Курганов читал свою

рукопись. Таких вечеров в жизни Толика выпало всего два, но теперь казалось, что было их гораздо больше. Он прощался с синей картой на стене, с рисунком, где Нептун встречается на экваторе русских моряков; с разговорами о дальних островах.

Толик встал. Погладил кирпичную кладку. Тряхнул головой и пошёл не оглядываясь...

— Где это ты гуляешь ни свет ни заря? — встретила его мама.

В первую секунду решил Толик соврать, что бегал на двор по самому обычному делу. Но тут же понял: мама ждёт его давно. Она уже оделась, причесалась, заправила постели — свою и его. Он засопел, запереступал пыльными ногами, затеребил на животе майку. И вдруг сказал, глядя в пол:

— Маа... я прощался.

Странно, что мама почти не удивилась. Спросила негромко:

— С кем, Толик?

Присела на табурет у двери, взяла Толика за локти. Ждала.

— Ну... — сказал он. — Я на Ямскую ходил, где Арсений Викторович... — И тут у него вырвалось то, что чувствовал: — Маа... Както странно всё кажется. Будто скоро уеду насовсем отсюда...

Мама вздрогнула. Потом пальцем приподняла его подбородок.

— Ты уже знаешь?

— Что? — удивился и немного испугался Толик.

— Что мы уедем.

— Мы? Я... не знаю! Куда?

— Уедем, — сказала мама. Притянула Толика, прижалась к его плечу тёплой щекой. — Там нам всем будет лучше... Варя наша выходит замуж, мы поедем к ней...

Толик с полминуты молчал, переваривая новости. Он чувствовал, что шумно удивляться не стоит, не к месту это. И сказал наконец тихонько:

— Ай да Варюха. Послушалась меня, значит...

Вот что он узнал. Варя давно дружила со студентом Юрой, они на одном курсе. И наконец решили пожениться. Когда Толик был в лагере, мама не просто так ездила в Среднекамск, а чтобы с этим Юрой познакомиться и с его отцом. И очень Юра ей понравился...

- Ну, Варюха наша плохого не выберет, — вставил Толик.
- Да... Варя с Юрой после института останутся работать в Среднекамске, это уже решено, а жить будут в Юрином доме. То есть в доме его родителей. У них свой, большой. И нас туда очень зовут.

Толик беспокойно шевельнулся. Он был не малый ребёнок и за свои годы успел наслушаться житейских историй. И подумал, что Юра, наверно, и в самом деле неплохой, но как его родители уживутся с мамой и с ним, с Толиком? Спервато зовут, а потом как не сойдутся характерами... Всякое ведь бывает, скажут: въехали тут не на свою жилплощадь...

Мама опять взяла Толика за подбородок, улыбнулась:

- У тебя, как всегда, мысли на носу напечатаны. Ты, наверно, думаешь, что если у человека свой дом, то он обязательно какойнибудь толстый хозяин, с коровой и огородом... А у них дом ещё от бабушки, он был известным врачом. И Юрин папа врач. Хирург Гаймуратов, о нём даже в газетах писали.
- А они что, нерусские?
- Нне знаю... Почему ты решил?
- Ну, фамилия...
- Может быть, кто-то из дедушекбабушек был татарин или башкир. По Юре и по отцу незаметно, отец на Чехова похож... А, собственно, какая разница?
- Да никакой, — вздохнул Толик. — Просто вспомнил. — Он вспомнил Рафика Габдурахманова, синеглазого робингуда, весёлого художника. И грусть по отряду опять, несмотря ни на что, царапнула его. Но он прогнал эту грусть, только подумал: хорошо, если бы Юра оказался похожим на Рафика...
- Что ты вспомнил? — спросила мама.
- Да так... А мать у Юры кто?

— Мамы у него нет...

«Вот оно что», — подумал Толик и высказал ещё одно опасение:

— А если они это... начнут из тебя домохозяйку делать? Или у Варьки ребёнок родится, а тебя нянчиться заставят...

Мама засмеялась:

— Разве ты меня дашь в обиду?.. И домохозяйкой я не сделаюсь, я уже узнавала о работе, там машинистки везде нужны.

— Всё без меня решили, — ворчливо сказал Толик.

Мама ответила серьёзно:

— Ничего пока не решили. Давай думать вместе... А

Среднекамск — город хороший, в пять раз больше нашего.

— Подумаешь...

— Река громадная, пароходы...

— Да?!

— А ты не знал? Ты же ездил...

— Я забыл, — смутился Толик. — Я зимой ездил, подо льдом реку не видно...

— А у Андрея Владиславовича, у Юриного папы, такая библиотека! Весь дом в книгах. И Жюль Верн есть...

Толик вздохнул:

— Ладно. Считается, что я тоже решил ехать. Недаром я чувствовал... Ой!

— Что?

— А Султан?

Султан, услышав про себя, выбрался изпод стола, замахал хвостом. Толик обнял пса за шею.

— Как мы его оставим?

— Да никак, — сказала мама. — Куда же мы без него...

Чёрная речка

Часть вещей решили оставить пока на хранение Эльзе Георгиевне, коечто из мебели раздали соседям с первого этажа.

За громоздким имуществом потом приедут Варя и Юра. Мама же и Толик должны спешить: скоро сентябрь, Толика надо в школу записать...

— Поедем налегке, — сказала мама.

Сказатьто легко.

Ужас как обрастает вещами человек!

Прошлой осенью, когда переезжали в эту комнату, Толик устроил генеральную чистку. А теперь опять вон сколько добра накопилось. И для этого добра мама дала всегонавсего маленький чемодан, с которым он ездил в лагерь.

— Как я сюда всё запихаю?

— Всё и не надо, возьми только самое необходимое. Всякого барахла в Среднекамске насобираешь снова.

Но он и берет лишь самое необходимое.

Кольцевые подшипники для самоката отдал Назарьяну, незаконченную подводную лодку из соснового полена — Юрке Сотину. Раздал и многое другое: мотки цветной проволоки, всякие инструменты и наковальню из куска рельса, старую велосипедную динамку, руль от «эмки», самодельный проекционный фонарь из ящика от посылки... Даже снарядную гильзу, которую зимой у Васьки Шумова выменял на трубку от противогаса, отдал прежнему хозяину просто так.

Но заслуженную фляжку не оставишь! И конструктор, который мама купила два года назад на толкучке (старый, ещё довоенный, без многих деталей, но всё равно замечательный)! И фонарик, и коробку с диафильмами, и магнит от разобранного репродуктора... А ещё надо краски положить и альбом для рисования, в нём больше половины листов чистые... А что такое в него засунуто? Ой, это же сложенный вчетверо портрет Крузенштерна!

Толик присел на пол у чемодана, развернул портрет на коленях, задумался. Но долго сидеть было некогда. Он опять сложил портрет и заметил, что из альбома торчит угол фотоснимка.

Это была карточка, которую Шурка дал Толику через день после концерта. Накануне похода.

Вот они стоят, «красные робингуды», в то время, когда всё ещё было хорошо.

Кажется, это было давнымдавно... И лучше бы совсем не было! Толик взялся за края снимка, чтобы разодрать его пополам, и ещё пополам, и потом на мелкие кусочки. На клочки всё, что связано с робингудами!

Но пальцы остановились, не порвали карточку. Потому что понял Толик: он хочет забыть не одних робингудов, но и свою трусость в самолёте. А это была бы уже новая трусость. Нельзя забывать то, в чём виноват, нечестно это. Забудешь, а потом гденибудь опять сдашься страху...

А ещё стало жаль того солнечного дня, когда читал Толик с расшатанной дощатой сцены свои стихи, а потом стоял с ребятами вот так, в обнимку, и радовался своей хорошей жизни и друзьям. Гдето в самой глубине души проснулась догадка, что через годы он будет смотреть на этот снимок уже иначе: без большой обиды и, может быть, с грустной улыбкой...

Да и сейчас, по правде говоря, особой обиды не было. Если подумать всерьёз, разве робингуды враги? Что они плохого Толику сделали? Мишка Гельман, например? Или Рафик, или Люська? А Витя? Ну принёс тогда порванный герб да сломанный меч, так ведь не сам же хотел этого, поручили.

А Шурка, тот вообще... Вот о ком всегда будет жалеть Толик. Грустно, что не получилась у них дружба. Но всё равно хорошо, что Шурка есть на свете...

Но Олегу и Семёну Толик никогда ничего не простит... Хотя наплевать на Семёна, он тюфяк и делает всё, что велит Наклонов. А Олег — тот и в самом деле враг. Лагерные дни и «волчью яму» Толик не забудет.

Одно плохо: уедет Толик и не скажет Олегу Наклонову последнего решительного слова.

Мама попросила:

— Толик, принеси воды. Хоть полведра, надо чайник вскипятить.

Полведра — это же цыплячья доза. Через час опять бежать за два квартала на колонку... Толик налил ведро до верха и поволок перед собой, вцепившись в тонкую дужку двумя руками.

...Ух и помотали ему руки эти вёдра, пока он жил здесь, на Запольной. На пальцах от железной дужки — затвердевшие мозоли. А из плечевых суставов, наверно, все жилы вытянуты. Может, в Среднекамске колонка поближе от дома? А вдруг там прямо в доме водопровод есть? Вот красотато была бы!..

Ноги стучались о ведро, вода плескалась на штанины, они противно мокли и делались жёсткими. Руки вотвот, казалось, отвалятся. Толик поставил ведро, выпрямился и тихонько застонал от облегчения.

И увидел Шурку Ревского.

Тот шёл по другой стороне улицы, задумчиво балансировал на крайней доске тротуара и Толика не замечал... Знакомый такой Шурка в своей вечной тубетейке, дрожащей на кудряшках...

И Толик сказал:

— Шурик...

Тот остановился, крутнулся на пятке, взмахнув руками. Прыгнул с тротуара и зашагал к Толику через пыльную дорогу.

— Разве вы уже приехали? — неловко спросил Толик.

Шурка смотрел Толику в лицо своими серьёзными, широко сидящими глазами. Кивнул:

— Конечно, приехали, раз я здесь.

— А что ты тут делаешь? На нашей улице...

Мелькнула мысль: уж не его ли искал Шурка? Но робингуд Ревский спокойно объяснил:

— Я записку относил папиной знакомой, она здесь живёт.

— А я уезжаю... Завтра днём, в Среднекамск. Насовсем.

Шурка подумал. Сказал с прежней сдержанностью:

— Ты чтото всё время уезжаешь. То из лагеря, то из города.

- Из лагеря, потому что так получилось... У меня, Шурик, один знакомый умер. Очень хороший...
 - Да? — быстро сказал Шурка и опустил глаза.
 - Да, — сказал Толик. И стал смотреть на своё отражение в ведре. Лицо в тёмном круге воды колебалось и морщилось, словно тот отражённый Толик собирался заплакать.
 - А мы думали... — начал Шурка.
 - Что? — вскинул голову Толик.
 - Что ты испугался ямы. — Шурик опять глянул ему в лицо.
 - Я?! — взвинулся Толик. — Да я же... Да мне наплевать тогда было на яму и на всех робингулов!
 - Шурка сказал виновато:
 - Мы же не знали, что у тебя такая причина.
 - «Не знали...» — хмыкнул Толик. И хотел сказать, что ему совершенно всё равно, что думают про него Наклонов, Семён и прочие подлые заговорщики. Нужны они ему, как колючка в пятке... Но вдруг он сообразил: — Шурка... А кто это «мы»? Олегто как догадался, что я знаю про яму?
 - Я рассказал. — Шурка задёргал на матроске галстучек, слегка побледнел, но глаз не опустил. — Я рассказал Олегу, когда ты уехал, что рассказал тебе тогда вечером про яму.
 - «Рассказал, рассказал, рассказал...» — повторил Толик насмешливо и сердито, но сразу пожалел несчастного, не умеющего врать Ревского. — Эх ты, ШуркаШурка. Они же тебя... совсем, наверно, затюкали.
 - Нет, — вздохнул он. — Мне ничего не было. Олег только сказал: «Видно, тебя не перевоспитаешь». Меня, значит.
 - Лучше бы он сам перевоспитался... — Толик зло прищурился, представив красивое лицо Наклонова.
 - Ему не надо, — быстро сказал Шурка.
 - Надо. Потому что он гад.
 - Нет! — Шурка стиснул кулачки, и Толик опять пожалел его.
- Но злость была сильнее жалости.
- Он гад, твой Олег, ты сам знаешь. Потому что такие подлые капканы придумывают только гады и предатели.

- Нет! Он так придумал, потому что ты... он думал, что ты изменник и трус.
- Он сам трус! Хотел, чтобы все на одного в темноте!
- Попробовал бы один на один!
- Шурик мигнул удивлённо, спросил с ноткой сомнения:
- С тобой?
- Не с тобой же... — усмехнулся Толик. Теперьто он знал, как поступить. — Слушай, Шурка! Если он не совсем уж полный трус, пусть завтра приходит к Чёрной речке, на поляну!
- Шурка всё понял сразу.
- Он же сильнее тебя.
- Там посмотрим, — бесстрашно сказал Толик. И в самом деле он сейчас не боялся. — Ну, так что? Передашь ему?
- Шурик задумчиво согласился:
- Хорошо, я передам ему... А потом вы, может, помиритесь?
- Нет.
- Ну... ладно. — Шурка опять задёргал галстучек. — А во сколько приходиться?
- В семь утра.
- Рано как...
- Зато никто не помешает, — усмехнулся Толик. И хотел добавить, что настоящие дуэли тоже устраивались на рассвете, чтобы не было посторонних. Но не решился. Не к месту это было. Он только строго сказал: — И пускай всё честно будет, один на один.
- Я скажу, и он придёт, — очень твёрдо пообещал Шурик. — И всё будет честно.
- Говорить больше было нечего. Толик взялся за дужку ведра.
- Шурка вдруг предложил:
- Давай я тебе помогу.
- Толик, не разгибаясь, прошёлся по нему взглядом — по ногам прутикам, по рукамлучинкам, по шее трубочке. Весь он, Шурка, — глаза да кудряшки. И сказал Толик:
- Сломаешься ещё.
- Получилось зло и глупо, сам почуял.

Толик рывком поднял ведро и понёс его в одной руке, отчаянно изогнувшись и страдая. Тяжесть выворачивала руку из плеча, пальцы резало с такой беспощадностью, что вить хотелось, а ещё сильнее мучила неловкость: зачем так отшил невиноватого Шурку?

А Шурка шёл рядом. Словно хотел сказать что-то и не решался.

И, стыдясь своей вины, Толик сказал ещё сердитее:

— Чего мне помогать, барин я, что ли? Помогай своему Олегу.

Шурка ответил не сразу. Но через несколько шагов он проговорил тихо:

— Наверно, хорошо, что ты уезжаешь.

— Почему? — растерялся Толик (а рука болела до одури).

Шурка сказал устало:

— Не могу я разрываться между вами...

Повернулся он и зашагал обратно не оглядываясь. «Туптак, туптак» — стукали подошвы его ботинок. Толик растерянно поставил — почти уронил — ведро. Доска спружинила, вода расплескалась.

Толик вышел из дому в половине седьмого (мама спала, умаявшись накануне со сборами в дорогу). Солнце встало недавно и ещё не грело. Босые ноги скользили по мокрой от росы траве. Несколько раз Толик вздрогнул. Может, не от одной лишь утренней зябкости?

Нет, он ничуть не боялся!

Но и бодрости Толик не чувствовал. Было ощущение, что он идёт делать неприятную, но неизбежную работу. Никуда не денешься. Без этого боя не освободишься от ощущения вечной виноватости. Вся жизнь будешь вспоминать усмешку Наклонова, который остался победителем. Который считает тебя законченным трусом и беглецом.

И будешь ёжиться от такого воспоминания, как сейчас ёжишься от холода.

«Ну а дракой что решишь?» — спросил себя Толик, словно это не он, а кто-то взрослый. Вспомнил, как надворный

советник Фосс на палубе «Надежды» объяснял графу Толстому: поединки ничего не решают — одного противника увозят на кладбище или в лазарет, а другого в крепость.

«Но здесьто не будет ни кладбища, ни крепости, — усмехнулся Толик. — И даже лазарета не будет».

Да, поединок ожидается как раз такой, о каком с насмешкой писал Шемелин: наставят, мол, друг другу синяков и на том разойдутся. Оба живыздоровы и скоро помиряются...

Но Толикто с Наклоновым не помирится! Им не договориться друг с другом! Да и времени не будет на это.

Нет, дуэль не такое уж бессмысленное дело. Иногда это просто последний выход. Решающий бой. Пушкин что, глупее других был? А ведь взял пистолеты и поехал драться на Чёрную речку.

Тоже на Чёрную речку...

А где ещё была Чёрная речка? Под Севастополем! Толик читал в прошлом году про Нахимова, про Первую Севастопольскую оборону. У русских на Чёрной речке было последнее полевое сражение с англичанами и французами. Неудачное сражение...

Чёрные речки не принесли счастья ни Пушкину, ни севастопольцам. На что же надеяться Толику?

Да нет, он не верит в приметы и предчувствия, но Олегто старше и крепче. Это же не на пистолетах бой, где не важно, какие мускулы. В драке сила нужна. И умение! А какое у Толика умение? Ну, дрался пару раз в классе, да и то растаскивали в самом начале...

«Боишься, что ли?»

«Нет, всё равно не боюсь...»

Уж если ямы в лагере он не боялся и готов был идти ночью, теперь тем более не страшно... В конце концов, не важно, кто из противников пострадает больше. Главное, чтобы не сдаться, не прятаться от боя. В дуэли с Пушкиным разве Дантес победитель? А севастопольцев разве можно назвать побеждёнными?

Так что шагай, Толик, на свою Чёрную речку, обратного пути нет.

«Но я и не хочу обратно!»

Конечно, Олегу легче. Не только в силе дело, а в том, что кругом будут стоять его друзья. Он ведь наверняка приведёт с собой робингудов. Будут сочувствовать, подбадривать, радоваться его ловкости. А кто поддержит Толика? Может быть, Шурка, да и тот тайком...

Ну и пусть! В новой жизни, которая начнётся завтра, у Толика будут и хорошие дни, и крепкие друзья. А сейчас он выстоит в одиночку. Другого выхода нет, и потому на душе у него почти спокойно. И сердце стучит ровно, как хронометр: «Диньтак, диньтак...»

«Не опоздать бы, а то опять скажут: испугался». Толик зашагал быстрее. Конечно, они все уже там. Ждут... Ну и пусть их много, а он один! Пусть смотрят! В драку всё равно вмешиваться не станут.

Робингуды могли скрутить Толика, когда брали в плен как шпиона, могли устроить ночную засаду в лагере — это, мол, специальная операция, вроде игры, а не нападение с кулаками. Но наброситься толпой на человека, который пришёл для честного поединка, — значит нарушить все человеческие законы.

Толик спустился по крутому склону к берегу Чёрной речки на поляну. Здесь были Витя, Рафик, Люся.

—Здравствуй, — сказал Витя. — Олег и Шурка сейчас придут.

Люся на Толика не взглянула, плела чтото из длинных травинок. Рафик смотрел с весёлым любопытством и посвистывал.

Молчать было неприятно, и Толик спросил с насмешливым равнодушием:

— А Гельмана и Семёна не будет, что ли? Проспали?

—Семён проспал, — с зевком ответила Люся.

Витя сказал:

— А Гельмана мы исключили. Он, пока Олег в лагере был, со шпаной связался.

Толик не удивился. Подумал: «А Олег, наверно, рад, Мишки то он опасался...» И усмехнулся:

- Очень уж легко вы всех исключаете.
- Не легко, — серьёзно объяснил Витя. — Мы его предупреждали... Зато у нас теперь есть новички.

— Ой, вон они идут! — обрадовался Рафик.

Толик решил, что идут новички. Но по тропинке спускались Олег и Шурка. Шурка двигался впереди. Ноги у него скользили по глиняным крошкам, и он хватался за верхушки бурьяна. Он был без привычной матроски, в майке. И не в ботинках, а в сандалиях на босу ногу, к тому же незастёгнутых. Пряжки на сандалиях болтались и тихо позванивали, словно крошечные шпоры.

Олег обогнал Шурку, остановился перед Толиком. Он был, как и Толик, босиком, в рубашке навыпуск, непричёсанный. Словно снисходительно решил не отличаться сегодня от противника.

Улыбнулся. Спросил:

— Значит, решил драться?

Толик понял, что не чувствует ни капли злости. То, что было в лагере, казалось, связано с какимто другим Наклоновым, а теперь Толик видел прежнего Олега, товарища по летним играм.

— Ну? — сказал Олег. Глаза его смотрели почти ласково.

— Решил, — сказал Толик. — Что же мне ещё делать?

— Ну, подерёмся, а потом что?

- Потом — всё. Я сегодня уеду. Насовсем, — ответил Толик и заставил себя вспомнить лагерь. Когда уже ночь и за окнами чернота и ты давишь в подушку слезинки — и от тоски по дому, и от обиды: оттого, что завтра проснёшься и кругом народ, а ты всё равно один.

- Я всё же не понимаю: зачем тебе эта драка? — снисходительно проговорил Олег.

— А зачем была ловушка в лагере? — ошетинился Толик.

— Чтобы проучить тебя, — доброжелательно сказал Олег.

— За что?

— За боязливость.

— А ты смелый? Вот и проучи сейчас.

— Что ж, придётся... — Олег оглядел ребят, словно говоря: я не хотел, он сам просит. И пружинисто встал в боксёрскую стойку. Ловко так, красиво.

У Толика противно заныло в животе. «Ты, что ли, правда совсем трус?» — спросил он себя. И, чтобы успокоиться, вспомнил: «А хронометрто идёт...» Это теперь не очень помогло. Но всё же Толик поднял к груди кулаки. Встать в настоящую боевую стойку он постеснялся. Мышцы обмякли. Толик понял, что всерьёз ударить Олега он просто не в состоянии.

Олег умело выбросил руку, Толик не успел уклониться. Попа ло по скуле, в глазу вспыхнуло. Толик удивлённо опустил руки.

Олег улыбался. Видимо, решил, что вот и всё, кончен бой.

Да?

Злость не злость, гордость не гордость, но какаято пружина сработала. Пальцы сжались, и Толик махнул кулаком снизу вверх. Сильно! Костяшки прошли по верхней губе и носу Наклонова. Голова у него откачнулась, руки вскинулись.

— Ойя... — сказал Рафик с весёлым испугом.

Олег быстро отошёл на два шага, поднял к лицу ладони и замер. Прошло несколько секунд. Все молчали. Толик ждал, часто дыша. Олег стоял, не опуская рук. Толик наконец шагнул к нему. Тогда Витя Ярцев звонко сказал:

— Перестань! Видишь, у него кровь!

Изпод пальцев Олега выползла на подбородок алая струйка. Толик опустил кулаки.

К Олегу быстро подошла Люся.

— Нука, покажи. Сильно он тебя?

Олег послушно развёл в стороны ладони и запрокинул лицо. Люся стала вытирать у него кровь под носом сорванным лопухом. Подскочил Витя, дал платок. Аккуратный он, Витя Ярцев.

— Кровь так кровь, — устало сказал Толик. — Разбитых носов не видели?

Ему никто не ответил. Лишь Рафик глянул быстро и будто понимающе.

Толик не чувствовал победной радости.

- Всё, что ли? — спросил он хмуро.
- А тебе чего, ещё надо? — сердито откликнулась Люся. Олег с запрокинутой головой сопел распухающим носом.
- Тогда я пошёл, — сказал Толик. Радости не было по прежнему. Но всё же дело своё он сделал, как хотел. Даже лучше, чем хотел.

И теперь он уходил. Навсегда... Правда навсегда?

Толик оглянулся. Все робингуды смотрели ему вслед. Даже Олег смотрел. Впереди всех стоял Шурка. Тонкий, обиженный какойто. Замерший и немигающий.

- Шурка, — вдруг сказал Толик. — Можно, я тебе письмо напишу из Среднекамска?

Шурка мигнул. И лицо его ожило от сумятицы мыслей — словно заметались по нему зайчики и тени от частой листвы. Но почти сразу взгляд Ревского отвердел. И сказал Шурка:

— Вот ещё!

«Ну что ж, прощай», — подумал Толик. И снова пошёл от ребят. По берегу Чёрной речки.

Но почти сразу он услышал топот. Шурка обогнал Толика, потеряв в траве незастёгнутые сандалии. И остановился перед ним — босой, растрёпанный, решительный.

— Стой! Теперь ты будешь драться со мной!

Вот уж чего Толик не ожидал!

- Шурка, ты что? Зачем?
- А зачем ты его так?! До крови! — Шурка задранным подбородком показал за спину Толика, на Олега. В глазах робингуда Ревского дрожали огоньки ясного гнева.

Подошли с двух сторон Витя и Рафик. Витя сказал:

- Шурка, не надо.
- Надо! Зачем он его так?!
- Но мы же честно дрались, — сказал Толик.
- А я тоже честно! Я тебе за него отомщу! — Шурка сжал губы и выставил кулачки.

Повзрослому спокойно и ласково Толик проговорил:

— Не надо, Шурик. Пусти. Некогда мне...



Или от ровных этих слов, или сам собой Шуркин запал угас, ушёл, как уходит в землю электрический заряд. Рот приоткрылся, кулачки дрогнули. Но всё ещё упрямо Шурка возразил:

- Ты врёшь, что некогда. Ты сам говорил, что поезд уходит днём.
- Не в этом дело... — Толик взял его за плечи и тихонько отодвинул с тропинки. — Скоро восемь, Шурик. Мне пора заводить хронометр.



ЭПИЛОГ КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ АЛАБЫШЕВ

Вот окончание повести Арсения Викторовича Курганова. Оно сохранилось на листах, которые Толик Нечаев спрятал в подставку пишущей машинки.

«Конец 1854 года в Крыму был необычным: пришла зима — не южная, а настоящая, российская. В середине декабря выпал снег, по ночам даже потрескивали морозцы.

Севастопольцы были рады зиме. Холод хотя бы на время сковывал непролазную грязь на бастионах и в траншеях, снег прикрывал тоскливую неуютность растерзанной земли, трупы лошадей, разбитые орудия и ящики, чугунную скорлупу разорвавшихся бомб и камни с засохшими на них кровяными

сгустками. Словно природа, всей душой противясь человеческому безумию, старалась укрыть от глаз военный мусор — следы затяжной осады...

Армия осаждавших отчаянно страдала от холодов. Темпераментные зуавы и brave шотландские стрелки, лихие гренадеры маршала Сент-Арно и розовощёкие „томми“ лорда Раглана коченели в траншеях и маялись от болезней в палатках и дощатых бараках. На русских бастионах появлялось всё больше перебежчиков из лагеря интервентов.

...На третий бастион, именуемый англичанами „Большой Редан“, перешёл пожилой британский сержант. Сидя на перевёрнутом лафете, окружённый матросами, он что-то говорил, разводя красными от холода руками. Поворачивал то к одному, то к другому морщинистое, недоумённогорькое лицо. В светлоглубых глазах англичанина была жалобная просьба понять и оправдать.

Матросы не понимали ни слова и сочувственно кивали, поговаривая: „Оно конечно... Видать, натерпелся... Ихнему брату нынче непривычно...“

— Ваше благородие, о чём он бормочетто? — спросил скуластый прокопчённый комендор у подошедшего офицера.

Молоденький румяный лейтенант — в ладном мундире, щегольской флотской фуражке и безукоризненных перчатках, но в мятой солдатской шинели внакидку — с полминуты слушал сержанта, потом охотно разъяснил:

— Да всё о том же... Раньше, мол, не такая была война, когда генерал Каткорт в Индии водил их к славным победам... А здесь, мол, офицеры совсем заморили работой, а после работы обогреться негде и горячей еды нет; поваров не оставляют, провизию выдают натурой, а варить не на чем, дров нет...

— Одно слово — не Индия, — заметил комендор.

Сержант вдруг суетливо растегнул и стащил с себя красный мундир, сорвал с него эполеты, размахнулся, чтобы бросить, но рука остановилась. Он сжал эполеты в кулаке и заплакал.

— Ишь ты, — запереговаривались матросы. — Несладко, видать, расставаться с эполетами...

- Служил, служил, а теперь что?
- Это понимать надо: совестьто небось тоже есть.
- Присягу давал ихней королеве, а теперь как? Не ваш и не наш...

Молодой матрос — рыжий, с густыми веснушками, просту пающими сквозь копоть, с замызганной повязкой под измочаленной бескозыркой — сказал с жалостливым удивлением:

- Как же это он, братцы, своихто бросил? По мне, чем такое дело, лучше уж сразу смерть.
- А ты её не кличь, — усмехнулся скуластый комендор. — Она тебя и так зацепит, коли Бог не убережёт. Вон летает...

Над головами и правда посвистывали штуцерные пули. А одна влетела в амбразуру, зацепила выпуклый обод на стволе карронады и с воем распорол подол шинели у молчаливого низкорослого матроса. Тот лениво выругался: пришивай теперь.

Лейтенант сказал, кивнув на англичанина:

- Он ведь не смерти испугался. Раньшето воевал, не боялся; смотрите, и награды у него... А здесь невоготу стало: холод, да грязь, да работы невпроворот. Не война — каторга.
- У нас вроде тоже не царство небесное на земле, — сказал веснушчатый.
- Да мыто знаем, за что терпим, — возразил лейтенант. — За свою землю бьёмся. А они?

— А и то верно, — согласился матрос. — Их сюда не звали.

На английской батарее ухнуло орудие. Нарастающий свист заставил всех примолкнуть. Но сигнальщик лениво крикнул:

— Перелетит, не наша!..

Бомба лопнула далекоза бастионом, среди домиков Корабельной слободы.

- Без толку рушат город, ироды, — ругнулся скуластый комендор.

Англичанин бросил эполеты и мелко дрожал. Из круга матросов послышалось:

- Надевай мундирто, совсем закоченеешь... Дайте ему, братцы, шинель, что от Матвея Горушкина осталась...

- Шинель упала на колени перебежчику.
- Надевай, вояка... А может, как раз он бомбуто и пустил, что Матвея положила, а, братцы?.. Ваше благородие, вы его спросите: он не из батарейных?
 - Да ну его к чёрту... — Лейтенант поправил на плечах шинель, изпод лацкана которой блеснул новенький „Владимир“ четвёртой степени. — Пойду я, счастливо оставаться, братцы.
 - С Богом, Пётр Иваныч. Счастливо и вам, — заговорили матросы. — Не забывайте бастион, ваше благородие, заходите... А как доставите памятник, не сомневайтесь — разом всё сделаем...

Лейтенант миновал горжу бастиона и через несколько минут шёл уже по улицам Корабельной слободы. Ближе к бастиону многие дома были разрушены и обгорели, в крышах чернели провалы, но очень скоро лейтенант оказался среди переулков, где жизнь текла как в довоенные времена, хотя и здесь заметны были следы обстрела. Шагая по тропинкам и скользким каменным лестницам, лейтенант не первый раз подивился, как приспособливаются мирные люди жить под боком у смерти. Каждый день падают сюда ядра и бомбы!..

Утреннее солнце — невысокое, жёлтое — тоже напоминало ядро, летело среди быстрых косматых облаков. Снег то покрывался тенью, то нестерпимо искрился.

Лейтенант не спешил, он был сегодня свободен от службы и шёл не на батарею, а на свою квартиру. Точнее же, на корабль, где обитали офицеры и матросы флотского батальона. А на третий бастион приходил он, чтобы повидаться с сослуживцами старшего брата, погибшего пятого октября, при первой бомбардировке Севастополя. Повидаться и поговорить о деле. Давние друзья брата, с которыми служил он когда-то на пароходе „Владимир“, заказали в память Евгения чугунную плиту и крест. Задача теперь уложить плиту и поставить крест на могиле. Командиры и матросы бастиона охотно взялись

помочь, но дело было непростое, требовалась для него темнота. Днёмто на снегу каждый человек — будто муха на фарфоровой тарелке. А могила — за бруствером, на открытой площадке перед бастионом.

Хотя, если по правде говорить, какая там могила? Одно обозначение... Что могло остаться от человека, который был рядом с пороховым погребом, когда в погреб этот врезалось раскалённое английское ядро? Взрыв видели и слышали на всех бастионах...

Мысли о брате полны были горечи, но горечи уже привычной. За два с половиной месяца ощущение непоправимой беды притупилось, да и жизнерадостный нрав лейтенанта брал своё. К тому же мысль, что в любой день и час он может разделить судьбу брата, приносила Петру вместе со страхом и какоето утешение...

День был хорош, и лейтенант отвлёкся от размышлений о смерти. Снег поскрипывал, напоминая зиму в родной Смоленщине. Кругом всё казалось отгороженным от войны, хотя английские пушки ухали регулярно и перелетевшая оборонительную линию бомба звонко лопнула где-то на краю слободы.

Жители не обращали внимания на нечастые выстрелы. Бойкие матроски, перекликаясь, несли на коромыслах вёдра и поглядывали на молодого офицера. Проворный старик тащил вверх по улице вязанку дров на непривычном для здешних мест устройстве — наспех сколоченных санях. И неподалёку слышался весёлый гвалт ребятишек.

Лейтенант вышел на пустырь, где сходились, как на площади, несколько улочек. И здесь увидел он картину, которую нашёл презабавной. Толпа мальчишек построила из снега укрепление, и сейчас разгорелся бой. Одни обороняли бастион, другие храбро шли на приступ. Круглые поленья, торчавшие из амбразур, стрелять, конечно, не могли, но снежные гранаты и ядра тучами летели изза высоких стен. Они лихо разрывались, ударяясь о мятые капелюхи и старые матросские фуражки, наползавшие на красные оттопыренные уши атакующих.

Совсем ещё недавнее детство закипело в двадцатидвухлетнем лейтенанте, и он едва удержался, чтобы не кинуться на помощь

осаждавшим. Не кинулся, правда, но хохотал как сумасшедший, видя, что атака захлебнулась под встречными залпами. И громко подавал отступившим мальчишкам советыкоманды. Так увлёкся, что не заметил подошедшего и ставшего рядом пожилого капитанлейтенанта в новой флотской шинели.

А когда заметил, покраснел до слёз, перебил крик ненатуральным кашлем, а потом сказал, стараясь быть непринуждённым:

— Право же, так наскучаешься на позиции, что везде готов искать развлечений... Не правда ли, уморительный вид сражения?

Капитанлейтенант кивнул, добродушно улыбаясь.

Обрадованный, что не увидел насмешки, лейтенант продолжал:

— Если только дело дойдёт до рукопашной, домой очень много вернётся раненых, с синяками... Не научить ли их правильной осаде? Преинтересно будет смотреть, как они начнут производить работы под кучею ядер из укрепления...

— Согласен, что преинтересно, — вздохнул капитан лейтенант.

— И пригласить бы сюда господ политиков, чтобы убедились в преимуществах такой войны перед той, которую мы ведём по их милости.

— Боюсь, что господа политики не усмотрят выгоды в снежных ядрах перед чугунными, — уже без смеха возразил лейтенант.

— Снежком пороховой погреб не взорвёшь.

— Увы, — согласился капитанлейтенант.

Офицеры встретились глазами, и младший вспомнил, что следует представиться.

— Флота лейтенант Лесли Пётр Иванович. Флотский батальон по обслуживанию четвёртой дистанции.

— Флота капитанлейтенант Алабышев Егор Афанасьевич...

Позвольте, уж не брат ли вы Евгения Ивановича Лесли?

— Точно так... Вы знали брата?

— Не был знаком, к моему огорчению. Но слышал о нём от моряков немало. О его храбрости и неунывающем духе.

Лесли смутился, будто похвалили не покойного брата, а его самого. А капитанлейтенант Алабышев сказал просто и строго:

- Думаю, что именно таким людям, как ваш брат, обязан Севастополь тем, что выстоял в первые дни осады... Жаль, что многих уже нет.
- А вы, видимо, не так давно в Севастополе? — догадался Лесли, поглядывая на новую шинель Алабышева.
- Вторую неделю. До сего времени я и не бывал на Чёрном море, служил на Балтике. Потом несколько лет был в отставке... С началом кампании подал прошение о новом зачислении, но чиновники наши в штабах... Короче, лишь в ноябре опять надел форму.

Капитанлейтенанту было под сорок, и по возрасту вроде бы полагалось перешагнуть уже первый штабфицерский чин.

„Видимо, отставка помешала“, — подумал Лесли. Алабышев понравился лейтенанту. Имя Егор Афанасьевич, вздёрнутый нос, рыжеватые волосы производили в первую минуту впечатление простоватости. Но военная жизнь обостряет зрение даже у самых молодых, и Лесли намётанным глазом разглядел в пожилом капитанлейтенанте человека спокойной храбрости и немалого ума. А внешность что? Незнакомым людям и Павел Степанович Нахимов кажется порою мешковатым и недалёким. Лесли сказал с еле заметным превосходством бастионного ветерана, но и с искренним желанием уберечь Алабышева:

- Если позволите совет, шинель вам лучше сменить. Наша чёрная форма для английских штуцерников — преудобнейшая цель.
- Знаю, — улыбнулся Алабышев. — Не обзавёлся ещё солдатской... Да сейчас что серое, что чёрное — одинаково на таком снегу. А кроме того, у нас не в пример спокойнее, чем на вашей четвёртой дистанции. Я ведь с шестого бастиона. А сейчас ходил на Малахов, где есть, оказывается, мой знакомый офицер. Вместе оканчивали корпус, ещё при Иване Фёдоровиче Крузенштерне.

Лесли, для которого Крузенштерн был почти такой же историей, как Пётр Великий, вежливо наклонил голову. И в эту голову, в висок пониже фуражки, вцепился крепкий снежок. Лейтенант поребячьи взвизгнул, запрыгал, наклонясь и вытряхивая изза ворота снежные крошки. Потом закричал мальчишкам:

— Сорванцы! Мало нам разве французов да англичан? Ещё и от вас подарочки!

Из толпы осаждавших бесстрашно откликнулся один — тонкошей, белоголовый, без шапки, в порыжелом и рваном матросском бушлате до пят:

— Это не мы, дяденька! Это с баксиона!

„Дяденьки“ отошли подальше, посмеялись, скрутили по папиросе — бумага нашлась в карманах у Лесли, а табак Алабышев предложил из своей табакерки.

Табакерка заинтересовала Лесли — круглая, плоская, из жёлтого, словно кость, дерева, с узорчатой готической буквой В на крышке. Алабышев улыбнулся:

— Я купил её в Фальмуте семнадцать лет назад, когда шёл в кругосветное плавание на корвете „Николае“. Продавал её в своей лавчонке старый англичанин, отставной матрос. Весёлый и полупьяный. Он, кстати, убеждал меня, что эта штучка вырезана из обгорелого шпангоута фрегата „Баунти“, знаменитого в прошлом веке своим мятежом. Будто бы сам он вывез её с острова Питкерна, где живут внуки мятежников... История эта, скорее всего, плод его фантазии. Но мне табакерка дорога как память о плавании и тех годах...

Они докурили и распрощались, подавши друг другу руки, причём Лесли ухитрился на утоптанном снегу щёлкнуть каблуками. Далее каждый пошёл своей дорогой.

Вскоре лейтенант Лесли отправил с очередной почтой письмо старшей сестре Надежде, и в письме этом описывал прошедший день. В том числе визит на третий бастион, пленного сержанта, снежную погоду и ребячью игру в Корабельной слободе. Лишь о встрече с Алабышевым не упомянул, потому что не видел в ней

примечательного. Да и фамилию пожилого капитанлейтенанта он, по правде говоря, почти сразу забыл.

...Алабышев же, простившись с лейтенантом, зашагал в центр города, поскольку среди офицеров появились слухи, что вновь стала принимать посетителей Морская библиотека, закрывшаяся в начале осады. День, свободный от дежурства на бастионе, было бы чудесно провести среди книг. Тем более что ещё в Петербурге Алабышев слышал, будто вышла недавно в свет книга профессора Веселаго „Очерк истории Морского кадетского корпуса“. В ней, без сомнения, найдутся страницы и об Иване Фёдоровиче...

Слух о библиотеке, однако, оказался неверным, и Алабышев с минуту досадливо рассматривал запертые двери. Затем полез в карман за табакеркой, чтобы хоть чемто утешить себя... Но табакерки не было.

Это огорчило Егора Афанасьевича гораздо сильнее, чем закрытая библиотека. Табакерку он любил. Талисманом её он не считал, потому что в приметы не верил, но, как одинокие и уже немолодые люди, он крепко привязывался к старым вещам, заменяя, быть может, этой привязанностью недостаток друзей и родных... Было ясно, что табакерку обронил он, когда курил с молодым лейтенантом.

Чертыхнувшись, но нимало не колеблясь, Алабышев пустился в обратный путь. А путь был неблизкий — вдоль почти всей Южной бухты, мимо батарей Сталя и Перекомского, затем по переулкам и каменным трапам Корабельной слободы, где почемуто всё в гору да в гору... Впрочем, скоро при быстрой ходьбе Егор Афанасьевич достаточно успокоился и даже стал посмеиваться над собой, поминая Тараса Бульбу, спешащего за обронённой люлькой.

В отличие от Тараса, Егору Афанасьевичу вражеская опасность не грозила. Господа англичане и французы мёрзли в траншеях и о штурме не помышляли. Только лихие мальчишки атаковали игрушечную крепость. „Они, скорее всего, и подобрали табакерку, — подумал Егор Афанасьевич. — Расспрошу...“

Мысли перешли от табакерки к плаванию, в начале которого она была куплена. Плавание оказалось длинным, интересным, не без приключений, но книгу о нём мичман Алабышев (произведённый к концу путешествия в лейтенанты) писать не стал. К тому времени сочинений о таких путешествиях накопилось немало: по проложенному Крузенштерном и Лисянским пути русские корабли шли теперь ежегодно.

О другой книге были мысли, появилась дерзкая мечта: собрать воедино истории о всех русских мореходцах — знаменитых и не очень знаменитых, рассказать и о подвигах простых матросов (без которых, как и без капитанов, не было бы славных для России открытий) и написать такое сочинение, возможно, не в одной, а в двух или трёх частях.

Помня себя мальчикомкадетом, „мышонком“, понимал Алабышев, что немалая польза была бы от такой книги для тех, кто растёт и учится. И мысли о важной работе грели душу.

Замах, конечно, большой, но разве без замаха и смелости исполнишь многотрудное дело? Шестнадцатилетний мичман Верёвкин, наверно, тоже сомневался и страх испытывал, когда около ста лет назад взялся за своё „Сказание о мореплавании“, где излагал историю морских путешествий во всём свете и от самой древности. Правда, он не столько сам писал, сколько перелагал с французского и английского. Но тогда и времена были не те, многому ещё приходилось учиться у иностранцев...

Мичмана Верёвкина подтолкнул к большому труду Алексей Иванович Нагаев, первый русский картограф, будущий знаменитый адмирал. Егора Алабышева побудили к мыслям о книге беседы с Крузенштерном, сочинения его и постоянный пример адмиралатруженика, хотя сам Иван Фёдорович о том, конечно, не догадывался...

Корпус окончил Алабышев в числе лучших, офицером был знающим, с товарищами ладил, хотя они порой и посмеивались, что многие часы проводит он в каюте, обложившись книгами и в книжные же лавки спешит прежде всего в любом порту.

Алабышев отшучивался без обиды, потому что характер имел ровный.

И всех знавших его характер несказанно удивила хлёсткая пощёчина, которую Егор Афанасьевич Алабышев, неделю назад произведённый в капитанлейтенанты, влепил другому капитан лейтенанту, барону фон Розену, в каюткомпаниии линейного корабля „Великий князь Михаил“. А влепил, помня, как полчаса назад плюгавый барон расчётливо тыкал в окровавленные губы старому матросу свой аристократический, украшенный фамильным перстнем кулак.

Может, до пощёчины бы и не дошло, но в ответ на жёсткие слова Алабышева, что матрос этот воевал ещё под Навариным, когда барон сосал титьку у сытой наёмной кормилицы с остзейского хутора, фон Розен изумлённо открыл глаза. Он, не желая ссориться, разъяснил „Жоржу“, что свинья останется свиньёй, несмотря на возраст, и свинство из русского матроса иначе как кулаком не вышибешь. Ну и схлопотал...

Случилось это на Кронштадтском рейде в 1846 году, через месяц после горькой вести о кончине адмирала Крузенштерна.

...Какие всётаки разные люди рождаются в одних и тех же местах! Крузенштерн, как и все эти розены и фогты, был уроженцем Эстляндии, но ни разу не мелькнуло в нём даже капельки остзейского чванства и холодности. Выше всех почитал и ценил он русского матроса.

...Фон Розен пискнул, ухватившись за щёку, и чтото пролепетал о секундантах. Однако дуэли не произошло. Назавтра барон отговорился неожиданной болезнью и скрылся в кронштадтском госпитале, а вскоре подал в отставку. Но то же пришлось сделать и Алабышеву, потому что командир „Михаила“ капитан первого ранга Нефедьев поотечески предупредил Егора Афанасьевича: близкие ко двору фон Розены начинают хлопотать о расследовании, где речь пойдёт не столько о пощёчине, сколько о причинах её: вольнодумстве новоиспечённого капитанлейтенанта, идущем от множества книг (в том числе, видимо, и запретных).

При внешней ровности характера Алабышев не лишён был внутренней запальчивости и рапорт об отставке написал без задержки. Казалось в первый момент, что и без особого сожаления. Вскоре, однако, начались чёрные дни, полные горечи об оставленной службе, с которой была связана вся жизнь. Горечь оказалась такой, что несколько раз сама собой возникала мысль о пистолете. Но, слава Богу, возникала и уходила. Воспоминание о судьбе второго лейтенанта „Надежды“, про которого не раз говорили между собой взрослеющие гардемарины, словно предупреждало: „А что дальше?“

„У Головачёва не было того, что пересилило бы горести его и обиду на предательство, — подумал наконец Алабышев. — Не было дела, которое казалось в жизни важнее всего. Не было *своей книги*“.

А у Егора Алабышева была...

К тому же он помнил слова Крузенштерна: „Если уж отдавать жизнь, так за большое дело, за отечество. За людей, которых защищаешь. Обещай это...“

Защищать штатскому человеку было вроде бы некого, но и мысли о пистолете больше не приходили.

Вскоре отставной капитанлейтенант оказался в родной деревне. Мечты о патриархальной жизни, коими сначала тешил себя, быстро развеялись. Дочка соседа, с которой возник было чувствительный роман, кончать дело свадьбой не захотела, трезво рассудив, что у владельца зачуханной Вартеньевки — ни капиталов, ни выдающейся внешности. Оставшееся от родителей именице стремительно разорялось. Была ещё возможность сохранить хоть какие-то средства: один из соседей искренне сочувствовал Алабышеву и предлагал за Вартеньевку приличную цену. Алабышев отказался.

Он не считал себя вольнодумцем, но мысль, что придётся торговать людьми, с которыми в детстве бегал по окрестным лесам и строил из плотов парусный корабль, была тошнотворна. Чем он тогда оказался бы лучше фон Розена?

И Егор Афанасьевич окончательно уронил себя в глазах местного дворянства: отпустил последние десять семей Вартеньевки

на волю и сдал им землю в почти безденежную, чисто символическую аренду (за которую так ничего никогда и не получил).

Затем Алабышев уехал в Москву, где поступил к некоему графу Бессонову заведовать его богатейшей библиотекой. Это были два года спокойной жизни. Тосковал, правда, по морю, но работа над рукописью о плаваниях смягчала тоску. Но граф умер, а наследники библиотеку продали по частям. И Егор Афанасьевич, зажегшись новой мыслью, решил ехать через всю страну на Камчатку, ибо знал, что РоссийскоАмериканской компании всегда нужны люди, понимающие в морском деле.

Судьба, однако, распорядилась, что неожиданная встреча в пути послужила началом нового романа — увь, тоже неудачного. Следствием же было то, что Алабышев на несколько лет застрял на Урале и служил под Екатеринбургом на Каменском пушечном заводе. Он ведал испытаниями орудий, которые завод поставлял флоту. Служба шла отменно, и предвиделось повышение. Но в местных библиотеках, хотя и недурных, не было материалов, нужных для его морского сочинения, и рукопись пылилась, не доведённая и до половины.

И море было далеко...

Здесь, на заводе, и застало Алабышева известие о Синопском сражении. Стало ясно, что наступают новые времена и развитие большой кампании с участием флота неизбежно. А значит, и офицеры понадобятся.

Алабышев кинулся в столицу...

На пустыре, где стоял ребячий бастион, прежнего шума уже не было: видно, противники заключили перемирие. И народу стало теперь меньше. Несколько мальчишек, подпрыгивая, поправляли гребень снежной стены. Среди них Алабышев увидел белоголового мальчика без шапки — того, что недавно перекликался с Лесли. Рядом с мальчиком стояла тощая девочка того же роста, она держала за руку закутанного в платок карапуза.

Девочка тонким и вредным голосом повторяла:



— Ох, Васька, ты только приди, только приди домой, маменька тебя взгреет, ух и взгреет хворостиной маменька тебя, Васька, ты только приди...

Мальчик подсакивал, стараясь дотянуться до гребня. И отвечал при каждом прыжке:

— Ну и приду!.. Ну и врешь!.. Это тебя взгреет!.. А не меня!..

Прыгая, он поскользнулся, встал на четвереньки и встретился глазами с Алабышевым.

— Эй, дружок, подойдика, — сказал Егор Афанасьевич.

Мальчик безбоязненно подошёл. Следом двинулась сестрёнка, увлекая за руку падающего карапуза.

— Я табакерку тут обронил. Не находили?

— Находили! — обрадовался мальчик. — Её Петька Боцман подобрал, он там, в баксионе... Говорит, их высокоблагородие придут если, я с них двугривенный спрошу за находку!

— Ну, пойдём в ваш „баксион“... А ты что же без шапкито?

— У него шапку маменька спрятала, чтобы из дому не бегал, — ехидно сообщила девочка. — А он всё равно, неслух...
— И врешь! Шапка сама потерялась. А мамка говорит: сиди дома, если потерялась! А матросы разве сидят, когда война?

— Но матросыто все в шапках, по форме, — усмехнулся Алабышев. — А у тебя голова с холоду отсохнет.

— Не отсохнет! Если сильно холодно, я вот так! — Мальчик накинул на свои вихры широкий ворот рваного бушлата. Но тут же сбросил его, завертев круглой головой на тоненькой шее. И Алабышеву, не чуждому литературных сравнений, пришла мысль о выросшем на мусорной куче одуванчике.

— Ну, идём. Будет твоему Петьке двугривенный, а тебе полтинник на шапку... Вот, держи.

Но мальчик спрятал руки за спину.

— Не... Мамка не велит брать у незнакомых. Мы не бедные.

— Ну... а разве мы незнакомые? Ты — Васька. Я — Егор Афанасьевич. Вот и познакомились. Бери, не бойся...

Васька нерешительно протянул покрасневшую ладошку.

Глянул на сестру:

— Дашка, ты гляди не соври, что я просил. Их высокобла гордие сами дали... Благодарствую, Егор Афанасьич...

Дашка завистливо сопела.

Васька повёл Алабышева в ребячий бастион. Внутри укрепления можно было попасть лишь через узкий проход, прорезанный в толще тыльной стены — горжи. Ребятишки проскользнули легко, а капитанлейтенант еле протиснулся. И остановился у входа.

Здесь копошились со снежными „кирпичами“ несколько мальчишек лет от семи и до двенадцати.

— Вот он, Петькато... — начал Васька и примолк, подняв лицо и приоткрыв рот. И остальные ребята замерли — с тем же тревожным ожиданием, что и Васька. И Алабышев уловил далёкий ещё, но нарастающий, нарастающий свист.

Он усилился, этот свист, ввинтился в голову, в душу, вырос до нестерпимого визга и оборвал себя тугим, встряхнувшим снежный бастион ударом.

Пущенная с английской батареи граната шипела и вертелась в облаке пара посреди квадратной игрушечной крепости. Чёрный, небольшой — дюймов пять в поперечнике — шар с дымящимся хвостиком фитиля.

Только граната и была в движении, остальное всё застыло. Ребятишки оцепенело смотрели на вертящуюся смерть. Тренированный мозг испытателя подсчитывал оставшуюся длину фитиля и время горения. Можно толкнуть к проходу девочку и малыша. А остальные?

Взрыв, замкнутый плотной снеговой кладкой укрепления, сплющит, скомкает, искорежит мальчишек.

Если в отчаянном броске ухватить снаряд и кинуть через стену, он ахнет, не перелетев, и свистящий веер осколков врубится во всё живое...

Всадить фитильную трубку в снег? Но огонь в ней уже глубоко...

...И всё это думал капитанлейтенант Алабышев, падая, падая, падая грудью на шипящий снаряд, и падение было

медленным, как во сне. Словно воздух стал густым киселём и его приходилось расталкивать тяжестью тела. А упасть надо было быстро, сильно, чтобы ударом поглубже загнать гранату в талую снежную кашу...

„Не написал я книгу, Иван Фёдорович...“

Тугой чёрный взрыв швырнул тело Алабышева вверх на сажень и перебросил к стене. Стена посыпалась и завалила капитанлейтенанта целиком.

Мальчишки запоздало валились в снег, не понимая ещё, живы ли. Одна Дашка осталась неподвижной и прижимала к животу закутанного малыша. Платок с неё слетел.

Васька пришёл в себя первым. Он встал на четвереньки, вытряхнул из волос снежные крошки и увидел неподалёку ноги в сапогах со сбитыми каблуками. Сапоги торчали изпод снега.

— Егор Афанасьич, — шёпотом сказал Васька. — Дяденька...

Ему показалось, что сапог шевельнулся, но это просто осел под мёртвой ногой комок снега.

Флота капитанлейтенант Егор Афанасьевич Алабышев приехал в Севастополь, чтобы защищать этот русский город от нашествия.

Он не успел принять участия ни в одном сражении и не убил ни одного врага.

Он сделал не в пример больше: отнял у этой войны, у смерти десять ребятишек. Тех, кому ещё жить да жить».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог

Мышонок	7
---------------	---

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Медный стук часов

Новогодние сюрпризы	27
Курганов	39
Шторм в Скагерраке	51
У горящего камина	64
Экватор	74
Медный стук часов	88
Полосное железо	102
Завести часы!	115
Портрет	130

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Робингуды

Пленный разведчик Липкин	143
Эпиграф	159
Клятва Шурки Ревского	168
Замечательная жизнь	177

Есть остров на том океане...	188
Самолёт без крыльев	203
Бриг «Мария» уходит	215
Выстрел	231
Феникс	248

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

ЧЁРНАЯ РЕЧКА

Т. О. Л. И. К.	263
Волчья яма	277
Часы должны идти!	289
Прощание	295
Чёрная речка	303

Эпилог

Капитан-лейтенант Алабышев	317
----------------------------	-----

Серия «БИСС: Большое иллюстрированное собрание сочинений»

Литературно-художественное издание

Для среднего школьного возраста

КРАПИВИН Владислав Петрович

ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

Роман в трёх книгах

Книга первая

ХРОНОМЕТР

(Остров Святой Елены)

Директор издательства *Ирина Сафонова*

Главный редактор *Вадим Мещеряков*

Выпускающий редактор *Сатеник Орбелян*

Корректоры *Ирина Рязанова, Надежда Власенко*

Обработка иллюстраций *Ольги Колодкиной*

Вёрстка *Анастасии Петровой*

Директор Группы компаний

«Издательский Дом Мещерякова» *Ася Мещерякова*

Подписано в печать 05.11.2015. Формат 70 × 90^{1/16}.

Гарнитура Georgia. Усл. печ. л. 24,57.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Тираж 3 000 экз. Заказ № м2193 (Л-Sm).

Издательский Дом Мещерякова

119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17.

Телефон: (495) 639-93-49.

ids@idmkniga.ru

idmkniga.livejournal.com

idmkniga.ru

Отпечатано в филиале «Смоленский полиграфический комбинат»

ОАО «Издательство «Высшая школа»

214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 1

Факс: (4812) 31-31-70, 31-05-76

E-mail: spk@smolpk.ru









ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
МЕЩЕРЯКОВА

ISBN 978-5-91045-795-3



9 785910 457953